

КАМИЛ ИКРАМОВ

ПЕХОТНЫЙ КАПИТАН

Р о м а н



*Моему прадеду Мухаммад-Касыму,
его детям и внукам посвящаю я
эту книгу.*

ВСТУПЛЕНИЕ

«ТУТ СМЫСЛА НЕТ»

Две монархии, два очень уважающих себя государства долго существовали бок о бок. Временами они интересовались друг другом, не представляя, однако, всего значения этой географической и политической близости. Они мало интересовались друг другом — и зря!

История, рассказанная в этой книге, начинается в первой четверти девятнадцатого столетия, и главной ее вехой будет один декабрьский день 1825 года, когда на Петровскую площадь Петербурга вышли люди, готовые умереть и не умеющие убивать... Об этом написаны сотни книг, стихотворений, поэм и пьес.

Граф Федор Васильевич Ростопчин — главнокомандующий в Москве, сжегший город, чтоб не отдать его Наполеону, стратег партизанской войны, сказал на склоне лет своих: «У нас все делается наизнанку... В 1789 году французская чернь хотела стать вровень с дворянством и боролась из-за этого,— это я понимаю. А у нас дворяне вышли на площадь, чтоб потерять свои привилегии,— тут смысла нет!»

Николай Греч, друг Булгарина, агент Третьего отделения, враг и гонитель Пушкина, писал: «В числе заговорщиков и их сообщников не было ни одного недворянина... Все — потомки Рюрика, Гедимины, Чингисхана, по крайней мере бояр и сановников, древних и новых. Это обстоятельство свидетельствует, что в то время восставали против злоупотреблений и притеснений именно те, которые менее всех от них терпели, что в этом мятеже не было ни на грош народности, что внушения к этим затеям

произошли от книг немецких и французских... что эти замыслы были чужды русскому уму и сердцу».

Слова Ростопчина и Греча приводит в книге о декабристе Лунине современный историк Н. Эйдельман. Он пишет: «К 121 осужденному и четырем сотням привлеченных к делу надо добавить членов их семейств, которые или разделяли декабристские взгляды, или хоть жалели, сочувствовали (но не всю родню, разумеется: Михаил Орлов — декабрист, его брат Алексей — будущий шеф жандармов). Еще, может быть, несколько десятков заговорщиков не было обнаружено...»

...В ту зиму Россия мало знала о них. Даже участники декабрьского восстания мало знали друг о друге.

На заснеженных просторах брнччали колокольцами ямщицкие тройки, развозили по стране чиновников и карточных шулеров, фельдъегерей и купцов. Станционные смотрители робко требовали подорожную у столичных людей, те в свою очередь требовали водки и чаю. Тараканы выползали из щелей поглазеть на шумных проезжих.

Мчались тройки, разносились по стране слухи, а вслед за слухами появлялись секретные бумаги об арестах.

В стороне от государевых трактов шла спокойная жизнь. В городах губернских и уездных безнаказанно издеивствовали городничие, изредка принимая гончих жандармов за возможных ревизоров. И может быть, какая-нибудь романтическая дочка какого-нибудь несчастного станционного смотрителя в эти самые дни влюбилась в своего пышноуеого, пахнущего ромом улана. В деревушках, занесенных снегом, крестьянки доили коров, носили воду в обледенелых деревянных бадейках. На веревках раскачивалось жестяное, замерзшее белье.

Далеко протянулась Россия — от Одессы до Берингова пролива, от границ Швеции до границы Китая. А вот если ехать до Оренбурга и дальше по тем местам, откуда начал когда-то свое наступление Емельян Пугачев, и еще дальше, там начинаются дикие киргиз-кайсацкие степи, и не степи даже — пустыня, где не найти четкой границы империи Российской, а стоят лишь небольшие гарнизоны и крепости.

По другую сторону этой пустыни, за Аральским морем, находилось государство, где в том же 1825 году взошел на престол ровесник русского самодержца Николая I Аллакули-Мухаммед-Бахадур-хан. Государство

это называлось Хорезм. Русские называли его Хивинским ханством. Было это государство когда-то великим, а теперь в поперечнике имело верст сто пятьдесят. Тем не менее хан желал называться падишахом, то есть повелителем мира, и вскоре присвоил себе этот титул, не увеличив свое государство ни на один кишлак и не улучшив жизнь своих подданных ни на одну лепешку.

Бедное было это ханство. Нищими были там люди, и сам падишах иногда не мог накормить собственных лошадей. «Да что там кони, — говорит очевидец, побывавший в тех краях, — коли женам своим хан отпускает хлеба на вес. На весь дом ханский выходит в день 3 пуда пшеничной муки, 2 пуда сарацинского пшена (риса), 1 пуд мяса да полтора — кунжутного масла. Многие из ханских жен посылают остатки от плова своего на базар и покупают на вырученную копейку шелк и другие мелочи. Хану идет самая большая доля плова, большое блюдо горой, так что он никогда его не поедает, а остатки делят кушбеги, мехтер, все прочие первые министры и сановники двора, которые ждут каждый обед, чтобы выносили им остатки. Чай пьет в целом дворце один только хан, да и то калмыцкий, кирпичный, и изредка только другой, раза два в неделю пьет он чай с сахаром».

А другой очевидец рассказывает так: «Старая ханша, вдова Мухаммед-Рахима, должно быть, больно богата, она отдает кашу сарацинскую, которая идет ей из большой кухни от Анны Васильевны (русской пленной и главной поварихи на большой кухне), служанкам своим, а сама готовит обед дома, в своем покойчике (у каждой ханши свой отдельный покойчик), и кормит этим детей своих. Прочие ханши об этом и не подумают, они перебиваются кое-как, да сами вяжут шелковые колпаки и посылают их на базар. Для самого хана готовят есть в особой кухоньке, ему стряпает персиянка, ханские жены получают плов из большого котла, где готовит русская. Но иногда они даже пересылают свою долю на базар, надеясь на остатки с ханского стола, за которые воюет с ними персиянка день за день. Рыбу ест хан, если кто принесет гостинец».

А если посмотреть на столицу ханства, город Хиву, беглым взглядом, на ханские дворцы с изразцовыми сводами, на минареты, мечети и медресе, то ведь и не подумаешь, какая за этим стоит жизнь.

В Хиве не было восстания в 1825 году, не было даже маленькой смуты, даже борьбы за престол, потому что в Хиве до Аллакули-Мухаммед-Бахадур-хана царствовал отец его Мухаммед-Рахим-Бахадур-хан.

За время царствования Мухаммед-Рахим уничтожил всех своих противников, многих своих друзей и родственников. К примеру сказать, он казнил одиннадцать своих братьев, родных и двоюродных, потом обманом убил еще двух, потом убил их жен и детей. Беременным вспарывали животы, чтобы убить младенцев, возможных претендентов на престол.

Некоторые историки склонны расценивать царствование Мухаммед-Рахима и Аллакули как период расцвета ханства. Видимо, относительного расцвета, сравнительного... Бывает, что после злого суховеяного лета в сентябре или даже в октябре перед самым снегом вдруг зацветет одинокая, вовсе было засохшая яблонька или вишенка. Зацветет, бедная, и никого не обрадует, потому что плодов не даст, а покалечится надолго. Похоже, осенним цветением закудрявилось и обреченное историей феодальное Хивинское ханство.

...Такие вот два государства существовали бок о бок зимой 1825/26 года.

В ту зиму на дальней окраине России в самом последнем гарнизоне служил герой этой книги, переведенный из гвардии в армию капитан Николай Федорович Ельцов, человек столичный и богатый.

--

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Р А Б

Глава первая

ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

Жизнь армейского офицера известна.

А. Пушкин

I

Капитан Ельцов сидел возле камина и пытался расположить дрова так, чтобы они горели, а не дымили. Дело казалось безнадежным. Камин, сложенный местным печником-умельцем, в общем, мало походил на камин. Это был просто-напросто очень большой шесток русской печи.

В просторной зале (так называлась эта рубленая из нетолстых бревен комната комендантского дома) собирались офицеры гарнизона Ильинской крепости. Собственно говоря, все уже были в сборе. Полковник сидел за картонным столом вместе с тремя обреченными проигрывать ему сегодня офицерами. Командир любил выигрывать, и повинность игры с ним отбывали по очереди. Полковник знал, что многие недовольны этим, но не тревожился понапрасну. Знал он и то, что среди его подчиненных есть вечные доброхоты проигрывать ему, чтоб потом попросить отпуск не в очередь или еще какую поблажку.

Поручик Мышьяков, побочный сын московского богача Арсеньева, смуглый, немолодой уже человек, в углу брэнчал на гитаре и, явно дурачась, развлекал одного себя, напевал:

Когда легковеррен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил...

Он закатывал глаза и придыхал.

Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до черного дня...

Никто не обращал на него внимания. На дворе февральская метель, злая и долгая. Здесь тепло, хотя и немного дымно, — две печки, кроме камина, обогревают эту залу.

Ротмистр Мельников — высокий, коротко стриженный, с аккуратными усиками на костлявом лице — стоял спиной к одной из печек и грел озябшие ладони. Он только нынче прибыл из Петербурга, имел долгий конфиденциальный разговор с полковником и знал что-то такое, о чем его не решались или не хотели расспрашивать. А знал он о том, что было 14 декабря и что было 15-го, 16-го... Если бы только это! Он знал и такое, что в ту пору не многие знали в обеих столицах России. Правда, там, в Петербурге и Москве, люди, хотя и с опаской, с выбором собеседника, но все же разговаривали. Здесь, за оренбургскими степями, на краю России, о событиях 14 декабря старались вообще не говорить. Да и наплевать на все это...

Когда легковерен и молод я был... —

пел Мышьяков.

Дымил камин. Полковник держал банк.

Нам-то что до всего этого! Там в Петербурге честолюбцы задумали на французский манер республику соорудить. То ли те честолюбцы попались на посулы великого князя Константина, то ли просто подкуплены. Наплевать... Тяжела армейская жизнь. Солдат туп и зол, жалованье мизерное, карьеры тут не сделаешь. Всю жизнь тянуть лямку, и еще неизвестно, настанут ли такие вечера, когда тебе нарочно проигрывать будут.

Полковник играл с азартом, будто и не знал, что все равно выиграет. Под черными чугунными канделябрами блестела его лысина.

А Мышьяков запел другое:

Я не хочу любви твоей,
Я не могу ее присвоить.
Я отвечать не в силах ей,
Моя душа твоей не стоит...

«Зачем он поет это? — думал про себя Ельцов.— Это же Рылеева стихи, и смысл какой... Впрочем, кто здесь, кроме меня, знает об этом, кому до этого дело?»

Лишь временно кажусь я слаб,
Движеньями души владею;
Не христианин я, не раб,
Прощать обид я не умею.
Любовь никак нейдет на ум:
Увы, моя отчизна страждет.
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.

Времена, когда можно было делать легкую карьеру, в России прошли. Не все это понимали, но все чувствовали. Прошли времена Екатерины, и не будет больше Орловых и Потемкиных. Прошли времена Суворова, и не повторится Двенадцатый год. Не будет Европа приветствовать русских прапорщиков, не будут парижанки дарить им цветы и любовь. Служить, тянуть ляжку... Все в России улеглось теперь надолго. Титулы розданы, земли и состояния раздарены... Тянуть ляжку!

Действительно, что надо было Пестелю? Генералом он и так бы стал. Или Трубецкому? Диктаторства захотелось? С его-то родословной и положением можно мечтать о канцлерстве, о короне, наконец, но не о республике. Эх, честолюбцы, честолюбцы! Свободы им нужно, равенства и братства... С жиру это, с жиру. У нас все навыворот!

Так думала и чувствовала армия, офицерство, которое по существу своему — чиновничество. Впрочем, у каждого чиновника были и свои собственные мысли, с мыслями общественными связанные лишь отчасти.

Полковник, сидя за карточным столом, думал в тот вечер, что неплохо было бы заманить капитана Ельцова за стол и выиграть крупную сумму. Мысль о том, что он может и проиграть, не приходила полковнику в голову. А ведь Ельцову он вполне мог бы и проиграть. Капитан ему не подчинялся, он был лишь временно прикомандирован. Говорили, что Ельцов сам исхлопотал назначение в эту глухомань, чтобы забылись какие-то его провинности или проказы в столицах и вынужденный уход из гвардии.

«Хитер, — думал про него полковник. — И весьма богат! Вина пьет дорогие, двух камердинеров за собой возит, а в карты ни разу не сел. Брезгует нами!»

Игра по маленькой раздражала. «Ельцова не зама-

цншь, хоть бы тощего ротмистра потрясти. Морда шучья, голодная, жадная. Такие наживку не то что с крючком — вместе с удочкой заглатывают».

— Ротмистр, — позвал полковник, подняв голову от карт, — печку обвалите, хе-хе-хе... Вы ее подпереть хотите, а сами невзначай обвалите. Она ведь у нас из кизяка сложена, хе-хе... Не хотите ли с нами судьбу пытаться?

— Пожалуй, — согласился ротмистр, — если и господин капитан с нами.

Он смотрел на Ельцова внимательно и чуть улыбаясь.

Николай Федорович отложил кочергу, встал и сразу направился к столу, где играли. С той же скрытой улыбкой за ним пошел ротмистр. Им уступили место.

Мельников без стеснения разглядывал Ельцова. Ничего особенного: белобрыс, широколиц, глаза карие, вид цивильный, только широк в плечах и руки крупные. Родовитости в нем незаметно... Интересно, окажет ли сопротивление? Приказ на обыск лежал у ротмистра в кармане. Только на обыск имел он приказ и, в случае обнаружения компрометирующих бумаг, подтверждающих связь Ельцова с тайными обществами, только тогда... Но ротмистр решил для себя заранее: он арестует Ельцова. Возможная ошибка его не тревожила. Лучше ошибиться на благо отечества, чем проявить позорную беспечность. Возьмет он его ночью, тихо, чтобы офицеры не приставали с расспросами. Поутру и увезет с двумя конвойными. Ротмистр опасался, что в этом далеком гарнизоне у Ельцова могут найтись заступники.

— Я думал, вы опять откажетесь, — сказал полковник, тасуя колоду. На капитана он смотрел ласково, точнее — вожденно.

— Отчего же... — ответил Ельцов. — Во-первых...

— Не продолжайте, — вмешался ротмистр, — я вспомнил анекдот.

Испокон веку жандармы любят рассказывать анекдоты. Это должно говорить о них, как о людях с чувством юмора и к тому же не чуждых некоторого вольнодумства. Но жандармы почему-то никогда не рассказывают новых анекдотов.

— Прекрасный анекдот, — сказал ротмистр. — Одного офицера спрашивают, не сыграет ли он в штос. А офицер этот отвечает: «Во-первых, у меня нет денег, а во-

вторых...» Тут ему не дали закончить, потому что «во-первых» все уже объяснило.

Никто не улыбнулся рассказчику даже из вежливости.

— В логике, — заметил Ельцов, — подобный случай приводится в объяснение закона достаточного основания.

— Поясните, — попросил Мельников, — что значит — закон достаточного основания?

— В другой раз, — не слишком вежливо сказал Ельцов.

Игра шла медленно. Капитан раза три выиграл, а потом два раза кряду проиграл. Ротмистр не выиграл ни разу, ему не везло.

— А в Петербурге между тем события только разворачиваются, — сказал он, чтобы привлечь к себе внимание. — При мне доставлен был пойманный в Варшаве коллежский ассессор Кухельбекер. Переодет был под простолюдина. Вид, я вам доложу, прежалкий. Говорят, что сей Кухельбекер целил в его высочество великого князя Михаила Павловича, да промазал...

Момент для этой фразы ротмистр выбрал не вполне точно. Ельцов только что поставил карту, и полковник начал метать: направо — себе, налево — партнеру.

— Бита, — бросил капитан и поднял на Мельникова глаза. — Как вы сказали — Кухельбекер?

— Именно так. — Ротмистр глянул Ельцову прямо в глаза. — А вы его знали?

Детективы всех времен и народов придают огромное значение такому вот вроде бы случайному, но пристальному взгляду.

— Почему же «знал»? — возразил Ельцов. — Не только знал, но и сейчас знаю, если вы говорите о Вильгельме Кюхельбекере.

Смущения во взгляде Ельцова ротмистр не заметил, и это его не удивило. Если бы капитан смутился, отвел глаза, это было бы уликой, но он смотрел прямо и спокойно, что также, как это ни странно, было уликой: значит, матерый.

Такова жандармская логика. Может быть, именно потому жандармы и придают такое большое значение своему пристальному взгляду, что результат устраивает их в любом случае. Проницательность торжествует.

— А правда ли, что площадь вся была в крови, —

спросил ротмистра кто-то из молодых офицеров, — что трупы погибших спускали на Неве под лед?

— Все, что неправда, то ложь, — раздельно сказал полковник. Он не любил опасных разговоров. — Прошу вас, ротмистр...

Игра шла. Мельников проигрывал одну ставку за другой. Все, что он проигрывал, тут же забирал Ельцов. Ему везло, и от этого везения в душе капитана росла тревога, и пальцы слегка дрожали. Он слишком мало знал о том, что происходило в столице после 14 декабря, и в особенности о том, что там сейчас. Николай Федорович никогда не был прямо связан с тайными обществами, хотя имел все основания очень определенно о них догадываться. Были у него беседы и с Рылеевым и с Пестелем, были споры о путях переустройства России. Его хотели посвятить во все, но он отстранился. Отстранился не из страха, а по неверию своему в то, что жизнь целой страны может быть изменена путем принятия каких-то регламентаций на западный манер. Споры вокруг этого в столице бывали долгими и горячими. Он любил этих спорщиков, имена которых сегодня произносили шепотом, восхищался ими и потому от всей души хотел их остановить. За два последних месяца Ельцов все чаще вспоминал былое, но теперь спорить даже мысленно казалось ему неблагородным. Они жизнью заплатят за то, что пошли своей дорогой, а он будет говорить: я был прав, я же говорил...

«За победителя — бог, побежденный любезен Катону». Кто это сказал? Кажется, Лукан. Марк-Анней Лукан, римский поэт, племянник философа Сенеки. «Латынь из моды вышла ныне», но в молодые годы Ельцов изучал ее усердно и пробовал силы в переводах. «Фарсалия» называлась поэма, которую вспомнил Николай Федорович. Попав в Европу, он пытался поближе познакомиться с трудами Лукана, но, как оказалось, большинство его произведений погибло. Париж, Тулуза, Венеция, Генуя, Рим — сказочные города с их сказочной жизнью все вместе вошли в жизнь молодого русского офицера, путешествовавшего с большими деньгами и без всякой системы.

А может быть, лучше сказать так: «Победители любезны богам, но Катон свое сердце отдает побежденным»? Это, конечно, Катон Младший, ибо Марк Порций

Катон Старший — консул, цензор — знаменит тем, что каждую свою речь заключает словами: «Кроме того, я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен». Такая настойчивость в разрушении мало нравилась Ельцову. Слова же о сочувствии к побежденным без сомнения принадлежали другому Катону. Его тоже звали Марк Порций, но он был правнуком первого и потому остался в истории как Катон Младший. Это был народный трибун, враг диктатуры Цезаря; он всем пожертвовал для республики и, не имея сил пережить ее крушение, пронзил себя мечом. Кстати, знаменитая Порция, жена Брута, была дочерью Катона Младшего. «Как много, однако, мы знаем о тех далеких временах, о словах, поступках, родственных связях! — с неожиданным удивлением подумал Николай Федорович. — Видимо, люди тогда придавали значение не только тому, что делали, но и тому, что видели».

И тут Николай Федорович вспомнил про письмо о.

— О чем вы все время думаете, капитан? — раздраженно спросил полковник. — Вы отвлекаетесь мыслями, а мы ждем.

— Прошу прощения. — Ельцов поставил карту и опять... выиграл.

Мысль о письме ни разу до сих пор не приходила ему в голову. Он написал его года четыре назад, без адреса, просто изложил все то, о чем спорили, изложил сухо, зло и скептически. Когда писал, воображал себя старым и мудрым. Как бы с высоты известных ему одному истин рассуждал он тогда. Сейчас Ельцов испытывал острый стыд за это письмо. Совсем рядом со стыдом вертелась какая-то трудноуловимая мысль. Где оно, это письмо? Что, если оно сохранилось у Кюхельбекера или у Рылева? Его ведь читали, передавали из рук в руки именно они? Николай Федорович помнил свое письмо почти дословно.

В нем было три части.

В первой доказывалось, что цари русские — худшие враги народу своему и нными быть не могут.

Вторая часть посвящалась народу, который достоин лучшей участи, но не способен ее завоевать, ибо пребывает в полусне между скотской работой и таким же пьянством. Кроме того, простолюдины суеверны; нелепым посулам и небылицам они верят более, нежели собствен-

ным глазам. Жестокость они принимают за мудрость, а милосердие считают малодушием.

Третья часть письма состояла из сентенций по поводу того, что счастье народа — иллюзия, что счастье — понятие сугубо личное и чем выше развитие личности, тем труднее этой личности найти счастье.

Вот такие мысли были в том скороспелом письме. Так он тогда высказался, а сегодня стыдился своего письма и боялся его. Опасность состояла в том, что теперь из письма можно понять, будто автор был хорошо осведомлен о планах заговорщиков. Знал, не одобрял, но и не порицал. Главное же — не донес.

В Ельцове медленно поднималось чувство, похожее на раздражение. Он досадовал на своих несчастных друзей и неосознанно сопротивлялся пониманию, что причиной досады и раздражения был страх, вполне понятный страх за себя, за свою жизнь и благополучие. Однако мысль пробилась, и, поняв ее, Ельцов едва не застонал от стыда, как от боли. Впрочем, тут же сразу заняло сердце и кольнуло слева под лопаткой.

Ельцов играл машинально, ставил немного, редкие проигрыши отдавал совершенно равнодушно и так же равнодушно пододвигал к себе золотые монеты, которых возле него становилось все больше. Николай Федорович был слишком занят своими мыслями и потому совсем не видел ни партнеров, ни того, что происходило вокруг.

Офицеры с бокалами в руках столпились у стола и затаив дыхание следили за полковником. Его лысина и толстый загривок побагровели. Стоя позади игроков с гитарой в руках, совершенно захмелевший поручик Мышьяков, нарочито гнусава, пел:

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и иступлений
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай...

В отличие от полковника ротмистр Мельников был мертвенно-бледен. Оба игрока старались не смотреть на внушительный холмик золотых монет возле Ельцова. Никогда за всю свою долгую карточную жизнь полковник столь быстро не проигрывал таких денег — около трех тысяч золотом. Ротмистр проиграл не более тысячи вось-

мисот рублей, но это были все его деньги, включая прогонные, на которые он должен был возвращаться вместе с арестованным в Петербург.

Ельцов еще поставил карту и нагреб на нее десяток червонцев. Полковник начал метать, положил карту себе, но руки у него задергались и вдруг ослабли, колода упала под стол.

Николай Федорович наклонился к рассыпавшимся тузам, валегам, девяткам, а когда поднял глаза, увидел, что полковник обмяк в кресле, рот его кривится к уху, он пытается что-то сказать, но язык не слушается.

Поднялась суматоха. Кто-то расстегнул полковнику мундир, кто-то пытался дать ему воды. Поручик Мышьяков растворил окно. Морозный воздух вместе со снегом ворвался в залу, заколыхалось пламя свечей.

— Апоплексический удар, — изрек Мышьяков, глядя издали. В правой руке он держал гитару, как веник.

Николай Федорович никак не мог включить себя в происходящее, слишком далеко оно было от его собственных мыслей и чувств.

Полковника подняли на руки и отнесли в спальню.

— Возьмите ваши деньги, капитан, — произнес ротмистр Мельников. — Вам сегодня так везло, что я не хотел бы быть на вашем месте.

Ельцов подумал, что он и сам не хочет быть на своем месте, но Мельникову возразил:

— Еще меньше я хотел бы быть на месте полковника.

— Возьмите выигрыш, — издали очень громко сказал Мышьяков. — Полк не забудет этой счастливой минуты.

Ельцова покоробил тон, каким Мышьяков говорил о болезни своего начальника, тон, а не слова.

Надевая шинель, капитан слышал возбужденные голоса офицеров. Говорили о том, что новичкам всегда везет в карты и в кости и что вообще деньги к деньгам.

Ночной холодный ветер бил в лицо. Дорожку к избе замело, и сухой мелкий снег под ногами походил на сыпучий песок.

В кухне на сундуке спал дворовый Ельцова камердинер Васька Европкин. На полу возле стола постелил себе однурукий татарин Ахмет, нанятый Николаем Фе-

доровичем года два назад под Казанью. Ахметка не спал он сидел, поджав под себя ноги, и неподвижно глядел прямо перед собой.

— Беда случилась, хозяин? — спросил он по-татарски.

— Беда, — по-русски ответил Ельцов. Не отряхивая шинели, он прошел в горницу, грузно сел на скамью и долго сидел совсем без движения.

Вильгельм Кюхельбекер арестован. Бежал, пойман и доставлен в Петербург. Из всех петербургских знакомых самым милым и беззащитным казался Ельцову именно Кюхельбекер. Ни из-за Пестеля, ни из-за Рылеева не стал бы он так горевать. Николай Федорович с первых детских воспоминаний чувствовал себя сильным и не пуждался в чьей-либо жалости. И в деревне у тетки, и в корпусе, и позже в полку никто не имел возможности посочувствовать ему или подшутить над ним. Впрочем, посторонним он всегда казался более сильным, чем чувствовал себя сам.

Два года назад он дал пощечину молодому, наивному губошлепу князю Г., а драться с ним на дуэли не стал. Не стал и объяснять друзьям мотивы своего отказа. Кодекс офицерской чести предписывал ему уйти из гвардии, и Ельцов совершенно спокойно это сделал. Любому другому такой поступок стоил бы потери друзей, обвинения в трусости. Руки бы не подавали. Ему же простили довольно легко: если уж Ельцов не дерется, значит, есть на то веские причины.

Его подозревали в масонстве. Он отрицал это. Тогда заподозрили в скрытом масонстве. Считали философом, хотя основанный к этому он не давал.

Репутация философа и таинственной личности держалась на том, что Николай Федорович не любил или не умел объяснять свои поступки. Сирота, не помнивший ни отца, ни матери, он воспитывался у двух своих тетушек — одной вдовой, другой старой девы, иногда летом гостил у бабушки по отцовской линии. Его любили, лелеяли, жалели, но знали, что Николенька унаследует весьма значительное состояние и будущее его обеспечено. Тетушки и бабушка иногда сердились на него, иногда наказывали, но никогда не требовали, чтобы мальчик объяснял, почему поступает так, а не иначе.

Став взрослым и уважаемым человеком, Николай

Федорович часто ловил себя на том, что и себе самому непонятен. Он не знал, что женское, вдовье воспитание могло бы объяснить многое. Так было и с дуэлью.

Пили шампанское, курили трубки, хвастались и болтали. Поручик князь Г., новенький в полку, выпил больше других, больше других хвастался. Удивительно, до чего сильно действует шампанское на девиц и розовощеких юнцов! Поручик рассказывал о своем знакомстве с известной светской красавицей. Его так и распирало, толстые детские губы дрожали от волнения.

— Как всегда, играли в шарады, потом пели малороссийские песни, потом вдруг она говорит мне: «Все мужчины о себе высокого мнения...»

Николай Федорович слушал поручика с неприятным чувством. Чем дольше длился рассказ, тем большую неловкость он чувствовал. Он хорошо знал эту даму, еще недавно был влюблен в нее, и рассказ поручика напоминал ему то, что хотелось забыть.

— Она говорит: «Понимаете, мон шер, я тут как в пустыне! Как в пустыне!»

Поручик неплохо подражал знакомым интонациям, и Ельцов понял, что юнец отвергнут или обманут точно так же, как был обманут он.

— «Мой муж деспот, тиран и деспот, но без всякой фантазии... — Юнец продолжал цитировать: — Я одинока и беззащитна, будто домашняя курица, выпущенная в дикий лес».

— Вы лжете! — громко, резко и совершенно без размышлений сказал поручик Ельцов.— Вы грязно лжете, князь!

В сущности, лгал сейчас не губастый поручик, а сам Ельцов. Он точно знал, что поручик говорит правду. Те же речи, слово в слово, слышал Ельцов от Аннет.

Дуэль назначили на восемь утра, благо секундентов выбрали за тем же столом. А ночью Николай Федорович проснулся с ужасным сердцебиением и понял, что произойдет. Через несколько часов он убьет мальчика, который спяну плакался о своей беде, плакался, хотя и хвастал. Николай Федорович не сомневался, что убьет или тяжело ранит князя Г., потому что стрелял лучше всех в полку и на дуэлях ему везло.

Из-за дрянной, пошлой бабенки! «Я живу, как в пустыне!» Однажды Ельцов вдруг увидел Аннет за тюлевой

шторой, в профиль. Мясистое лицо, вздорный носик и тяжелый второй подбородок...

В восемь утра Николай Федорович прибыл к месту дуэли, не предупредив секундантов, подошел к молоденькому князю, сказал «извините», сел в сани и велел кучеру ехать домой.

Через месяц после этой истории, сменив гвардейский мундир на армейский, он покинул столицу. И вскоре во время ледохода на Волге под Казанью Ельцов спас мужчину и мальчонку лет шести. Был ясный весенний день, светило солнце, по широкой воде плыли мокрые и грязные льдины. На одной из льдин стоял человек в татарской поддевке и шапке, с ребенком, прижатым к груди, и, судя по всему, вполне готовый умереть. Льдину с людьми несло на затор.

— Прыгай! — кричали с берега. — Прыгай!

— По-татарски ему кричите, — советовал кто-то.

И кто-то кричал по-татарски, но мужчина вроде и не слышал, стоял неподвижно. Побежали за лодкой, но все видели, что не успеть. Бабы начали подвывать.

Николай Федорович увидел эту картину внезапно, когда почтовая тройка въехала на высокий берег. Он крикнул вознице: «Стой!», отшвырнул шинель и с доской в руках бросился в ледяную воду. Доска и спасла всех троих. Он правил ею на льдине, как рулем, греб, отталкивался от других льдин. Потом только Ельцов увидел, что у мужчины всего одна рука, та, которой он прижимал к себе сынишку. Это и был татарин Ахмет, который в тот день на Коране поклялся до конца жизни служить своему спасителю и спасителю сына. Выполнил обет он довольно своеобразно, с настойчивостью, в которой Николай Федорович заподозрил пугающий фанатизм. Оставив сына матери, Ахмет около месяца всюду следовал за Ельцовым, уговаривая, чтобы тот согласился взять его к себе в слуги. Второй слуга при наличии Васьки Европкина был только в тягость, но Ельцов решил воспользоваться случаем, чтобы изучить татарский язык.

Ахметка прижился. Васька вначале отнесся к нему враждебно, а потом постепенно понял свою выгоду и всюду эксплуатировал молчаливого татарина. С одной рукой Ахметка вполне управлялся по хозяйству—дров наколел, печь натопит, воды принесет. Только за хозяйским гардеробом Васька следил самолично.

Истовая преданность Ахмета порою слегка раздражала и тяготила Николая Федоровича. Вот и сейчас, сидя в горнице и думая о Кюхельбекере, он спиной чувствовал, что однорукий татарин за стеною не спит. И точно. Дверь в горницу приоткрылась. Босой, в длинной белой рубахе, Ахмет стоял в дверях. Не нарушая приказа хозяина обращаться к нему только по-татарски, он сказал:

— Если беда пришла, надо ее сном выгонять. Утром проснешься, легче будет. — И добавил по-русски: — Утро умней, чем вечер.

— Утро вечера мудренее,— поправил Ельцов. Он встал и повесил влажную шинель поближе к печке.— Спи, Ахметка, ничего особенного не случилось. Полковника нашего кондратий хватил...

Вряд ли Ахмет понял, что именно случилось с полковником, однако успокоился, потому что беда пришла не к его хозяину.

Николай Федорович лег на спину, положил руки поверх серого в крупную клетку шотландского одеяла, закрыл глаза и с отвращением вспомнил сегодняшний дымный вечер, сладкое, липкое вино, карты на дощатом полу под столиком, апоплексического полковника и бледное, злое, костистое лицо ротмистра. «Боже, как все это надоело!» — почти вслух подумал Ельцов, повернулся на левый бок, чтобы утишить сердцебиение, и очень скоро уснул.

2

Мельников по долгу службы не должен был спать в эту ночь. Он и не спал. Вернувшись в свою избу, ничем не отличавшуюся от той, где жил Ельцов, Мельников прежде всего увидел двух жандармов. Они улеглись на полу. Спали почти по стойке «смирно» и всю храпели. Станным казалось, что храпели они не дружно, а вразнобой.

Мельников прошел в горницу, зажег свечу, расстегнул мундир и стал разбирать бумаги.

«Государь император высочайше повелеть соизволил об отыскании всех лиц, замешанных в преступных связях с бунтовщиками. При арестах сих лиц особое внимание обращать на письма и бумаги, среди коих и на стихо-

творение «Андрей Шенье», известное также под заглавием «14 декабря», распространяемое в списках и принадлежащее перу Александра Пушкина».

Мельников имел при себе это стихотворение для сличения. Не будь на него обращено внимание самого государя императора, и ротмистр не заметил бы ничего. Судите сами:

Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластия бестрепетный ответ.

Вот! Последние четыре строчки прямо говорили о том, что Пушкин знал о готовящемся восстании. Властей вообще и Мельникова в частности не смущало, что стихи эти написаны по поводу Великой французской революции и от имени французского же поэта Андре Шенье, казненного Робеспьером накануне переворота, свергнувшего и его самого. Ротмистр Мельников знал, что за хранение и распространение этих самых стихов был уже схвачен некто Алексеев или Николаев. Судьба этого Алексеева или Николаева обещала быть плачевной.

Далее в крамольном стихотворении говорилось о свободе:

Но ты придешь опять со мщением и славой,
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,
Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим.

Это уж точно! Бродят людишки, будто с похмелья, а эти подбивают их на непорядки. «Вакхом разъяренный,

он бродит, жаждою томим...» Ишь ведь как подмечено! Хорошо еще, что народ русский стихов не читает.

Приказ о разыскании капитана Ельцова и обыске у него подписал Санкт-Петербургский обер-полицмейстер Шульгин 1-й. На словах он отечески сказал:

— Отличись, Мельников, рот не разевай!

Было это и поощрением, и упреком. Мельникову не везло в службе. Другие как-то успели к начальству подольститься, выгодное поручение получить, а он все по мелочам: то поляков в Сибирь гнать, то пьяный офицерский дебош утихомиривать. А ведь где теперь делать карьеру, как не среди тех, кто призван быть карающей десницей самодержавия.

В ночь на 15 декабря, когда прошли страхи — что же будет? — в столице царило возбуждение. Кровь на снегу, трупы, лежащие грудами — не разберешь, где руки, где ноги, покрытые рогожами возы, под которыми заледенели лужицы крови, — все это вселяло надежды на бурную деятельность, а значит, на чины и награды. Люди, которых в порядочный дом просто не пускали, сторожевые псы режима, стали по ночам входить в эти самые дома, рыться в бумагах, уводить хозяев и по праву сильных мира сего, не скрывая любопытства, глазеть на слезы жен и матерей.

Но и в те дни не повезло Мельникову. Он был назначен перевозить из Петропавловки в Москву какого-то помешанного немца-колбасника, объявившего себя Наполеоном в Петербурге. Впервые к делам мятежников ротлистр должен был прикоснуться только теперь. Он был уверен, убежден, ни на минуту не сомневался в причастности Ельцова к мятежу. Ему не нужно было даже делать обыск, настолько все казалось очевидным. Но обыск предписано было произвести, и надо было найти компрометирующие Ельцова бумаги.

Мельников еще раз перечел строки Пушкина:

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,

Я слышал братский их обет,

Великодушную присягу

И самовластия бестрепетный ответ.

Что же, решил Мельников, если в бумагах Ельцова и не найдется ничего, то потом можно вложить в них это

крамольное стихотворение. Там, в Петербурге, и найдут его. Почерк, конечно, чужой, но зачем Ельцов хранил?

Тут все было ясно. И вдруг ротмистр вспомнил: деньги! На какие деньги возвращаться? «Черт побери! Возьму у кого-нибудь взаймы. Хоть у того же Мышьякова. Все равно лошадей у него надо просить. Сейчас же пойти. Попросить лошадей до ближайшей станции и денег рублей сто».

Мельников оделся, вышел в кухню и носком сапога ткнул в бок крайнего жандарма. Тот не просыпался. Ротмистр сильнее ткнул его в бок. Жандарм охнул и сел.

— Вставайте, подлецы, на рассвете едем!

Поручик Мышьяков встретил ротмистра крайне неприветливо. Он стоял в исподнем, босыми ногами на полу. Спутанные волосы внезапно обнажили тщательно скрываемую днем желтую лысину.

— Пожар, что ли, господин ротмистр?

Мельников объяснил, что ему необходимо срочно выехать в Петербург, нужны лошади. Про Ельцова он, естественно, не сказал ни слова.

Мышьяков, возможно, удивился бы такой спешке, но хмель и сон мешали ему думать. Пьяной рукой он черкнул записку Архипенке на конюшню и снова повалился в кровать.

— Поручик, черт побери,— как можно более по-своему и потому развязно сказал Мельников,— не могли бы вы одолжить мне рублей двести?

— Чего? — накрываясь одеялом, спросил Мышьяков.

— Рублей сто... под расписку,— уже струсив, сказал Мельников.

— Пшел вон! — лениво промычал Мышьяков, то ли вновь захмелев, то ли вспомнив, что он пьян и может себе такое позволить.

Ему понравилось, как испуганно втянул голову в плечи столичный ротмистр, и, подняв на подушке голову, глядя растерявшемуся Мельникову в глаза, Мышьяков отдельно произнес:

— Пшел вон, со-ба-ка!

Мельников стиснул зубы и вышел на мороз.

Две кибитки, каждая запряженная тройкой лошадей, стояли у избы Ельцова. Рассвет еще не наступил, но метель кончилась, и стало светлее.

В избе горели свечи. Ельцов, одетый в мундир с эполетами, сидел на застеленной постели и старался не смотреть на согнутую спину ротмистра. Ротмистр также не имел охоты оборачиваться, он разбирал бумаги Ельцова.

Никогда в жизни не приходилось ротмистру читать сразу так много бумаг, и, уж конечно, по своей воле не стал бы он читать такое количество стихов. У Ельцова этого добра было много — в тетрадах, на отдельных листочках переписанные разными, но почему-то всегда небрежными, нервными почерками. И большинство стихов без подписи. Неизвестно, кто сочинил.

Сижу за решеткой в темнице сырой...

«Посидишь еще, насидишься», — злорадно думал ротмистр Мельников в поисках указанного начальством стихотворения про Андрея Шенье. Именно оно пока не попадалось.

Читать стихи было для Мельникова тяжелой работой. Смысл их казался неуловимым, трудно было отличить любовные стихи от политических. Но вот всего две строчки на отдельном листе:

В столице он капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

Мельников даже прищурился, ибо понял, о ком речь. Это же о его высокопревосходительстве графе Аракчееве, и это — явный призыв к его убийству.

А на следующем листочке стишки другие:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Аустерлицем он бежал,
В Двенадцатом году дрожал...

Такое надругательство над особой недавно почившего императора Александра Павловича было, по мнению ротмистра, важнее стишков, которые предлагал разыскивать петербургский полицмейстер.

— Чьему перу, позвольте спросить, капитан, принадлежат сии вирши? — подчеркнуто любезно спросил Мельников.

— Какие?

— Вот эти-с. — Мельников протянул листок.

— Это мои стихи, — помедлив, ответил Ельцов и про себя улыбнулся. «Никогда не думал, что с такой легкостью буду выдавать стихи Пушкина за свои собственные».

Еще вечером за картами он беспокоился о письме, которое жандармы могли найти у друзей в Петербурге. Сейчас он боялся за Пушкина. Боже, как можно было хранить эти списки, тем более, что все помнилось наизусть, хоть среди ночи разбуди. Ельцов знал, что Пушкина не было на Сенатской площади, его вообще в то время не было в столице. Но кто знает, не входил ли поэт в тайное общество? Ведь мог по легкомыслию, из ухарства, из дружбы... мало ли...

— Господин капитан, — обернулся к Ельцову Мельников, — а вы знаете свои стихи на память?

— Далеко не всегда, — осторожно ответил Ельцов.

— Так, может, дочитаете до конца то, чего я никак не разберу?

Мельников решил произвести опыт, и Ельцов сразу понял это.

— Ты богат, я очень беден;
Ты прозаик, я поэт;
Ты румян, как маков цвет,
Я, как смерть, и тощ, и бледен...—

начал Мельников. — А вот дальше что-то неразборчиво...

— Дальше будет так, — обрадовался Ельцов и почти без запинки прочитал:

Не имея ввек забот,
Ты живешь в огромном доме;
Я ж средь горя и хлопот
Провожу дни на соломе.
Ешь ты сладко всякий день,
Тянешь вины на свободе,
И тебе нередко лень
Нужный долг отдать природе;
Я же с черствого куска,

От воды гнилой и пресной,
Сяжень за сто с чердака
За нуждой бегу известной.
Окружен рабов толпой,
С грозным деспотизма взором...

Тут Ельцов запнулся. Он подумал, что эти строчки очень прозрачны и ясно, к кому обращается поэт. Но потом понял, что доказать это трудно, и выразительно закончил:

С грозным деспотизма взором,
Афедрон ты жирный свой
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова жесткой одой,
Хоть и морщуся, но тру.

— Кого же вы здесь имели в виду? — спросил ротмистр.

— Графа Хвостова, известного сочинителя, — ответил Ельцов.

Мельников довольно хмыкнул. «Не вывернуться тебе, капитан». Как бы то ни было, а оснований для ареста теперь достаточно. Предчувствие не обманывало его, выходит, не обманывало.

Дневники, тетради с дневниковыми записями путешевий по реке Белой и по башкирским степям читать уже не стоило. Он сложил все бумаги вместе, связал загодя припасенной бечевкой и сказал с той самой вежливостью, которую приберег напоследок:

— Мне очень жаль, капитан, очень жаль... я всей душой... но вынужден просить вас сдать мне ваше оружие. Вы арестованы, капитан... Я искренне полагаю, что это временно. Искренне...

— Мое оружие на лавке перед вами, — сказал Николай Федорович. Все случилось очень неожиданно, странно и даже беспричинно, чтобы он мог в тот момент реагировать на фальшивые слова, а тем более на фальшивый тон.

Мельников поднялся было, но вдруг опять сел.

— Господин Ельцов, — сказал он, склонив набок свою

костлявую голову, — но ведь я могу и не забирать у вас оружия, а положиться, так сказать, на благородное слово русского офицера. Вы внушаете мне доверие.

Ельцов удивленно взглянул на Мельникова. Этот ход был ему совершенно неясен.

— Дело в том, капитан, что с точки зрения закона вы вроде бы и не совсем арестованы, а всего лишь препровождаетесь для снятия допроса.

Ельцов не понимал, чего хочет ротмистр. А тот продолжал:

— Привлекать же внимание в качестве арестованного вам, по всей видимости, будет не весьма приятно. Да и на меня будут коситься.

Наконец-то Ельцов догадался, в чем дело. Его хотят везти как арестованного, но чтобы притом никто из окружающих, встречных или попутных, этого не замечал. Ловко!

— Теперь я вас понял, — сказал Николай Федорович. — Ваши соображения кажутся мне... государственными. В таких случаях возражать бессмысленно.

— И прекрасно! — обрадовался Мельников. — Хотя есть и еще одна причина моего, если можно так сказать, с вашего разрешения я бы так сказал — решения... — Ротмистр сделал вид, что смущен собственной дерзостью, опустил голову, но успел быстро и пристально взглянуть на Ельцова. — Страсти и слабости правят людьми и миром! Как вы имели возможность заметить, я человек азартный. Что в карты, что в кости... А вы оставили меня в проигрыше. Не просто обобрали до нитки, а ведь безо всякого интереса раздели донага. Вот что обидно. Я словно бы жизнью рисковал, кровушку по капле выдавливал из жил своих, а вы — бита-дана, и бровью не ведете. Так кошка с мышью играет.

В глазах у ротмистра Ельцов увидел что-то жалкое, запуганное, что-то действительно мышинное. Из жалости, что ли, он возразил:

— Ну уж не прибедняйтесь, в данном-то случае мышкой оказался я, а вы-то — кошка...

— Не к тому, не к тому, — прервал его Мельников, — по службе, может, я и кошка, а вы это самое... А вот в игре, в игре у меня жажда взять реванш. Реванш! Однако с арестованным играть суть прямое нарушение служебных правил. Признаюсь вам, человек я сам свободо-

любивый и враг муштры, но идти противу правил душой не люблю.

Надо сказать, что еще несколькими часами раньше, вечером, за столом у полковника ротмистр Мельников, может быть, даже втайне от самого себя надеялся на то, что, выиграв, он будет в хорошей прибыли, а если и проиграет Ельцову слишком уж много и в долг, то получить с него проигрыш арестованный не сможет. Николаю Федоровичу подобные расчеты и в голову не могли прийти, а Мельников твердо решил теперь играть в долг до тех пор, пока не выиграет.

— Ну что ж, капитан, тронем помаленьку, вы в своей кибитке впереди, а я в своей. И на первой же станции сразимся. Надеюсь, вы не откажетесь.

— Господи, — удивился Ельцов, — что вас заботит! Не откажусь...

Из крепости они выехали серым предвесенним утром. Едва заметную дорогу засыпало снегом, и кое-где она совсем потерялась. Кони бежали лениво. К обеду пошел мокрый снег, а потом ветер переменился, небо прояснилось и стало холодно. Часам к шести вечера первая тройка, где сидел Ельцов с двумя своими слугами, въехала в ворота постоянного двора.

— Чтой-то, барин, жизнь странная пошла: по-вашему—абсурд, по-нашему — белиберда, — сказал камердинер Васька. — Заявились к вам середь ночи, а теперь — айда, поехали ни с того ни с сего. Вроде не мы едем, а нас везут.

Ахметка молчал, внимательно глядя на Ельцова, ждал, что тот скажет.

— Ей-бо, барин Николай Федорович, — продолжал Васька, — ей-бо! Белиберда какая-то, а?

Васька мог позволить себе задавать вопросы, потому что происходил из семьи потомственных крепостных камердинеров старого дворянского рода Ельцовых. Он с гордостью носил фамилию Европкин, ибо так назвал его деда светлейший князь Потемкин Таврический, проездом остановившись у своего армейского приятеля генерала от инфантерии Михайлы Иванныча Ельцова, деда Николая Федоровича.

Зная за своим камердинером право спрашивать, Николай Федорович Ельцов отнюдь не сомневался в своем праве не отвечать.

Они уже выгрузились из саней и поднялись на невысокое, чисто выметенное от снега крыльцо, когда в ворота постоянного двора въехал возок с жандармами.

— Хозяин,— в сенях сказал Ахмет, — Васька правду говорит: в тюрьму тебя везут? — Была какая-то жалобность в его словах, в его акценте.

Николай Федорович вздохнул:

— Правду говорит. На основании логического закона достаточного основания.

Ахметка не понял, что сказал Ельцов. Он понял главное и быстро заговорил по-татарски:

— Когда человека в суд тащат, он три слова должен помнить. В суде они дороже золота и стоят жизни: не видел, не знаю, не помню.

«Боже мой! — молча удивился Николай Федорович.— До чего же просты и универсальны эти советы — единственная защита незащитного в государстве без справедливости. Одинаково нужны эти слова и татарину, и русскому, и хозяину, и рабу». Он ничего не сказал в ответ, а только протянул руку, чтобы пожать Ахметкин локоть. Но рукав у татарина был пустой.

Глава вторая

РАЗБОЙ

Узникам удел обычный —
Над рабами высока
Их стяжателей рука.
Узы — жребий им приличный;
В их земле и свет темничный!
И ужасен ли обмен?
Дома — цепи! В чуже — плен!

А. Грибоедов

I

Хозяин постоянного двора, плюгавый и такой конопчатый, что, казалось, светился в сумраке избы, встретил приезжих молча, деловито и без всякой радости. Господам офицерам он отвел чистую горницу, а слуг и жандармов поместил на большой кухне.

Мельников и Ельцов обедать не стали. Васька Европ-

кин достал вино из дорожного погребца Николая Федоровича и дорожные бокалы. Господа сразу сели за карты. Мельников еще раз предупредил, что вынужден играть в долг, но он надеется, что это не вызывает сомнений партнера. Николай Федорович кивнул, что, мол, конечно, не беспокойтесь по пустякам. Он не был ни азартным игроком, ни жадным человеком и вовсе не боялся проигрывать. Впрочем, сегодня он почему-то был уверен, что выиграет. Игроки утверждают, что эта уверенность никогда не обманывает. Наука этот вопрос считает недостаточно важным и не исследует его статистически. Бесспорно однако: уверенность чаще оказывается залогом успеха, чем неуверенность.

Ротмистр, наоборот, вовсе не был уверен в своей фортуне. Во время первой сдачи Мельников побледнел, лицо приобрело голубой оттенок, губы стали серыми, щеки отяжелели. Так это лицо и не менялось, хотя вначале ротмистр выигрывал, потом проигрывал, потом отыграл восемьсот рублей, поставил их на банк, проиграл, еще раз поставил. Молчаливый, с лицом неподвижным, как маска, он пил ельцовскую мадеру и не глядел на партнера.

В кухне, наоборот, царил благодущие. Хозяйка поставила на стол огромную миску кислых щей с бараниной. Хозяин предложил самогону.

— Служивые,— сказал Васька жандармам,— Ахметка, нехристь мой, не пьет, одному пить грех. Угощаю вас с горя...

Васька поднял над столом мутную бутылку и, не дожидаясь согласия, налил самогон в четыре кружки. Четвертая предназначалась хозяину.

Сначала жандармы отказывались. Они боялись ротмистра и еще друг друга. А выпить хотелось, и очень. Законное дело — с дороги, с мороза, с устатку.

— Не положено этого, — говорил один, оглядываясь на второго.

А второй поддакивал:

— Служба! Государево дело!

Тем не менее они плотнее придвинулись к столу, и Васька стукнул кружкой возле каждого.

— Чего там, служба! Мы тоже подневольные. Для того бес водку выдумал, чтобы русский человек себя хоть на час человеком посчитал. Ну, будем здоровы, и ты, Ах-

метка! — Васька поднял кружку и, остановив ее у самых губ, глянул на жандармов: — С богом, братцы, поехали!..

Служивые глянули на дверь и торопясь выпили налитое.

Потом выпили по второй и по третьей.

— Вот ты гляди, Ахметка, — начал повеселевший Васька, — и вправду, какая жизнь чудная получается... люди вроде как для нас с тобой — начальники, а сами тоже пужливые: не оборотясь на дверь, глоток выпить боится. Лют, видать, ваш?

Одни из жандармов, круглолицый и курносый, тяжело вздохнул, по-мужицки медленно смахнул в ладонь крошки хлеба со стола.

— Строг. Что приказано, то исполнит. У него глаз вострый и рука злая. Бывает, и намерзнешься, и намокнешь, а ежели их благородие не в духе, то еще и зубы береги.

— Строг, но по делу, — одернул товарища второй жандарм, хмурый, смуглый и чернобровый. — Без строгости с народом нельзя.

— Нельзя! — согласился Васька, который всю жизнь надеялся на поблажки и всю жизнь их получал. Он и сейчас соглашался, надеясь что-либо выведать у этих двух обалдуев и что-либо от этого выгадать.

— Он, когда выпьет, нас псами ругает, — пожаловался Ваське курносый.

— Царю служим, отечеству, нам обижаться нельзя, — возразил хмурый. — Теперь вот мы при государевом деле состоим, мятежника выловили, доставляем. Тут терпеть надо. Хозяин-то ваш, — склонился он к Ваське, — государев преступник! Из тех... — Жандарм указал большим пальцем назад.

Васька отлично понял, куда был обращен палец жандарма, что тот хотел сказать. Он и сам знал, что дело серьезное, господ так зазря не хватают, однако спасительная, годами выручавшая привычка от всего отпираться сработала сама по себе.

— Сдурел! — очень натурально удивился Васька, сделав круглые глаза. — Вовсе сдурел! Ты, служивый, по миру-то ходи, а хреновину не городи. Барин наш столбовой дворянин, веры православной, государю и отечеству служит честно!

— Видали таких, — усмехнулся жандарм.

Он мог бы рассказать, как выглядела площадь возле памятника царю Петру в тот декабрьский вечер, в ту страшную ночь. Ведь это и он в числе других солдат убирал трупы, таскал на Неву, заталкивал под лед. Он знать не хотел, кто прав, кто виноват, вернее, он знал, что господ побил мало, а солдат и толпы — без числа. И земляка он увидел среди тех мертвых. Петьку-сапожника. Хороший был сапожник, работал честно, брал недорого и почти не пил. Петьку он тоже спустил под лед.

— Видали таких! На самого государя императора, на все милостивейшего всея Руси благодетеля руку подняли. Теперча всем по заслугам. Я слышал, что от Петербурга до Москвы столбы поставят, а на столбах господ этих вешать будут.— Он вспомнил непьющего сапожника Петьку, двух его девочек-близняшек и добавил с ненавистью: — Хриstopродавцы! И ваш такой. На царя замах сделал, Каин!

Под тяжелым взглядом жандарма Василий Европки невольно подался назад. Такого он не ждал. Плохо дело... И самогон зря выставил.

— Раз так,— сказал верный камердинер,— раз такой разговор, значит, и пить с супостатами моего барина я не могу. Мне совесть не велит, я за барина ответчик.— Васька быстро соображал, как исправить дело. С этими барбосами ссориться не время, с ними надо дружбу делать.— Да и вам, служивые, со мной пить небось противно. Нельзя вам пить, вроде враг я вам...

— Да что ты, что ты! Не сердчай! — с досадой прервал Ваську курносый. Очень уж хотелось ему выпить еще по одной. Он обернулся к товарищу своему и вразумил: — Не суйся ты, не кажи глупость: господское дело, господам и разбираться. Мы люди маленькие, подневольные, чего нам голову ломать! Лучше в картишки перекинемся. Как?

Все напряженно молчали. Вдруг Васька сел, весело округлил глаза, двинул бутылку к середине стола и сказал:

— А на что играть? На деньги не люблю...

— Не на деньги, чай, какие у нас деньги! — радостно, оттого что все уладилось, подхватил первый жандарм.— Бог с ней, с господской модой, давай на щелкушки. Нехристь-то будет? — кивнул он на Ахметку.

— А чего ж, премудрость не велика. Двигайся, Ахметка! — И Васька с превосходством человека светского стал смотреть на неуклюжие мужицкие руки второго жандарма.

«Если этот станет по носу шелкушки бить, не обрадуешься,— подумал вдруг Европкин.— Каждый палец с три моих, да и ногти ровно копыта».

— Чур, бить по лбу, — небрежно бросил он и лихо, «по-господски», затрещал колодой.

Пустые бутылки и чугунный подсвечник стояли на столе между Мельниковым и Ельцовым. Игра шла в замедленном ритме, и это была уже не игра вовсе, а приближающаяся к финалу тяжелая, изнурительная борьба один на один. Не деньги, а победа во что бы то ни стало. Азарт в том и состоит, что из мелочи вдруг вырастают страсти, заслоняющие собой все. Но здесь, кроме карточного азарта и карточных страстей, было и иное, более важное. Это была дуэль на картах. Проигрыш ротмистра составлял вполне астрономическую для него цифру — двадцать тысяч рублей. В этой дуэли он был давно убит.

«Двадцать тысяч... Двадцать тысяч... Двадцать тысяч...» Это единственное, что повторял про себя Мельников. Руки его двигались медленно, он понимал, что погиб и ничто никогда не спасет его. Он — нищий, он должен стреляться, потому что карьеру его ничто не может спасти. Пусть выяснится даже, что Ельцов — важнейший государственный преступник, пусть он главнее полковника Пестеля или Рылеева, все равно карьера ротмистра Мельникова кончилась. Он играл с арестованным государственным преступником, проиграл ему двадцать тысяч... А что, если предложить Ельцову бежать? За эти самые двадцать тысяч долгу. Так прямо ему и сказать: мол, все здесь продается и он может купить свободу. Ельцов купит свободу, о п я т ь станет свободным.

О п я т ь! Это слово поразило ротмистра Мельникова. Ельцов был свободным и о п я т ь б у д е т с в о б о д н ы м. А он, ротмистр Мельников, тоже ведь дворянин и тоже офицер, никогда свободным не был. И не будет. Мельников вспомнил своих стариков родителей и жену. Родителей он стыдился, жену ненавидел. Все говорили, что они с женой очень похожи. У нее тоже было острое и сухое лицо. Сама она походила на курицу, и ли-

цо ее было как бы составлено из куриных и рыбьих костей.

Двадцать тысяч, которые могли бы вытолкнуть Мельникова из бездны на поверхность жизни, вновь сослужат службу Ельцову, а у ротмистра будут еще и неприятности. Придется доказывать, что ничего порочащего у Ельцова не нашлось и что он его вовсе не арестовывал. Тут главное заткнуть рот двум своим обалдуям. Ведь кроме них и самого Ельцова, об аресте никто достоверно не знал... Многое следовало обдумать, многое учесть, а мысли путались и слывали.

Ротмистр грузно навалился на тяжелый стол. Он оцепенел, взгляд остановился, пальцы сжимали колоду.

Игра прекратилась. Мельников тупо смотрел на Ельцова. Батистовая рубашка, цвета сливочного масла, растегнутый ворот мундира, белая шея.

Мельников боялся поднять глаза выше, боялся выдать себя. Как же ему сказать про побег, да и захочет ли этот бежать? Гляди, как спокоен, надеется на что-то... связи... покровители... Так устроено, так мне на роду написано. Я его арестовал, и я же у него в руках.

Николай Федорович, ненависть которого к жандарму и азарт игрока разгорались понемногу, а теперь перегорели совсем и перешли в одно только презрение к противнику, смотрел не на Мельникова, а сквозь него.

— Все,— сказал Ельцов. — Вы, кажется, засыпаете, господин ротмистр, вам стало скучно. Пишите расписку, и ляжемте спать!

Мельников не шелохнулся. Он сидел с каменным, булыжным лицом.

К сожалению, Ельцов слишком презирал своего противника, чтобы понимать его.

— Попрошу расписку,— не глядя на партнера, Николай Федорович без нажима повторил свою просьбу.

— Вы не верите моему честному слову? — выдавил Мельников.

Из презрения или брезгливости Николай Федорович чуть было не согласился поверить — черт с ним, в конце концов, но подумал, что это безнравственно. «Почему я должен играть под честное слово тюремщика? Какое у тюремщика может быть честное слово? Он противен мне, омерзителен, а я должен делать вид, что верю. Не из страха ли?»

— Капитан, даю вам честное благородное слово русского офицера...

«Уж не за дурака ли он меня считает?»

— ...Слово русского офицера и дворянина...

— Расписку.— Николай Федорович поднял голову от стола.

— Вы мне не верите?

— Не верю,— подтвердил Ельцов и даже кивнул.

Ротмистр сгреб со стола карты и жалобно попросил (губы плохо слушались его):

— Последний шанс, последний! Дайте мне шанс!

— Спать пора,— сказал Ельцов и, не сумев преодолеть внезапно подступившую зевоту, добавил: — Кто рано встает, тому бог подает.

— Шулер,— шепотом произнес Мельников. Он схватил чугунный подсвечник и двинулся на Ельцова.

Ахметка проиграл тридцать щелкушек и безропотно подставил свой лоб. Один жандарм бил, другой вслух считал щелчки. Васька с некоторым сочувствием смотрел на своего незадачливого партнера, но при каждом мощном щелчке жандарма не мог удержать восторженного выдоха.

Всем было весело, один Ахметка сидел напряженный — зубы стиснуты, глаза прикрыты. На двадцатом щелчке татарин вдруг вскочил с лавки и бросился в горницу. Он единственный услышал там странные глухие удары и два вскрика.

Ельцов без труда увернулся от первого удара Мельникова и даже влепил тому звонкую пощечину. Ротмистр швырнул подсвечник, Ельцов отскочил в сторону. Мельников схватил топор, стоявший возле печи, и, тихо мыча, двинулся вперед.

Николай Федорович не раз в своей жизни дрался на дуэли, неплохо фехтовал, не считал себя трусом, и все же тут ему стало страшно. Мельников занес топор, но тот впился острым лезвием в потолочную балку. Ельцов воспользовался этим и ударил ротмистра кулаком в висок.

Мельников падал, медленно поворачиваясь, сначала наткнулся на стол, потом на скамью. Топор зловеще торчал в потолке.

Николай Федорович склонился над ротмистром и мгновенно понял, что тот мертв. Мысль работала четко и

быстро, как бы компенсируя ту полную внутреннюю скованность, в которой пребывал Ельцов с момента ареста.

— Васька! — властно крикнул Николай Федорович.

Васька мгновенно оказался рядом. Они вышли в кухню с пистолетами в руках.

— Ни с места, подлецы! — сказал Ельцов жандармам. — Ахметка, вели запрягать!..

Разморенные теплом, беспечной игрой в карты и самогоном, два конвоира сидели на лавке под иконами. Они не были способны действовать. Да и как ты будешь действовать, если на тебя наставлены пистолеты? И зачем ты будешь действовать сам, если всю жизнь действовал только по приказу?

Вовсе некстати на кухню из своей половины с новой бутылкой самогона вышел хозяин постоялого двора.

— Под иконы, — скомандовал ему Ельцов.

Хозяин послушно сел рядом с жандармами, прижимая к себе запотевшую с холода бутылку. Через некоторое время под иконами сидела и востроглазая хозяйка. Кажалось, что ей все случившееся было в радость и на развлечение.

Васька взял из угла шашки жандармов и юркнул во двор. Вскоре он вернулся и сообщил, что лошади готовы. Ельцов вышел первым, за ним двинулся и Васька.

Сонный возница никак не мог взять в толк, куда это господа спешат среди ночи, и только когда версты за две от постоялого двора Васька с пистолетом в руке ссадил его с облучка, понял, что дело плохо. Однорукий татарин занял его место, а возница долго глядел след своей кибитке. Он хотел крикнуть «Разбой!» или «Караул!», но не крикнул, а только плюнул в синий ночной снег и побрел обратно к постоялому двору. Сроду не ожидал он такого от господ.

2

Бегство с постоялого двора было решением единственно верным. Во всяком случае, сейчас Ельцов понимал это именно так.

Они ехали строго на юг. Главное — уйти за пограничную линию в расположение казахских кочевий, чтобы

вне пределов России двигаться в сторону Каспия, а там, изменив внешность, выйти к Астрахани и каким угодно путем пробираться на запад.

Все верно. Лишь две мысли беспокоили Ельцова. Первая — не попасть в поле зрения экспедиции, которая была снаряжена для исследования пространства между Каспийским и Аральским морями. Ельцов хорошо знал начальника экспедиции, свиты его императорского величества по квартирмейстерской части полковника Берга. Знал доктора Эверсмана и топографа Лемма. Еще недавно Ельцов сам намеревался быть в составе этой экспедиции, а теперь понимал, что встреча с любым из знакомых офицеров для него равносильна гибели. Николай Федорович знал, что экспедиция Берга шла точно по восточному берегу Каспия, и понимал, что разминуться с ней ему будет не очень трудно. Для всех остальных, напротив, можно выдавать себя за отставшего участника этой экспедиции, впрочем, это на крайний случай. И второе, что беспокоило Ельцова, — не выдадут ли его кочевники русским властям. Единственным человеком, который мог пролить свет на возможное поведение казахов, был Ахмет.

— О чем спрашиваешь, барин?— удивился Ахметка. — На все судьба, а на каждую дюжину людей есть три подлых, три благородных и шесть никому не известно каких. Так у татар, так у русских, так, наверное, и у казахов, они не хуже нас.

Арифметический фатализм Ахметки мало успокоил Ельцова. Все-таки он приказал погонять лошадей. Свои были страшнее чужих.

Байбосын сидел в юрте и пел песню. Юрта была старая, кошма во многих местах порвалась. Было холодно, и очаг давно потух.

Байбосын сидел возле потухшего очага и пел песню. Снаружи у юрты стояли невысокая косматая лошаденка и верблюды. В ложбине укрылись от ветра десятка два баранов.

Никого не было в степи вокруг, и Байбосын пел свою песню. Голос его, сильный, высокий, с трещиной, то взлетал, то падал. Песня была длинной, мелодия куплетов повторялась, но куплеты все были разные.

Он пел про то, что его зовут Байбосын, а это значит —

будь богатым. Родители назвали его так: пусть сын будет богатым. И пожелание родителей сбылось. Он богатый и счастливый, потому что он Байбосын.

И еще он пел про то, что казахов очень много в мире, что им принадлежит все пространство земли между великой Сибирью и великим Каспийским морем, между великой Россией и великой Хивой и поэтому казахи, живущие в великих степях, — самый великий народ на земле.

И самый свободный.

Домбра, на которой Байбосын аккомпанировал своей громкой песне, жалобно жужжала двумя неровными слабыми струнами, а он пел, увлеченный собственной музыкой и забывший обо всем на свете.

«Сколько нас, казахов? — спрашивал он сам себя и, радостно смеясь, отвечал себе же: — А ты, глупый человек, сосчитай сначала, сколько песчинок в пустыне, а потом только, помолясь богу, начинай считать казахов. Считай, считай, считай, считай! Считай, глупый человек!»

Байбосын, худой тридцатилетний мужчина, в рваном тулупе, с реденькой бороденкой, пел в холодной юрте о великом свободном народе, о казахах, которые на городских жителей или на крестьян, гнувших спину над клочком земли, смотрят как на сумасшедших, потому что недаром ведь бог дал человеку не только ноги, но и лошадь — венец творения. Иметь ноги и иметь лошадь, чтобы сидеть на месте?

Байбосын был увлечен своим пением или своими мыслями, что для него, в конечном счете, было одно и то же, и потому не услышал, как вплотную к его юрте подъехала русская кибитка, запряженная тройкой изнуренных лошадей.

Гость послан богом, а для Байбосына это было воистину так. То, чего он не хотел делать для себя, он с удовольствием сделал для гостей: разжег огонь в очаге, поставил котел, засуетился. Байбосын считал себя человеком умным и бывалым, он понимал, что русский гость — большой начальник, да и татарин, слуга русского, объяснил ему это.

Боль и тревога, которые до сих пор он глушил песней, отступили перед неожиданными гостями. Хотя никто из гостей ни о чем его не спрашивал, он рассказал, что на главной кочевке у него есть молодая жена и сын Айнабай. Он назвал его Айнабай, потому что «айна» — это

«зеркало», а сын походил на отца. Зеркало Байбосын видел, видел даже несколько раз. Он рассказывал русскому гостю, и слуга татарин переводил историю жизни, которая отчасти была правдой, а отчасти — вымыслом, близким к только что пропетой песне.

Получалось, что Байбосын — владелец несметных стад, что он один из богатейших людей в степи и только случайно оказался в этой бедной дырявой юрте.

Николай Федорович не притронулся к еде, предложенной хозяином, выпил чаю из собственного стакана и, когда лошади отдохнули, попросил Ахметку спросить у степняка, как ехать до большого стойбища. Байбосын принялся было рассказывать, но потом заявил, что объяснить ему будет трудно, что дело уже к вечеру и если гости согласятся переночевать, то он завтра соберет юрту и вместе с ними двинется в сторону большой кочевки.

3

Странное зрелище представляла собой эта вереница в снежной степи. Русский возок с колокольцем, верблюды, груженный сложенной юртой, два десятка тощих баранов и в хвосте — щуплый пастух в рваном тулупе на косматой лошаденке.

— Значит, барин, в Персию не поедем? — деловито переспрашивал Васька. — А я, к примеру, не прочь!

У Ельцова возникла мысль о маскараде. Что, если Ваську нарядить офицером, этаким армейским рубакой из бедных дворян, а самому Ельцову быть при Ваське в денщиках?

Мысль эта казалась привлекательной. Николай Федорович представил себе ухмыляющуюся и беззаботную Васькину физиономию и то, как он будет себя вести на людях. Маскарад смешной, но опасный и трудный.

Васька внимательно следил за Николаем Федоровичем и, уловив улыбку на лице барина, сказал:

— Вот за что я вас люблю, Николай Федорович, это за смелость — все вам удается, чего ни задумаете. Задумаете под мужика нарядиться — всю Россию, как мужик, обойдете. Задумали б через Персию — через Персию прошли бы. Правильно говорится: кто в сорочке ро-

дился, тому нет никаких преград. Это у вас на роду написано.

Ахметка наклонился с облучка и встревоженно сказал, что впереди аул, стойбище, что там суета какая-то.

— Наших не видно?—спросил Николай Федорович.— Это было бы весьма некстати.

Ельцов выглянул из-за Ахметкиной спины и ничего подозрительного не увидел.

— Русских нет, барин. — Ахметка знал, чего хозяин бонтя больше всего.— Только странно как-то... Женщин не вижу, одни мужчины ходят между юрт, и лошади заседланы. Странно.

Ельцов, напротив, ничего подозрительного не заметил. Перед ним дугой стояло несколько юрт, виднелся и загон для скота.

— Лишь бы наших не было,— сказал Николай Федорович.— Не трусь, Ахметка.

Байбосын со своими овцами был дальше всех от аула, но и он увидел что-то неладное. Он хотел поскакать вперед, чтобы выяснить, откуда здесь новые люди, но это уже не имело смысла: его русские гости были там, возле юрт.

Ахмет остановил лошадей, и Ельцов выглянул наружу.

— В чем дело?

— Кажется, тут разбой,— сказал Ахметка.

Он был прав. Два казахских рода давно враждовали между собой. Никто не знал, когда началась эта вражда, потому что уходила она за семь поколений от людей, живущих сегодня возле могилы Ташпулата. Может быть, кто-то когда-то не поделил пастбища, угнал табун лошадей или отару овец, но при каждом удобном случае один род старался навредить другому. Именно поэтому, когда одни стали дружить с русскими, другие послали послов к хивинскому хану.

Казанский татарин Ахмет не знал кочевой жизни и не смог бы толково объяснить, в чем он увидел разбой: внешне все выглядело спокойно. Разве что слишком спокойно и для глаза непривычно. Например, где дети, которых в каждом казахском ауле множество и которые в любую погоду носятся между юрт? Детей не видно.

Тройка стояла вблизи жилья. Ельцов тоже всматривался в безмолвные юрты, когда сзади раздался истошный крик Байбосына:

— Назад, сюда!

Ахметка стал разворачивать возок, и вдруг юрты ожили. Двое вооруженных людей с криком «Стой! Стой!» кинулись к кибитке. Ахметка что было силы стегал лошадей, но тройка была усталая и бежала медленной рысью. Один из преследовавших кибитку людей остановился и, выхватив из-за спины лук, прицелился. Как раз в этот момент Николай Федорович выглянул из возка, и стрела просвистела возле его головы.

— Давай, Ахметка! Гони! — крикнул Николай Федорович.

Ельцов достал пистолеты, они с Васькой решили отстреливаться.

Николая Федоровича насторожило, что конная погоня разворачивалась не спеша. Всего пять или шесть всадников выехали из аула, вслед за кибиткой. Они скакали неторопливо. Тем более странно было видеть, как наяривает впереди Байбосын на своей косматой лошаденке. Расстояние между кибиткой Ельцова и погоней сокращалось медленно, и Николай Федорович сообразил, что погоня эта только для виду и что вступать в бой разбойники не хотят.

Через минуту он понял свою ошибку.

Из какой-то неприметной лощины, из-за невысокого бугра вдруг выскочило человек двадцать верховых. Ельцов успел выстрелить трижды, Васька — один раз. Разбойники в лисьих шапках и овчинных тулупах, с ножами и плетками окружили возок. В глазах у Николая Федоровича зарябило, он выстрелил в какую-то лисью шапку, увидел, как падает с козел Ахметка; в нос Ельцову ударил запах конского пота, кислой шерсти и кобыльего молока. Он понял, кто-то душит его, отшвырнул противника ногой, тут же почувствовал острую боль в правом плече, затем кто-то ударил его по голове, и Николай Федорович потерял сознание.

Очнулся Ельцов очень скоро. Он лежал на снегу, руки у него связаны, связанные ноги — в аркане. Круглолицый, смуглый, крепко сбитый кочевник, держа в руке конец шерстяной веревки, вскочил на лошадь, стеганул ее плеткой-камчой; та поскакала, волоча за собой по кочковатой заснеженной земле русского аристократа, капитана и кавалера Николая Федоровича Ельцова.

Круглоголовый разбойник, заарканивший Ельцова, был атаманом, звали его Кулатай. Кулатай по кличке «Хивинец». Он делил добычу, и остальные разбойники, слушая рассуждения вожака, одобрительно кивали.

С тех пор, как круглоголовый Кулатай стал отщепенцем, преступил законы степей, обычаи отцов и связал свою судьбу с хивинцами, с тех пор, как он занялся продажей и перепродажей невольников, простые казахи прокляли его. Кулатай давно уже был вне закона, но именно это вполне его устраивало; сила была за ним. За кем сила, тому не нужна справедливость. Не имея возможности отомстить ему или наказать его, люди говорили: «Аллах на том свете ему за все воздаст. За все».

Однако Кулатай не спешил на тот свет. Никто не решался поднять руку на круглоголового, никто не решался перечить отщепенцу.

Помня это и теперь, Кулатай делил добычу решительно и нагло. Себе он взял половину денег, лучшую лошадь из тройки, медвежью полость, шубу Николая Федоровича, его перстень с аметистом и серебряные карманные часы фирмы «Тобиас» с крышками, украшенными гравировкой и эмалью. Часы эти Николай Федорович купил в Петербурге на Невском только потому, что точно такие, по словам Кюхельбекера, купил себе поэт Александр Пушкин. Ельцов не был знаком с поэтом, хотя имел с ним общих друзей.

Дележ добычи происходил в главной юрте вокруг очага, на котором поспевал жирный бесбармак. Варёво булькало, скворчало, запах готового жирного мяса наполнял юрту, взгляды разбойников и все чувства их были прикованы к котлу с едой. Кулатай сознательно пользовался этим, потому что предвкушение еды лишало его сотоварищей той бдительности, которая так необходима при дележе награбленного. Именно поэтому никто и не заметил, что атаман, забрав себе лучшие вещи Ельцова, самого его отдал во владение тощему, чахоточному и грустному разбойнику, брат которого погиб сегодня во время нападения на кибитку.

Серебряные английские часы атаман сразу опустил за пазуху и теперь все время ощущал их кожей живота у самого пояса. Очень хотелось разглядеть их, понять, для чего они и почему так ценятся. Он никогда не держал в руках часов, не знал, как ими пользуются, и уж вовсе

ему было невдомек, что они заводятся специальным тонким ключиком, который остался в жилетном кармане русского барина. Впрочем, жилет перекочевал теперь к новому хозяину, к хозяину капитана Ельцова. Чахоточный старался надеть на себя как можно больше, потому что сильно мерз.

Предусмотрительно поступил атаман, когда сразу же, окинув русского барина взглядом лошадиного барышника, отдал его другому, а себе взял Ваську Европкина. «Зачем мне раненый хозяин, когда есть здоровый слуга. Хозяина еще надо довести, а слугу можно с первым же караваном продать в Хиву или Бухару».

Так примерно рассуждал атаман и был прав. Потому что две раны, которые получил Ельцов во время схватки, оказались довольно тяжелыми.

Пленники лежали в другой юрте. Васька Европкин бубнил про себя одно и то же:

— Продал нас басурман, татарин проклятый. Все подстроил нарочно. И с киргизкайсаком этим тоже в сговоре был. Продал басурман! Все они заодно. Говорил я вам, Николай Федорович, говорил. Не брали бы вы его. Оя на вид только смиренный.

Сквозь боль и озноб Ельцов слышал слова камерди-нера, но не вдумывался в них и не мог ничего отвечать.

Весенние ветры дули над снежной степью. Днем солнце вытаивало поверх снега множество голубых озер воробью по колено, а ночью мороз сковывал воедино снег и воду, и земля под звездным небом приобретала какой-то странный синеватый или даже блекло-сиреневый оттенок. Сырость. Ветер.

В пустом ауле, в пустой юрте плакал несчастный Байбосын. Люди чаще поют от радости, люди могут петь и от горя, но Байбосын не мог петь. Не было сил и не было слов. Не было у него и домбры. Не для кого ему было петь и не о ком. Круглоголовый разбойник увез у него жену и сына Айнабая.

Плакал Байбосын, кипятил воду в казане, поил кипятком однорукого больного татарина и не ждал уже ничего хорошего.

Над великой казахской степью начиналась весна, доброго она обещала мало.

Глава третья

КУРГАНЧА «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»

По духу времени и вкусу
Он ненавидел слово «раб».

А. Грибоедов

I

Иногда Шерали замещал отца. Это случалось в те дни, когда сам юзбаши¹ Иш-Назар должен был присутствовать в Хиве на больших приемах во дворце или сопровождать хана в поездках, которые продолжались две, три недели и назывались охотой. Впрочем, попутно иногда и охотились с соколами.

Молодой хан любил пышность, и свита его была многочисленной. Юзбаши Иш-Назар в последнее время всячески старался уклониться от участия в придворных развлечениях. Он предпочитал проводить время в своей родовой курганче, поближе к единственному сыну. Удавалось ему это редко.

Неделю назад хан вызвал Иш-Назара для участия в работе Государственного совета; а вчера отец прислал нарочного, который сообщил Шерали, что юзбаши задержится до следующего четверга, потому что в среду в Хиве состоятся большие публичные казни; троих должны обезглавить, одному отсечь руку, а одного, беглого перса, посадить на кол. Необходимо присутствие на площади всех знатных людей.

— Дела не должны стоять, — передал отец. — Управляющий поможет тебе разобраться, что к чему.

Нарочный передал это Шерали на словах, а управляющему Нияз-Ходже вручил записку. Хозяин писал: «Требуй с моего сына серьезных решений. Пусть сам учится быть хозяином, пусть вникает во все. Однако помни: его приказов я отменять не буду, с тебя взыщу! Скоро сына женю, и ты перейдешь управляющим к нему».

Нияз-Ходжа, сутулый длиннолицый старик, когда-то был хорасанским купцом. Потом он оказался пленником

¹ Юзбаши — сотник.

у туркменов, потом невольником на хлопковых полях юзбаши Иш-Назара. Последние лет пятнадцать старик служил приказчиком, совсем недавно откупился на свободу, занял пост управляющего и, кажется, был доволен жизнью.

Хозяин решил женить сына — это главное, что удивило его в записке. Почему такая спешка? Вполне можно было бы подождать годика два; единственный сын, сильный, красивый, богатый — куда спешить? В такой дом без калыма отдадут.

Нарочный прибыл вечером, и на следующее утро управляющий Нияз-Ходжа явился к Шерали, как являлся к самому хозяину. Он доложил о полевых работах, о продаже пшеницы приезжим туркменам, о том, что заканчивается сооружение канала, что необходимо выискать недомки с жителей, арендовавших западные поля.

Управляющий стоял склонившись, приложив обе руки к животу. Сивая борода прижата к черному халату, глаза полуприкрыты, чтобы лучше слушать. На лбу и щеках старика кожа была гладкая, блестящая, черно-коричневая и казалась ломкой, пергаментной, а шея — морщинистая, серая, как у черепахи. И глаза у Нияз-Ходжи были черепашьи, внимательные. Сам управляющий, посмотри он на себя со стороны, был бы доволен. С такими манерами никогда не рассердишь хозяина. Никогда не рассердить хозяина — что на свете важнее этого?

Молодой хозяин полулежал на ковре. Локтем одной руки он опирался на подушку, в другой держал пиалу.

«Он держит пиалу, как скипетр,— подумал управляющий.— Красивый мальчик».

На Шерали были тонкий шелковый халат и маленькая чалма, чуть сдвинутая набок. Он выглядел моложе своих семнадцати лет, просто мальчик, подросток.

— Ваш почтенный отец,— сказал управляющий, — повелел мне с сего дня не откладывать важных дел и просить на них вашего решения. Боюсь, что он задержится дольше, чем предполагает. Он должен присутствовать на церемонии казней, а на следующей неделе начинается байрам, и не думаю, чтоб наш хан Аллакули отпустил людей домой. Скорее всего, ваш мудрый отец вызовет вас самого в Хиву.

Шерали слушал управляющего с интересом. И в са-

мом деле, отец задержится надолго. А ему, Шерали, придется решать важные хозяйственные вопросы. Нельзя же в самом деле полностью довериться этому рабу — рабу преданному, но хитрому.

В Хиве было много персов, занимавших государственные посты, купцов, управляющих крупными имениями. Как правило, это были откупившиеся невольники или дети откупившихся невольников. Они имели влияние и при дворе. Но про не откупившихся на свободу каждый из владетельных хивинцев думал — доверять им нельзя. Уж больно хитры! Лучше на них иногда покрикивать. Если не покрикивать, то они своего места помнить не будут.

— Разрешите, хозяин, — сказал Нияз-Ходжа, — представить вам главные счета. — И, не дожидаясь ответа, начал скороговоркой: — Шестьдесят батманов пшеницы и семь текинских лошадей мы отправили в подарок хану и кушбеги. Это большой расход и, конечно, совершенно напрасный... Арендаторам до нового урожая мы дали пятнадцать батманов пшеницы, тридцать батманов джугары, дадим еще тридцать баранов в подарок им к празднику. Вернут они за это после нового урожая тридцать батманов пшеницы, шестьдесят батманов джугары и шестьдесят баранов.

Шерали слушал внимательно, стараясь запомнить цифры.

— Вчера проезжие казахи продали нам шесть степных лошадей, двух верблюдов, двадцать одну кошму и одного невольника, — продолжал доклад управляющий. — Невольника нам продали дешево потому, что он больной.

Шерали сделал жест, и управляющий Нияз-Ходжа перестал докладывать.

— Ты забываешь, — сказал Шерали управляющему, — что мой отец и я не купцы, а воины. Скажи мне, как идет ремонт стен?

— Все закончено, молодой хозяин, — сказал Нияз-Ходжа. — Вы можете посмотреть.

Шерали встал и направился к двери, старик, почтительно склонившись, уступил юноше дорогу.

Имение юзбаши Иш-Назара представляло собой крепость с примыкающими садами и виноградниками. Можно было бы сравнить эти владения с рыцарским замком в средневековой Франции. Только стены крепости и даже

башни по углам были здесь глиняными, а постройки внутри — низенькими мазанками с глиняным полом. Все это и есть курганча. Длительной и планомерной осады такая крепость выдержать, конечно, не могла, но от разбойного набега кочевников все-таки служила защитой.

Каждую весну, когда устанавливалась сухая погода, глиняные крепостные стены и башни, разрушенные дождями и непогодой, восстанавливали. Осмотреть эти стены и решил сегодня Шерали.

Курганча Иш-Назара была лучше многих к северу от Хивы. Стены имели высоту в два человеческих роста. И в стены и в башни были вмазаны крупные камни. Ворота из нетолстых бревен запирались тяжелым висячим замком, который юзбаши Иш-Назар привез из России, когда ездил в качестве посланника к генералу Ермолову. Внутри курганчи был большой водоем — хауз, возле которого и расположилось главное здание — хозяйский дом. За домом начинался фруктовый сад, а там дальше, за садом, — кладовые, кузница, мельница, хлевы для скота. Перед домом, ближе к хаузу, росли розы. Здесь расхаживали павлины, подаренные отцу Шерали грозным Мухаммед-Рахимом.

Шерали не спешил; он медленно пересек двор, так же медленно поднялся по глиняным ступеням одной из башен и вышел на стену. Слишком долго сын сотника оставался ребенком — не по уму, не по характеру, а по тому, как относились к нему взрослые. Слишком долго ходил с длинной черной косичкой, с одной длинной косичкой на коротко стриженной голове. Пусть считалось, что в этом знак божьей милости, но какому мальчику хочется ходить с косой, когда с косами ходят девочки? Сотник Иш-Назар берег эту косичку как зеницу ока, а в день, когда состриг ее, собрал три сотни гостей. Были шейхи самых святых могил, были дервиши, были богомольные старцы и много-много нищих. После благодарственной молитвы старый шейх отрезал косичку Шерали, и отец спрятал ее в сундук. Обет, данный возле мавзолея святого Султан-Ваиса, был выполнен, мальчик избавился от косы, но отец некоторое время беспокоился, все ли пройдет благополучно. Дело в том, что Иш-Назар отрастил сыну косичку — коколю — в знак того, что Шерали вымолен у святого, что святому Султан-Ваису и шей-

хам его мазара обязан он жизнью. Очень уж болезненным и слабым был мальчик в первый год жизни. Каждый праздник Иш-Назар возил или посылал подарки шейхам мазара и все время боялся за сына. По обету, косичку можно было срезать в десять лет, но отец еще целых два года не решался этого сделать, боялся рассердить святого.

Давно Шерали сильный, мускулистый юноша, а помнит косичку, которая смешно торчала из-под его тубетейки. Именно поэтому Шерали хотелось, чтобы управляющий видел в нем настоящего хозяина, все замечающего, решительного, осмотрительного, а иногда и резкого. Слыша за спиной шарканье туфель Нияз-Ходжи, Шерали делал все нарочито медленно, с достоинством.

Они шли по стене, и Шерали сверху увидел, что в саду на старом урюке уже появились мелкие зеленые плоды. В узбекском языке в отличие от многих других есть специальные слова для обозначения незрелых плодов. Так, например, яблоко — алма, а незрелое яблоко — гора; дыня — каун, а незрелая дыня — сапча, и зеленый урюк имеет отдельное название — дауча. Шерали очень захотелось этих бархатистых и очень кислых плодов, с белыми, нежными, горьковатыми косточками внутри. Он проглотил слюну.

— Будет сделано, господин, — сказал Нияз-Ходжа, — я прикажу нарвать даучи.

Настоящий мужчина должен уметь скрывать желания. Шерали рассердился на себя, но выместил зло на управляющем:

— Отец говорил мне, на каждой купле-продаже, будь то солома, пшеница, лошадь или невольники, вы зарабатываете на нас не меньше двадцати тилля с каждой сотни!

Он хотел обидеть управляющего, поставить его на место, а старик не обиделся и не смутился.

— Если хотите знать правду, молодой хозяин, — спокойно возразил он, — я могу вам сказать...

— Не надо, не надо! — высокомерно остановил его Шерали, — в коммерческих делах не бывает правды. Правда нужна мне только тогда, когда речь идет об истории царств или жизнеописаниях государей и полководцев. Иной правды нет.

Нияз-Ходжа замолчал. Он знал, что отец готовил

Шерали к государственной деятельности, сознательно воспитывал в нем честолюбие. Книги, которые читал Шерали, действительно повествовали о людях и событиях значительных, вошедших в историю. Старик управляющий иногда сам платил за книги по приказанию сотника и искренне считал эти расходы напрасными. За «Ибаджара-и-тюрок» — «Родословное древо тюрок» — книгу, составленную ханом Абулгези триста лет назад, управляющий отправил в Хиву сорок отличных смушковых овец, а сколько хозяин уплатил деньгами, неизвестно.

Дальше они опять шли в молчании. Шерали отметил про себя, что стена отремонтирована прекрасно. Сначала он хотел важно промолчать, но потом обернулся к старику и, не умея скрыть радостной улыбки, сказал:

— Отец будет очень доволен, Нияз-Ходжа, наши стены выглядят лучше хивинских! Совсем не видно, где были трещины.

— Сначала крупный саман с камнями, потом глина с песком, и все затиралось по русскому способу. Они это умеют, если заставить.

Помня, что старик сам из невольников, и желая сделать ему приятное, Шерали сказал:

— Если бы не рабы, благосостояние хивинского ханства могло покачнуться. Самую трудную работу делают они, не правда ли?

Он попал в точку, старик воодушевился:

— Вы верно заметили, мой господин. Это свидетельство зрелого ума. Цена на рабов возрастает с каждым днем, и это еще раз доказывает, что вы правы, господин. Ваш дедушка купил меня за девять золотых, а теперь даже двенадцатилетнего мальчишку не купишь дешевле, чем за тридцать. А девчонки еще дороже. Когда-нибудь вам надо побывать на невольничьих рынках в Хиве, Ургенче, Кунграте и Ходжейли. Именно на этих рынках закладывается основа могущества и благосостояния Хорезма. Невольники — наше счастье, без них не было бы этих садов и бахчей, и благородные люди портили бы себе руки, чтобы съесть лепешку или дыню. Невольники чистят весной оросительные каналы, убирают урожай, молотят зерно. А как они делают арбы, как работают в кузницах! Вы знаете, мой господин, что великие державы прошлого — Греция, Рим, Персия — возвысились

исключительно благодаря рабам и только рабы — основа их былого государственного благополучия!

Старик любил рассуждать на эту тему, лишь бы его слушали. Шерали усмехался. От отца он слышал, что рабы есть не во всех странах. Шерали видел, что и в Хорезме, в нынешнем Хивинском ханстве их роль вовсе не так уж велика, как можно было понять со слов Нияз-Ходжи. Разве у всех есть рабы, разве простые хивинцы, туркмены, казахи работают хуже? В одном старик бесспорно прав: для тех, кто имеет рабов, они большое благо, хотя и большое бремя.

— А правда ли, что они очень много едят?— спросил Шерали у старика.

Тот тихонечко и радостно засмеялся: .

— Я еще долго смогу быть полезным вам, молодой господин. Я еще многое могу рассказать. Расточительные и глупые хозяева так плохо кормят рабов, что они быстро слабеют и умирают от голода и голодного поноса. Люди щедрые и умные следят за здоровьем рабов и не выгадывают по крохам. В разгар работ, например, надо следить, чтобы у них не было обмороков, надо тратить. Тут мы даем две лепешки хлеба в день, кашу из джугары, овощи и плоды. Мясо им можно вообще не давать. Но когда есть плохое, испорченное... Овощи тоже лучше те, что похуже... Нет, молодой хозяин, их кормить надо, но если заставить хорошо работать, то дело выгодное. Жаль только, что нужно их одевать. Это досадно и дорого. Каждый год — одна рубаха, каждые два года — халат. Приличия не позволяют, чтобы они ходили голые.— Старик посмотрел на молодого хозяина и добавил:— А в некоторых странах, я слышал, невольников вовсе не одевают.

Шерали уже пожалел, что заговорил на эту тему, но прерывать старика не стал.

— А ведь надо еще иметь в виду, что каждый невольник мечтает когда-нибудь откупиться на волю. Он возвращает хозяину вдвое и втрое по сравнению с тем, что за него заплачено, и к тому же двадцать лет бесплатно на хозяина работает. Нет, молодой господин, без рабов не может благоденствовать наша страна. Конечно, невольники — это, в конце концов, люди, — продолжал старик.— Они должны иметь возможность молиться, два-три раза в году отдыхать. Русским приходится разрешать пить

водку, хотя для мусульман это смертельный грех. Самое опасное, когда рабы скучают и думают. Нельзя допустить, чтобы они скучали. Эмир благородной Бухары,— продолжал старик,— персов, купленных за золото, зачисляет в армию, личный конвой — тоже из купленных. Говорят, и западные государи так делают. Я знаю, многие называют нас кизилбашами — красноголовыми, некоторые говорят, что мы грязные твари, не принявшие суннитства, но поверьте мне, хозяин, на бывших рабов можно положиться. Я уж не знаю, почему так получается, но бывший раб редко подводит хозяина.

Управляющий был рад, что выговорился, что выслушали его, не прервали. Он любил говорить о рабах, об их преданности. Конечно, он мог бы рассказать молодому хозяину о своей родине то, что сам слышал в молодости: о ее славной истории, о ее мудрецах и поэтах, о древних царях, покоривших все окрестные земли, об их силе и непреклонности. Только зачем об этом рассказывать? Разве поверят? А если поверят, то будут любить Нияз-Ходжу еще меньше, чем теперь. И еще об одном он всегда умалчивал, старался не думать: ничего на свете Нияз-Ходжа не боялся так, как возвращения домой. Сердце его останавливалось от страха, когда он представлял себе, как по пути на родину его снова захватят в плен кочевники, снова оберут дочиста, закуют в цепи и опять продадут в рабство. Второй раз ему этого не пережить, второй раз такое никто пережить не может. Но старика-то и вообще не станут продавать, убьют и бросят стервятникам.

Было бы неверным утверждать, что старику удавалось не думать об этом, но близко к языку он такие мысли не подпускал.

— Я люблю эту землю,— сказал управляющий молодому хозяину,— я прожил здесь столько лет, столько плакал и столько смеялся...

Шерали увидел ступени, ведущие вниз, и, устав от дел и разговоров, легко подпрыгивая, сбежал в сад.

В восточном углу курганчи, за кустами сирени, находилась кузница. Оттуда тянуло дымом, пылью и раскаленным железом. Тощий и лысый человек, голый до пояса и босой, приклепывал ручку к большой поварешке. Шерали любовался его работой, а кузнец делал вид, что не замечает хозяина.

— Кстати,— раздался за спиной Шерали голос управляющего,— русские невольники вообще не откупаются, для них это не имеет смысла.

Кузнец оглядел поварешку, поднял глаза на молодого хозяина, на управляющего и буркнул что-то, что должно было означать «салам алейкум».

— Иван,— спросил кузнеца Шерали,— почему вы, русские невольники, не откупаетесь на волю?

— Я не Иван,— сказал кузнец.— Я — Матвей. Откупаться можно только, чтобы у вас в Хиве жить, а чтобы у вас жить, надо христианский закон на ваш, мусульманский, менять. Кто верный христианин, тому никогда такое не придет в голову.

— Но ведь можно откупиться и уехать в Россию,— сказал Шерали.

— Молод ты, хозяин, потому все для тебя возможным кажется. Ведь я пятидесяти верст в степь не отойду, как меня разбойники степные схватят и тебе же опять сюда продадут. Сколько таких случаев было. Нет уж, кто сюда попал...— Кузнец подбросил угля в горн и стал качать мех.— Что бежать, что откупаться — все без толку.

Нияз-Ходжа будто и не слышал слов кузнеца, хотя знал, что русским вернуться еще труднее, чем персам. А русского мало интересовало, слушают его или нет, он вновь застучал молотком и продолжал, не оборачиваясь:

— Вон в ишацьем хлеву лежит один. И не поймешь: то ли откупился, то ли бежал? До вечера не доживет. И по-вашему говорит, и по-нашему, и еще на каких-то языках, а про что — не поймешь, и ни пить, ни есть не может.

— Тот самый, который дешевый?— спросил Шерали управляющего.

2

Николай Федорович никак не мог понять, в чем дело. Он шел по набережной Большого канала, несомненно это был Большой канал в Венеции: справа — набережная Скъявони и совсем рядом — Дворец дождей. Он шел очень быстро. Вдруг сзади кто-то позвал:

— Господин Кухельбекер! (именно Кухельбекер, через «у», а не через «ю»).

Николай Федорович вжал голову в плечи, спина напряглась, но он не обернулся.

Мраморные дворцы плавали в зеленоватой воде, синее небо было нестерпимо ярким, болели глаза.

— Господин Кухельбекер!— крикнули ему в спину.— Оглянитесь по сторонам, вы первый раз в Венеции!

Николай Федорович понимал, что все это ему снится, что он был в Венеции один, без Кюхельбекера, и, помнится, Кюхельбекер вовсе не был в Венеции. Николай Федорович увидел перед собой гондолу, тяжело прыгнул в нее. Сильно закружилась голова. Он сел на вытертую бархатную скамью, и гондольер, не обернувшись на него, стал грести.

«Боже, как я хочу пить!» — подумал Николай Федорович. Он склонился за борт. Совсем близко от его губ, от его лба была вода. Он видел, что она совершенно зеленая, зацветшая, и ощутил тяжелое отвращение и тошноту. Гондольер обернулся к нему:

— Что же вы не пьете, капитан? Все пьют, а вы брезгуете? Вам бы шампанские вина да рейнские, вам мороженое да бланманже, а люди всю жизнь гнилую воду пьют и падалью питаются.

В куртке гондольера сидел ротмистр Мельников. «Это сон!— ясно понял Николай Федорович.— Это бред!» Усилив воли он заставил себя приоткрыть глаза.

Над ним стоял юноша, почти мальчик. Крохотная чалма, шелковый халат.

— Сколько же, Нияз-Ходжа, мы заплатили за этого русского?

— Двадцать, господин,— сказал седобородый старик из-за спины юноши.— Если он выживет, мы в большом выигрыше. Если проиграем, убыток не велик! С другой стороны, за шестьдесят можно получить здорового персидского раба.

— Значит, мы переплатили?— заинтересованно склонил голову юноша.

— Нет, это выгодная сделка,— возразил старик.— Я даже сам не могу объяснить, почему она выгодная. У него умные глаза.

— Умные глаза бывают только у собак,— сказал юноша.

— Согласен с вами, господин, я не так выразился, у

него глаза умного человека. Иногда это ценится даже в рабах.

Николай Федорович медленно начал понимать, что разговор о нем.

— У него хорошее, крепкое тело воина и мягкие, нежные руки человека, привыкшего повелевать. Если за него нельзя получить выкуп, то можно попробовать сделать из него старшего над другими рабами.

Юноша засмеялся:

— Если бы я был падишахом, вы стали бы моим первым визирем!

Старик и юноша вышли, не притворив за собой дверь. Солнце било в лицо Николаю Федоровичу, он закрыл глаза.

Опять он увидел воду. Знакомая с детства запруда у мельницы, родная деревня Змеево под Тулой. Ивы, склоненные над водой, сплетаются с собственными отражениями. Вода спокойная и прозрачная, мошки летают над ней и стрекозы. Берег глинистый, скользкий, и над ним яркая, свежая, молодая трава. В роще на том берегу запел соловей. Сначала скромно, чтобы не выделяться среди обычного птичьего гомона, он только попробовал голос.

«Когда соловей начинает петь, он еще слушает себя и потому стесняется,— подумал Ельцов.— Но потом, как всякий певец милостью божьей, он забывает обо всем и поет так, как может. Господи, сколько ездил, сколько видел, сколько слышал, ничего лучше этой запруды у мельницы так и не увидел, и никто не пел лучше, чем соловьи в этой роще».

Вода, как зеркало, отражала небо и была совершенно голубой. Ельцов лежал на самом берегу, но тело его было тяжелым, чугунным, и он понимал несбыточность мечты — доползти до воды. Хотелось окунуть в нее голову, а еще лучше — раздеться совсем и надолго уйти в глубину. Николай Федорович вдруг ощутил стертые колодками ноги, теперешнее свое тощее, грязное тело, кожу в рубцах и болячках, запах навоза и праха. «Да, да, я пленник, я в Хивинском ханстве, я еще живой, я еще живой. Живой! А все, что было,— это сон».

Нет, не все. Соловей из сна продолжал петь и наяву. Сквозь растворенную дверь он увидел большую желтоватую луну и какие-то деревья, была видна даже пыль

на листьях. Увидел и соловья. Серенький, невидный, сам с листочек и слабенький на вид. А все ему нипочем. Поет, как на родине. Николай Федорович лежал на камышовой циновке совершенно неподвижно и слушал.

— Ну, теперь жив будешь.

Ельцов сначала понял смысл сказанного, а потом только сообразил, что сказано это было по-русски.

Слева от него, поджав ноги, сидел тощий мужичонка с редкой бородой неопределенного цвета.

— Звать тебя как?— спросил он Ельцова.

— Николай,— ответил Ельцов и сам удивился такому ответу. Ведь не мужик, а ответил по-мужицки.— Николай,— повторил он.

— Как угодника,— сказал рябой.— У нас Евлампий есть, Данила, Михайла помер, Марк Андреич был, из купцов. Грыжа у него объявилась, его и продали. Я вот — Матвей. Матвей Григорьев. А Колька — ты первый.

Ельцов слушал его речь, словно музыку. Последние русские слова он слышал от своего Европкина. Где-то он теперь, бедняга...

— Откудова будешь?— спросил Матвей.

Николай Федорович задумался над вопросом. Откуда? Откуда он? Тульский помещик, москвич по рождению, в Петербурге служил в гвардии. В армии — в Оренбурге. Хотел сказать, из России, но Матвей не понял бы его.

— Трудно сказать,— произнес Ельцов и увидел, что Матвей нахмурился.

— Ну, коли трудно, то и не говори...— Матвей помолчал.— Не из простых ты, Николай. Я в тебе сразу усумнился. Уж прости меня, грешного, неделю ты в горячке, чего только не бормотал! А я все спросить тебя хотел, правду мне только скажи: не из священников ли будешь, не поп ли?

— Нет...— протянул Ельцов.

— А может, в семинарии учился, службу знаешь?

— Нет... — сказал Ельцов, он вовсе не верил в бога лет с семнадцати.— А почему ты спрашиваешь об этом?

— Показалось. Ты, видать, из сытых был прежде. А вот оброс и на попа стал похож. Мужик обрстет как хошь, а все мужик. А ежели барин себя заустит, так сразу на батюшку похож становится. Вот у нас барин

был запойный. Как после болезни выйдет, ну право слово — поп.

— Бывает,— сказал Ельцов.

— Жалко,— продолжал рассуждать рябой Матвей,— просто беда. Всяких сюда судьба забрасывает, а вот священника нет. А ведь нужен, ох как нужен! Нас, русских-то православных людей, по Хиве тысячи три, ежели не четыре. Веру свою блюдем, а настоящего священника-то нет. Россия-матушка в эту Хиву от каждого сословия какого-нибудь да прислала: солдаты есть, казаки, рыбаки астраханские, купцы есть, каторжника одного — «Рваную ноздрю» — сюда занесло, господина охвицера одного видал. Поручик. Помер, бедняга. Ударил своего хозяина кулаком, тот ему руку отрубил... Сказывают, попадья была одна — ее турхменцы на Каспии поймали. Попадья была, а вот батюшки — ни единого.

Матвей замолчал, и Николай Федорович молчал тоже. О чем говорить, о чем спрашивать? Все разъяснится само собой.

— Уж монахов-то беглых на Русь сколько... Так и гуляют, так и гуляют, — продолжал свою мысль Матвей — сюда б хоть одного.

— Все у тебя есть, только священника не хватает? — не скрывая иронии, спросил Ельцов.

— Только его,— грустно подтвердил Матвей,— но чтоб не самозванец, а рукоположенный. Без попа как без рук. Коли в Россию не суждено вернуться, то хоть здесь умереть по-православному, опять же иные жениться хотят, нельзя им без попа. Этот-то каторжник, «Рваная ноздря» — Андрей-дырявый, какой он поп?

Чем дальше говорил Матвей, тем меньше понимал его Ельцов.

— А сам-то ты, Матвей, кто? — спросил Ельцов.

— Я-то,— сказал Матвей,— я — никто.

— А в России кем был?

— Никем,— сказал Матвей,— сначала в Перми жил, потом по Руси ходил.

— Беглый, что ли? — спросил Ельцов.

— Зачем же! У меня и отец вольный, и дед. Дед у меня знатный мастер был. Купец Демидов сам ему вольную дал. Слышал про Демидова?

— Слышал,— ответил Ельцов.

— То-то. Ты-то сам кто будешь? Уж не из господ ли? Сдается мне, что ты барин, может, князь или граф какой...

— Барин,— согласился Ельцов.— Не граф, не князь, но помещик не из бедных.

— Извини, барин,— не меняя позы, сказал Матвей.— Мне бы, дураку, сразу спросить. Как вас по батюшке величать?

— Николай Федорович.

— Отдыхай, барин,— сказал, поднимаясь, Матвей.— Под утро я тебе поесть принесу. Сейчас все одно нету пищи для тебя пригодной. Утром покушаешь. Знай одно: жить ты теперь будешь, барин. Может, и худо будешь жить, а все ж будешь.— И, уже уходя, Матвей вздохнул:— Жаль, барин, что ты не поп. Большую я на тебя надежду имел.

3

Никогда прежде Ельцов не считал себя фаталистом. Однако теперь, лежа в ишащем хлеву, он не мог представить события последних месяцев своей жизни иначе, как неразрывную цепь странностей, игру фортуны. Или, наоборот, как связь закономерностей, выражающую все ту же судьбу. Если во всем, что случилось, не было высшего смысла и божьего промысла, то все это выглядело крайне нелепо. Не хотелось думать, что все это просто нелепость, обидно было так думать...

Время шло, и Николай Федорович постепенно привыкал к своему положению. Привыкание это состояло в том, что он уставал сопоставлять свою прежнюю жизнь с теперешней, себя прежнего с собой теперешним. Не забывая прежнего, он просто перестал сопоставлять.

Хозяева пока от него не требовали работы и даже не заговаривали с ним: рады были, что не помер. Выздоровливал он быстро. Жар и приступы беспамятства больше не возвращались к нему, и неясная эта болезнь, то ли простуда, то ли тиф, то ли лихорадка (Николай Федорович про себя называл ее горячкой), явно отступила. Днем он лежал большей частью в одиночестве, ночью же к нему приходили или кузнец Матвей или штукатур Да-

нила. Они кормили его кашей с мясом, сушеными фруктами, объясняя, что невольникам всего этого не положено и что ест он ворованное, а воровать здесь легко, потому как все воруют. Не было сил двигаться, и Ельцов предавался размышлениям и мечтам. Три месяца назад он и не думал о Хиве. Хотелось по кочевьям добраться до Каспия, по Кубани и Украине через Польшу бежать в Западную Европу. Как это было бы прекрасно!

Ельцов понимал, что доказать свою непричастность к восставшим после всего случившегося ему не удастся. Убийство ротмистра и побег из-под ареста навсегда поставили его вне закона. А ведь неизвестно еще, что там против него нашли в Петербурге.

Кто знает, может быть, эти хивинские злоключения все же лучше той участи, которая ждала его в России. В общих чертах представляя себе карту Азии, Николай Федорович мысленно прокладывал по ней маршруты своих возможных побегов. Вариант первый — через Персию и Турцию в Италию. Самый короткий и самый неизведанный. Более понятным представлялся маршрут длинный и романтический, описанный прозой и воспетый стихами, тот, которым прошли Марко Поло, Афанасий Никитин, Филипп Ефремов. Выглядел он примерно так: Хива, Бухара, Тибет, Индия... Ну уж из Индии хоть во Францию, хоть в Англию, хоть в Новый Свет. Иногда Николай Федорович представлял себя уже в Гавре или в Ливерпуле, в Неаполе или в Венеции. Вот он закончил свой путь, все беды и невзгоды позади, он снова свободен, снова в Европе. Тогда все, что он переживал сейчас в Хиве, показалось бы необычайно привлекательным. Можно было бы и книгу написать. Сейчас много книг выходит. Все пишут.

В фантазиях Николай Федорович видел себя то гостем на роскошных приемах восточных правителей, то дервишем, бредущим от оазиса к оазису. Во всяком случае будущее, как и прошлое, было куда интереснее настоящего. Иногда Николаю Федоровичу казалось, что судьба дала ему в руки возможность оказать неоценимые услуги всему цивилизованному человечеству и России в частности. Он пройдет сквозь современный Восток не как посол, которому показывают лишь самое красивое, он увидит его изнутри, поймет суть жизни и таинственную душу народов, знанием своим приблизит тот

день, когда Восток и Запад вместе будут стремиться к всеобщему человеческому счастью.

По правде сказать, никогда прежде столь честолюбивые прожекты не приходили в трезвую голову армейского капитана Ельцова, и сейчас это было скорее всего последствием долгой горячки, а может быть, продолжением ее. Он и сам понимал это, испытывал чувство неловкости и внутреннего смущения от этих беспочвенных мечтаний, но мысли не подчинялись ему, они витали далеко от вонючего ишачьего хлева. Что, если здесь, среди полудиких народов и могущественных, но пока еще недостаточно просвещенных монархов, и можно создать государство Разума и Справедливости! Кто знает, может быть, Восток в отличие от Европы станет огромным полем, на котором будут расти только полезные злаки.

Днем в хлеву было прохладно. Если бы не тучи тяжелых мух, Николай Федорович мог бы больше спать и меньше думать, но мухи донимали, уснуть днем не удавалось, и мысли Ельцова принимали почему-то то утопическое, то политическое направление.

Николай Федорович думал о том, что Россия имеет больше исторических, географических и нравственных оснований на прямой контакт с народами Востока, чем любая другая европейская держава. От Петербурга до Индии куда ближе, чем от Лондона, Берлина или Парижа. Английская политика на юге Азии, французское влияние в Персии — всему этому Россия могла бы и должна противопоставить свою собственную восточную политику, основанную на справедливости и доверии, а не на убийствах и подкупах. А что, если ему, Николаю Федоровичу Ельцову, самой судьбою предназначено помочь России?

Мысли о судьбе неизменно возвращали Николая Федоровича назад.

Возле ишачьего хлева удивительно большими и нежными цветами распустился куст шиповника. За стенами курганчи по ночам то детскими, то женскими голосами плакали шакалы. Говорят, что шакалы — это волки, не ставшие собаками. А зачем волкам обязательно становиться собаками? Чем собаки лучше шакалов и чем шакалы хуже волков? Вовсе не известно, кто лучше и кому лучше.

Глава четвертая

ЧАС, КОГДА НАДО МИЛОВАТЬ

И в конце концов стали внушать к себе страх, чтобы втайне и явно предупреждать тайное и явное предательство.

Б и р у н и. Минералогия

I

Недалеко от соборной, пятничной мечети города Хивы за высокой глиняной стеной стоит дом муллы Карима.

Мулла Карим — почтенный и весьма образованный человек. Он совершил паломничество в Мекку, наизусть знает Коран и толкования его, свято соблюдает все писанные и неписанные установления мусульманской религии. По знаниям и авторитету он вполне мог бы занимать пост казикаляна, верховного судьи, но его толкование законов столь прямолинейно, а неподкупность так хорошо всем известна, что противников его назначения на высокий пост куда больше, чем сторонников.

Столетиями в Хиве повелось так, что люди боялись судей и начальников, не принимающих подарки или, говоря попросту, не берущих взяток. Люди на личном опыте знали, что любой писанный закон — против человека, и лишь толкователь может использовать его на благо просителя. Посудите сами, кто же будет задаром искажать закон?

Мулла Карим наверняка бедствовал бы и давно бы лишился своего дома, не смог бы кормить детей, если бы не зарабатывал составлением сложных договоров о купле-продаже, об аренде, если бы не приглашали его свидетелем при самых ответственных сделках, если бы не звали гостем на свадьбы и похороны, потому что у него добрый глаз и слово его помогает жить. Кроме того, мулла Карим содержал самую популярную в Хиве домашнюю школу. Плата за обучение состояла из двух частей: небольшой денежной суммы раз в год и еженедельных приношений продуктами или готовой пищей.

Был четверг, конец учебной недели. Мулла Карим сидел на айване, высокой открытой веранде, а в единст-

венном классе школы, в большой полутемной комнате с кирпичным полом на войлочных коврах сидели ученики и повторяли пройденное. Место учителя занимал сын муллы Карима Юсуф-хальфа.

Цель обучения в обычных мусульманских школах сводилась к тому, чтобы ученик мог читать Коран и кое-как понимать прочитанное. Для этого изучаются азбука, грамматика и синтаксис. Потом на основе Корана изучаются география, космогония и все остальные науки.

Юсуф-хальфа (хальфа в мусульманской школе что-то вроде старосты или помощника учителя) явно спешил и думал о чем-то своем. Пользуясь отсутствием отца, он торопливо, без объяснений читал текст, был невнимателен сам, не замечал или делал вид, что не замечает посторонних разговоров и ошибок учеников. Раньше времени Юсуф разрешил ребятам отдохнуть и скрылся за дверь.

Ученики муллы Карима были далеко не одинакового возраста, хотя учились они в одном классе. Самому младшему, сыну ханского глашатая, было восемь лет. Самому старшему, сыну слепого муэдзина соборной мечети, — лет пятнадцать.

Воспользовавшись отдыхом и отсутствием старосты, ребята обсуждали главное событие вчерашнего дня — казнь нескольких невольников. Всех удивил жестокий каприз молодого хана. Аллакули посадил на кол своего любимого портного. Он был невольником, но еще при отце теперешнего властителя Хивы, при грозном Мухаммед-Рахиме, пользовался многими правами, о которых простой смертный мог лишь мечтать. Одного права не давал ему Мухаммед-Рахим — права откупиться на волю.

Теперь официально было объявлено, что ханский портной, подлая неверная собака-шиит, обманул доверие хана, пытался бежать в Персию, чтобы там грязно опорочить властелина Хивы и хивинские святыни. Несчастный не успел еще умереть, а вся Хива уже знала причину его казни. Покойный хан обещал портному, что тот получит свободу сразу же после его смерти. Говорили, будто хан даже специальную бумагу дал об этом. Однако новый хан ни за что не хотел отпускать портного, бумагу, данную отцом, порвал, а деньги, скопленные несчастным персом для выкупа, отнял, утверждая, что они краденые.

На прошлой неделе портного задержали в Новом Ургенче, куда он проник под видом дервиша, чтобы бежать из Хивы вверх по Амударье. Никто из детей в школе муллы Карима не сомневался, что хан может казнить любого человека любым способом. Обсуждалось другое: почему именно для портного хан избрал эту казнь, которая в Хиве применялась в исключительных случаях.

Угадать, почему хан избирает тот или иной способ казни, было трудно, и спор учеников носил поэтому явно схоластический характер. Спор разгорался и, прислушавшись к детским голосам, почтенный мулла Карим понял, что Юсуф куда-то отлучился из класса. И отца не предупредил. На него это не похоже. Мулла Карим не рассердился, он сам пошел к детям и продолжил урок.

Юсуф-хальфа отсутствовал довольно долго. Сначала он сбегал в караван-сарай и, отсчитав сторожу несколько таньга, получил от него что-то квадратное, завернутое в грязную тряпку. Сунув этот предмет за вырез халата, он пулей промчался домой и, удостоверившись, что никто его не видит, шмыгнул на чердак. Там он развернул тряпицу и стал читать книгу, напечатанную на хорошей бумаге совершенно непонятными буквами. Юсуф знал, что книга эта русская, что человек, продавший ее, рисковал многим — ему могли отрубить правую руку или выдать глаза. Не меньше рисковал и сам Юсуф. Знал юноша и то, что книга была привезена в Хиву неграмотным кочевником из отряда разбойника Маманбая, который за год до того напал на русский торговый караван, следовавший из Оренбурга в Бухару.

Судьба вещей часто бывает интересней человеческих судеб, потому что вещи больше могут вынести и не умеют сопротивляться, они безразличны к своим владельцам, они не кричат, когда их мучают. Однако русская книга была совсем новенькой. Никто еще не прочел ее до конца, и поэтому книга могла считаться младенцем, у которого нет еще ни судьбы, ни даже серьезной биографии. Это было видно несмотря на то, что обложка у книги отсутствовала. Наверное, она чем-то прельстила одного из прежних владельцев.

Купец Евграф Кайдалов купил эту книгу в Симбирске за несколько месяцев до того момента, когда часть

верблюдов его каравана была отбита летучей конницей Маманбая. По этой книге, хозяин которой так и не успел ее прочитать, Юсуф решил изучать русский язык. У разных русских пленных он будет узнавать начертание букв, потом отдельные слова и так постепенно, тайком от всех сумеет прочесть и понять эту книгу.

Если бы его отец, мулла Карим, не был столь правоверным мусульманином, можно было бы постараться купить грамотного русского невольника, но отец сказал, что никогда нога христианина не переступит порог его дома. Да и где взять грамотного русского невольника? Не так уж много среди них грамотных.

Юсуф спрятал книгу в заранее облюбованную шель на чердаке и вернулся к ученикам.

В классной комнате он застал отца. Мулла Карим хмуро давал детям задание на все праздничные дни.

— Если я оставляю тебя с учениками, это не значит, что ты можешь оставлять их одних. Даже перед праздником!

— Простите, отец,— поклонился Юсуф, обрадованный тем, что выговор был не слишком суровым.

— Завтра у нас в гостях будет юзбаши Иш-Назар. Может быть, придет из курганчи твой друг Шерали. Может быть, я отпущу тебя на охоту... — Отец любил иногда даже в ясных делах выражаться предположительно.

Вечером мулла сказал еще несколько слов, и Юсуф понял, почему в доме придают такое значение визиту Иш-Назара.

— Юзбаши, вероятно, хочет женить Шерали на нашей Рахиме.

Юсуф сделал вид, будто слова отца ничуть его не удивили.

2

При всей своей религиозности мулла Карим неуютно чувствовал себя во время самых больших мусульманских праздников. Вернее, он терпеть не мог огромных толп верующих, сутолоку, пыль, грязь.

— Только неграмотная чернь,— говорил он,— любит толкаться вместе, вместе радоваться или вместе пла-

кать. Человек из толпы обладает слишком слабыми чувствами и потому всегда должен заражаться от других. Настоящий человек и в великом горе, и в великой радости должен уметь быть самим собой и душой обращаться прямо к аллаху.

Так считал мулла Карим, и потому в этот день, а вернее, в ночь окончания уразы, он посоветовал сыну оставаться дома. Само собой получалось, что и молодой гость, сын юзбаши Иш-Назара, должен был остаться вместе с Юсуфом. Это было тем более огорчительно, что родители ушли в ханский дворец, где должны были находиться соответственно со своим положением. Что бы родители ни говорили своим детям, но молодым людям было обидно сидеть в этот день дома.

Единственным утешением служила возможность видеть весь праздник с крыши.

Улицы Хивы странно выглядели в этот час. Ведь на протяжении всего года по ночам улицы любого мусульманского города пусты. Каждый, кто попадет на полицейским (миршабам) в ночную пору, за одно только это может быть избит или даже казнен. Но сегодня все население Хивы толпилось в узких, похожих на кривые коридоры улицах и возле квартальных мечетей. Больше всего народа — перед ханским дворцом.

Над минаретами плыла луна, звезды, крупные и яркие, как вишни, висели над городом. Этой ночью во всех дворах готовили еду, и вкусные запахи поднимались над низкими крышами.

Шерали и Юсуф не виделись несколько месяцев, им было о чем поговорить, было что рассказать друг другу. Каждый из них про себя знал, что вскоре они станут родственниками. Сегодня они говорили обо всем на свете, но только не об этом. Говорить о таких вещах недостойно настоящего мужчины, если от тебя к тому же ничего не зависит. Все будет так, как захотят родители, родители знают лучше.

Молодые люди говорили об охоте, о прочитанных книгах и о лошадях. Отец обещал подарить Юсуфу лошадь, и Шерали уговаривал своего городского друга, чтобы тот не торопился с покупкой, потому что в курганче «Добро пожаловать» есть достаточно хороших лошадей и для охоты и для прогулок. Они увлеклись разговором и потому не замечали, что из длинного узко-

го окна глиняной каморки, выходящей на соседнюю крышу, за ними следит сестра Юсуфа — Рахима.

Приготовления к празднику на площади перед дворцом, шумные толпы народа на улочках и вся прочая суета совсем не волновали ее. Вопреки строгим запретам пробралась она сюда, чтобы посмотреть на того, кто скоро станет ее мужем. Молодые люди были в новых праздничных халатах, только у Юсуфа зеленый, полуселковый, у Шерали — из чистого шелка, почти черный с лиловым отливом.

Не в первый раз Рахима видела сына сотника. Несколько лет назад, когда Иш-Назар наезжал в Хиву чаще и останавливался у муллы Карима, Рахима вместе с другими ребятами и со старшим своим братом играла с будущим женихом на женской половине дома. Шерали был на год старше, и Рахима всегда относилась к нему с почтением. Этого почтения прибавлялось от того, что Шерали был другом ее любимого брата, а Юсуф казался сестренке образцом красоты и ума. Стройный, сильный, гибкий, высокий, с матовым, очень смуглым лицом, Юсуф всегда был чем-то занят, всегда сосредоточен, быстр и четок в движениях, и всегда у него находилось время поиграть с младшими, быть внимательным и приветливым. Шерали казался куда более строгим и сухим со сверстниками, а малышей вообще не замечал. В детстве Рахима побаивалась сына сотника, в юности — стеснялась.

Не в первый раз видела Рахима Шерали, однако впервые видела его своим женихом.

«Красивый, — думала она. — Красивый и сильный. Ростом он, конечно, ниже Юсуфа, зато сколько в нем силы, какие широкие плечи и властный взгляд. Он настоящий мужчина. Хорошо, просто удивительно хорошо, что я буду его женой».

Брак этот, предрешенный родителями не только без согласия, но без ведома детей, обещал быть удачным. Шерали тоже радовался отцовскому решению и согласию муллы Карима. Ведь если бы его спросили — кого хочешь взять в жены, он назвал бы только Рахиму. Он давно любовался ею, давно надеялся, что дружба между отцами приведет именно к этому. Лыстило сыну сотника и то, что Рахима была весьма образованна, много читала, хорошо пела и сама писала стихи, хорошие грустные стихи.

Шерали не считал возможным говорить с другом о том, что больше всего волновало его сейчас. Это казалось ему нарушением приличий, и он боялся выдать свою радость, гордость, свои честолюбивые замыслы об устройстве пышной, богатой свадьбы.

Говорить хотелось только об этом, и разговор на другую тему не клеился, тлел, поддерживаемый незначительными репликами и замечаниями по поводу очень медленно развертывающихся праздничных приготовлений. Оба юноши оживились, когда возле подземной тюрьмы — зайдана раздались глухие, зловещие удары барабанов, а вслед за ними громкие, параспев проклятия. По улице от тюрьмы к дворцовой площади Хивы поползла большая разношерстная толпа.

— Велик аллах! — слышалось из этой толпы.

— Велика милость аллаха!

— Велика милость хана Аллакули!

Двое трубачей в центре процессии, вертикально вскинув гигантские трубы-карнаи, трубили в них что есть мочи. Прямо за трубами шли барабанщики, за ними несколько стражников и два палача в кроваво-красных чалмах и с широкими, сверкающими ножами у пояса.

— Кого сегодня будут миловать? — спросил Шерали.

По обычаю, испокон веку известному в азиатских странах, в дни больших религиозных праздников полагалось прощать преступника, ранее приговоренного к смерти. Так было три тысячи лет назад, так было и теперь.

Совсем недавно, когда приговорили к казни перса-портного, многие считали, что казнь его будет назначена именно на эту ночь и хан помилует своего любимчика. Однако для помилования предназначался, видимо, другой человек.

— Кто этот несчастный?

Тот, о ком спрашивал Шерали, шел позади палачей, подталкиваемый тюремщиками. Это был худой и высокий человек лет тридцати пяти. Белая просторная рубаха болталась на жилистом теле. Руки преступника были связаны за спиной, и от этого он казался еще более худым. В свете факелов сверкали его очень черные глаза под тонкими черными бровями. Борода была короткая, аккуратная.

— Это шпион и осквернитель веры, — не сразу ответил Юсуф. — По профессии чеканщик, медник, знает, как плавить разные металлы, ювелир хороший. О нем мало известно. Зовут его Ибрагим. Я не знаю даже, чей он шпион: бухарский, персидский или русский.

— А что говорит твой отец? — опять спросил Шерали.

— Что медник оскорбил веру и власть, — ответил Юсуф. — А вообще подробностей никто не знает. Может быть, он шпион, но, чтобы не волновать людей, говорят, что он оскорбил веру. Шепотом говорят еще о его связи с каким-то языческим идолом.

— Если он хороший мастер, — заметил Шерали, — его правильно выбрали. Лучше помиловать мастера, чем какого-нибудь бездельника, от которого никому никакой пользы.

— Странный ты человек! — Юсуф пожал плечами. — Конечно, мастера всегда очень жалко, и портного было жалко. Но разве в этом дело? Право миловать дано человеку богом как высшая награда и высшая власть.

Процессия то двигалась, то останавливалась для вознесения молитв аллаху и славословий хану.

Разговор молодых людей сам собой перекинулся на недавнюю казнь ханских невольников, и Шерали сказал, что его управляющий дешево купил какого-то русского, про которого говорят, что он чуть ли не родственник самого белого царя.

— Он грамотный? — неожиданно для Шерали заинтересовался Юсуф.

— Может быть. Даже скорее всего. Он несколько месяцев был в плену у казахов и может объясниться по-узбекски, но писать вряд ли. Очень уж он грязный и слабый. Ходит, держась за стенку. Я с ним не хочу говорить.

3

С крыши дома муллы Карима площадь перед ханским дворцом была как на ладони. И хотя церемония помилования повторялась каждый праздник, оторвать глаз от этого зрелища не мог никто.

Подойдя к воротам дворца, стражники стали кру-

гом, в центре которого оказался осужденный и два палача.

Трубачи затрубили тревожней и чаще, барабанщики сильнее застучали в барабаны.

Обычай миловать осужденных в день праздника существовал во многих странах Востока, но в каждой стране существовал свой церемониал.

В Бухаре, например, были специальные плакальщики, которые во всеуслышание сочувствовали осужденным. В Хиве же вместо плакальщиков были глашатаи, которые громко поносили приговоренного к казни в этот день.

Глашатаи несколько раз прокляли мастера Ибрагима, «который оскорбил веру, нарушил запреты, продал душу дьяволу, а кроме того, был бухарским шпионом». Потом опять затрубили трубачи, стражники поставили преступника на колени, палачи стали править лезвия своих длинных ножей о голенища сапог, и на огромной площади все замерли.

Было тихо, так тихо, что, казалось, слышно, как пошвыстывает сталь, касаясь кожи. Замолкший барабан вдруг ударил один раз, палач подошел к осужденному, закинул его голову назад, зажал ее между колен, в кулак схватил бороду преступника и обнажил шею. Тогда с ножом в руках подошел другой палач и крикнул:

— Смерть идет!

Точно приветствуя смерть, опять взвыли карнаи и зачастил барабан. Люди в толпе закричали, воздевая руки к небу.

— Смотри, — показал Юсуф, — видишь того парня в первом ряду? Это сын преступника. Азим. Он одно время ходил в нашу школу, а потом стал главным подмастерьем у отца. Парень способный и добрый, он мог и не знать ничего о делах своего отца.

— Если точно знаешь, что тебя помилуют, то вся эта церемония выглядит смешно. Только позор большой. Очень я сочувствую этому Азиму. Кажется, он действительно славный парень.

— Хороший, — кивнул Юсуф.

Палач, будто не слыша криков людей, барабанного боя и рева карнаев, поднес нож к горлу преступника и сделал движение, после которого, казалось, голова долж-

на отделиться от туловища. Но это было обманное движение, предусмотренное церемониалом.

В тот самый момент, когда палач отдернул нож, распахнулись ворота дворца и слуги выкатили длинный ковер. В окружении свиты медленно и величественно появился хан Аллакули.

На белой чалме сияли драгоценные камни, золотой парчи халат мерцал в лунном свете, у пояса висела кривая сабля в золотых ножнах. Хан склонил голову к одному из приближенных, глашатаи вновь провозгласили вину осужденного. Палач замахнулся ножом, и хан произнес слова, которые все вначале приняли за формулу помилования.

Но нет. Вместо слов «во имя Мухаммеда, милостивого и великого, дарую я жизнь этому человеку» хан сказал:

— Во имя Мухаммеда, милостивого и великого, этого человека надо казнить.

Палач не поверил своим ушам. Руки не послушались. Палач этот вовсе не был добрым человеком, не испытывал он и жалости к своим жертвам. Но обычай есть обычай, зачем нарушать его, зачем казнить именно в эту святую ночь?

Разве мало дней в году, чтобы казнить?

Зачем при всех нарушать обычай, зачем казнить в тот час, когда надо миловать?

— Режь! — крикнул палачу Аллакули. — Режь!

Толпа ахнула. Сын медника упал лицом в пыль.

Сразу же после казни кушбеги распорядился, чтобы обоих старших палачей понизили в должности. Они слшшком медлили в выполнении приказа и, как показалось кушбеги, выказали удивление.

Настоящий палач может удивляться милости повелителя. Удивляться твердости он не должен.

4

В доме муллы Карима гостей всегда принимали радушно, но скромно.

После плова, который съели на террасе, прошли в

мехмонхану — гостиную — и, полулежа на старых пала-сах, начали играть в шахматы. Шахматы из слоновых бивней были здесь единственным предметом роскоши.

Юсуф и Шерали держались чуть поодаль, не хотели мешать беседе старших.

Усевшись в другом углу, они достали шахматы по-проще и расставили их на самодельной доске. Молодые люди разговаривали между собой шепотом и прислуши-вались к беседе родителей. Казалось, что те должны бы обсуждать будущее бракосочетание. Следовало догово-риться о дне свадьбы, о гостях и о расходах. В любом случае приготовления пора начинать уже теперь.

Отношения между старшими и младшими в семье муллы Карима складывались не просто. Юсуф и Рахима с малых лет чем-то неуловимо отличались от отца. Они были мягче, веселее, разговорчивей.

Юсуф с легкостью к тринадцати годам изучил Ко-ран и комментарии к нему, хорошо читал и писал на фарси, обладал блестящей памятью, никогда ни на кого не сердился и, кажется, не умел обижаться. По мнению муллы Карима, в Юсуфе не хватало «костей», твердо-сти, «железа». Девушке бы такой характер! Впрочем, Рахима хоть и девушка, а была тверже, сильнее, мол-чаливей.

В мехмонхане играли в шахматы. Хозяин распоря-дился принести чай. Четверо мужчин, как равные, усе-лись вокруг дастархана. Виноградный сахар, мучнистые хивинские конфеты, сушеный инжир...

Ни хозяйева, ни гости не притрагивались к сладостям. Медленно пили чай и разговаривали.

Большая честь сидеть и разговаривать со взрослыми на равных. Впрочем, это только называется «разговари-вать». На самом деле старшие говорят, младшие слу-шают.

— Наш покойный хан, благословенна память его, Мухаммед-Рахим в совершенстве знал игру в шахма-ты, — с оттенком назидания сказал мулла Карим. — Он знал сто различных способов, как начинать партию белы-ми и ровно столько же — как играть ее черными. В сере-дине партии он видел комбинации на семь ходов вперед. А когда на доске оставалось мало фигур, он каждой из них мог предсказать будущее.

— Я не знал этого, — вежливо удивился Шерали.

— Да, это было так, — подтвердил Иш-Назар. — Только надо добавить, что в последние годы наш покойный хан мало играл сам. Он собирал нас, его слуг и помощников. Мы играли, а он любил наблюдать за нашей игрой и подсказывать. У него был действительно очень зоркий глаз, и подсказывал он лучше, чем играл сам.

— Да! Но он знал игру! Он вообще был великий человек и великий политик.

Мулла Карим никому не мог позволить пренебрежения к покойному хану. Особенно при сыне. Важно было воспитать в молодом человеке веру и почтение к власти предержащей. Мулла знал достаточно плохого о покойном хане, даже очень много плохого. Но разве это важно? В великих людях надо видеть великое. Это он укрепил престол Хорезма, он начал камень по камню собирать то, что развеяло время. Это он покончил со многими междоусобицами, совершил несколько походов. К сожалению, не всегда удачных.

— Наш покойный хан и не мог отдавать много времени шахматам. Государственные дела требовали его внимания ежечасно. Нужно было покончить со смутой. Бог послал ему больше дюжины братьев, родных и двоюродных. Только Кутлуг-Мурад оказался верным ему, еще один бежал в Бухару, а остальных ведь пришлось убрать!

Юсуф хорошо знал историю царствования предшествующего хана и переспросил скорее для своего друга Шерали:

— Остальных убил?

Отец уловил нарочитость в вопросе сына и рассердился:

— Да! Ты прекрасно знаешь. Он вынужден был это сделать! Вынужден!

— Конечно, — потупился Юсуф, — конечно, я знаю. Я хотел, чтобы это слышал и Шерали.

Мулла Карим помолчал. Потом, решив, что последнее слово все-таки должно остаться за ним, стал говорить о палоговой системе, которая приобрела более законный характер, об улучшении торговли, о том, что близко время, когда Хорезм обретет свое былое величие и станет первым государством Востока.

Пока он говорил, все слушавшие его стали думать о

теперешнем хане. Нет, Аллакули, старший сын покойного и законный наследник, не внушал особых надежд. Было известно, что Мухаммед-Рахим перед смертью хотел лишить Аллакули престола, чтобы передать власть своему второму сыну, Рахманкулу. С точки зрения большинства хивинцев, Рахманкул, могучим телосложением, русой бородой и всеми повадками походивший на отца, более подходил для продолжения династии. Однако в последний момент Мухаммед-Рахим собрал государственный совет и объявил, что наследником будет Аллакули. Люди, близкие к тайнам дворцовых интриг, знали, что советники хана высказались в пользу Аллакули только потому, что он был глупее Рахманкула, ленивее, рано начал пить водку и влиять на такого хана сановникам будет легче.

В Рахманкуле отпугивало даже чисто внешнее сходство с отцом. Седобородые царедворцы прекрасно помнили, что в любом из ханских покоев в любой час можно было увидеть знатного вельможу с перерезанным горлом или даже близкого ханского родственника с ножом, по рукоятку загнанным в спину. Об этом в мехмонхане муллы Карима старались не говорить.

В нашей речи много слов, позволяющих одну и ту же мысль высказать совсем по-разному. Один хочет сказать: «Кровавые убийства беззащитных стариков, женщин и младенцев ради подлой борьбы за власть». Другой говорит: «Он вынужден был способствовать укреплению престола своих предков, применяя самые крайние, самые решительные, порой излишние меры». Вроде бы и смысл один, а разница велика.

Юсуф горячился, говоря о неоправданных жестокостях Мухаммед-Рахима, против собственного желания сердил отца и забывал правила вежливости. Отец хмурился, но не хотел при госте обижать почти взрослого сына. Поэтому оба обрадовались, когда Иш-Назар заговорил о нынешних доходах ханства, о важности торговли с Россией, о том, что Россия явно не хочет вреда Хорезму, и молодой хан наверняка поймет это очень скоро!

Иш-Назар был человеком сдержанным и осторожным. В 1819 и 1820 годах он выполнял важнейшие дипломатические поручения при старом хане, встречал в Хиве, а затем сопровождал на Кавказ русского послан-

ника капитана Николая Николаевича Муравьева-четвертого

Его тесное знакомство с этим русским офицером, а впоследствии и с самим главнокомандующим войсками Российской империи на Кавказе генералом от инфантерии Алексеем Петровичем Ермоловым относилось к числу заслуг юзбаши, однако по существу связь с русскими навсегда оставила его под подозрением. Любо́й хивинец, побывавший за границей, считался человеком опасным. Видимо, в том был свой резон. Чем меньше видит человек, чем меньше знает, тем труднее ему сравнивать одно с другим, а кто не может сравнивать, тот не может и отличить хорошее от плохого. Люди, побывавшие в Персии, Турции, Бухаре, настораживали: не государственное это дело — путешествовать. Дервиши, совершающие паломничество, или купцы, разъезжающие для барыша, — это иное. Даже наследников своих ханы не посылали за границу.

Иш-Назар знал, что ему не доверяют в ханстве, недаром он оставался сотником, хотя по заслугам и богатству вполне мог бы быть в числе первых сановников. Он знал, что ему не доверяют, и потому был крайне осторожен в словах и поступках.

— Мне кажется, — сказал Иш-Назар, — что, если бы аллах продлил жизнь нашего хана, между Хивой и Москвой установилась бы дружба. Может быть, это кажется мне, но ведь Мухаммед-Рахим-хан обещал русскому посланнику свое высокое благоволение. Нашей стране, — продолжал осторожно юзбаши, — не хватает не только добрых и доверительных торговых отношений с такой богатой страной, как Россия, нам не хватает не только товаров, но и просто знакомства с этой страной и ее людьми. Это великая страна, и забывать о том, что она наш ближний сосед, очень глупо.

Юзбаши начал свою речь осторожно, но, увлекшись, закончил ее слишком резко. Получалось, что Аллакулихан пока все же не следует заветам своего отца и ведет себя неразумно. Чтобы смягчить это впечатление, Иш-Назар заговорил о том, что русские, к сожалению, исповедуют не ту веру, что они не признают аллаха, и дружить с ними поэтому не так-то уж и легко.

Мулла Карим подхватил эту тему с охотой. Он говорил, что падение веры, которую он замечает в Хиве, про-

исходит отчасти из-за того, что здесь стало слишком много иноверцев: персов-шнитов, армян, евреев и русских. Относительно того, что русские — нация образованная, это явное преувеличение.

— Подумайте сами, — обратился к присутствующим мулла Карим, — я многим русским невольникам задавал вопрос: на что похожа наша земля? И все они мне отвечали, что земля похожа или на блин, или на лепешку. А у нас в Хиве каждый образованный человек знает, что земля имеет форму шара и похожа скорее всего на яблоко или на арбуз. Наш великий хивинец Абу-Райхан Бируни еще когда писал об этом!

Юсуф хотел возразить отцу, что ученики их домашней школы тоже еще ничего не знают о форме земли, что в Коране об этом не написано и что произведения Бируни в Хиве читало, может быть, десять человек, а может быть, только пять.

Юсуф хотел возразить, но промолчал. Он подумал, что поступил правильно: ни в коем случае нельзя говорить отцу о своем желании изучать русский язык и о том, что у него есть русская книга. Пройдет время, все само собой утрясется, уладится, а знания — не деньги, их обратно не отберешь. Конечно, можно было бы просить помощи в изучении русского языка у Иш-Назара, кое-чему сына своего он обучил, но сам сотник плохо говорит по-русски, а читать и вовсе не умеет.

Шерали, чувствуя напряженность, быстро расставил на доске шахматные фигурки и предложил Юсуфу.

— Сыграем? Отец показал мне любимую ловушку хана Мухаммед-Рахима. Противник отдает ферзя за ладью и пешку.

То ли боясь возобновления опасного политического спора, то ли желая наедине с гостем обсудить что-то, их двоих касающееся, мулла Карим сказал молодым людям:

— Возьмите шахматы и идите к себе. Не проспите, завтра утром вы можете отправляться в курганчу. Пусть Шерали гостит у нас, но жених не должен долго оставаться под одной крышей с невестой. Таков обычай.

рует. Однако фантазия его была бедной, сам он находился в явном подпитии, и Ельцов перестал слушать проповедь. Он еще пристальней взгляделся в попа и в паству.

Ряса из крашеной дерюги, кадило медное, сделанное из небольшого чайника, ржавая борода священника и самодельные иконы — все это недолго занимало внимание Николая Федоровича. Судьбы людей, собравшихся вместе в той крохотной молельне, больше всего сейчас интересовали его.

Вот Аким Тупиков, астраханский рыбак из богатых, толковый малый. Пятнадцать лет назад совсем мальчишкой вместе с отцом отправился на собственной лодке в море. Поставили сети и увидели, что идет к ним лодка другого астраханского жителя, их соседа Петра Кирпечая.

Николай Федорович запомнил рассказ Акима дословно и надеялся, что сумеет передать в Россию все слышанное. Именно об этом просил Аким всех, кого встречал.

Кирпечай держал большую лодку, и работниками у него были три казаха или туркмена, люди, отбившиеся от своих и не прибившиеся к русским. Петя Кирпечай с работниками перешел в лодку Тупиковых, и работники по его знаку вдруг схватили отца с сыном и связали. Петя же, сосед ближний, смотрел на все это с улыбочкой, а потом объяснил своим землякам и единоверцам:

— Продам я вас в Хиву, сети заберу. Лодку, может, матери верну и заработаю на вас больше, чем за год рыбой. На рыбе-то какой нынче доход!

(Аким не мог забыть именно последних слов: «На рыбе-то какой нынче доход!»)

Отец Акима погиб во время перехода через пустыню, а сам он одну только лелеет надежду — вернуться в Астрахань и рассказать людям, чем богатеет Петя Кирпечай.

Священник рассказывал теперь о Понтии Пилате и о том, как он хотел помиловать Христа, а народ потребовал помилования для разбойника Вараввы, который богатых грабил, а простой люд никогда ни в чем не обижал. Тут поп Андрей тоже фантазировал вольно и долго, приспособливая библейские сюжеты к своим взглядам на жизнь.

Андрей Иванов, в прошлом каторжник по кличке

Ноздря, оказался в Хиве после побега из Сибири. По рождению москвич, сын дьячка. Он с молодых лет сам связался с замоскворецкими разбойниками и за убийство приезжих купцов в трактире на Ордынке получил пожизненную каторгу, где пробыл всего года четыре и бежал, кандалной цепью удушив надзирателя.

Невольники в Хиве говорили о нем с уважением и страхом. Несмотря на буйный нрав и страшный вид, Ноздря пользовался любовью теперешнего хана. Боялся он только другого русского — личного ханского телохранителя «придверника» Федьку Грушина. Но не очень боялся. То, что поручалось отцу Андрею, Грушин не умел делать.

За несколько лет до смерти хана Мухаммед-Рахима, отца нынешнего хана Аллакули, в Хиву прибыл из Индии специально выписанный лекарь и волшебник. Многие русские невольники видели его: индеец был черноглаз, строен, с длинными, до земли, смоляными волосами, которые он сворачивал в жгут и обертывал вокруг головы как чалму. Он лечил хана Мухаммед-Рахима долго, до самой смерти.

Ходили слухи, что за лечение свое брал тот индеец с хана чистым золотом. Месяца через полтора после смерти отца молодой хан Аллакули приказал взять лекаря в пытку, отобрать все, что получил тот у отца, а потом и убить, сказав, что это он уморил хана.

Так вот пытал лекаря тот самый человек, который служил сейчас службу о воскресении Христовом, о мучающего на кресте и о милосердии божьем.

Андрей Ноздря долго пытал индийского лекаря. Он выдергивал волосы его и зубы, рвал тело раскаленными щипцами, жег спину на огне, выпытывал, где хранит лекарь полученные от хана деньги. Делалось это в присутствии первого ханского сановника — кушбеги. Все сказал индеец — про золото, про камни драгоценные и про тайники свои.

Аллакули наградил Андрея Иванова халатом и разрешил ему исполнять должность священника, которой тот помогался. Предварительно Аллакули спросил совета у настоятеля главной мечети, тот сказал, что русским нужно иметь своего муллу, а хорошо, когда это человек проверенный.

Андрей Иванов разъезжал по ханству и, по собствен-

ному разумению объединяя несколько религиозных праздников вместе, мог отслужить и за великий пост, и за пасху, и за троицу. С приездом попа Андрея русские невольники получили законную возможность собраться вместе, вместе молиться, вспоминая то, что видели и слышали в иные годы в благолепных церквях; они вспоминали родину, молодость, ближних своих... За это да за красивый бас прощали люди Андрею Иванову и вольности в богослужении, и палаческую его должность при хане, и — что всего им было труднее — зверскую его рожу с рваной ноздрей.

Впрочем, не все прощали. Кузнец Матвей, тот, что выходил беспамятного Николая Федоровича, предполагая в нем священника, был крайне недоволен. Он бубнил себе под нос про самозванство и чуть не сплевывал со злости.

— Это ж надо! Поставил нас на колени, как на троицу, а службу ведет по двенадцати евангелиям, как в страстной четверг, — продышал он Николаю Федоровичу в ухо.

— Бог с ним, — миролюбиво ответил неверующий Ельцов, а про кузнеца подумал: «Начетчик».

Зато каким счастьем светился Аким Тушиков, какую надежду давала ему молитва!

Когда начали христосоваться, Аким шепнул Николаю Федоровичу в самое ухо:

— Батюшка наш, отец Андрей, поговорить с тобой хочет о святом. Завтра в полдень за стеной У канавы новой.

Три раза в году русские невольники имели право праздновать свои религиозные праздники. Никто не считался с тем, чтобы праздники эти отмечались вовремя. Подгоняли их обычно к большим мусульманским праздникам. Само собой установилось, что в любой весенний мусульманский праздник русские празднуют пасху, зимой — рождество или крещение, а третий праздник — какой придется.

Николая Федоровича предупредили, что сразу после праздника он должен начать работать — копать арык недалеко от курганчи. Он был слишком слаб, чтобы настоящему работать, но ходить уже мог.

Свидание, которое назначил Аким, должно было состояться примерно в версте от крепости, на берегу кана-

ла, под старой, сохнувшей чинарой. Ельцов сразу понял, почему именно это место было выбрано для разговора. Все на виду, никто не подслушает.

И вот в первый день пасхи, в жаркий, по существу летний день, Николай Федорович вышел из курганчи и медленно пошел вдоль канала. Скрипели чигири—огромные колеса с прилаженными по окружности глиняными кувшинами. Вода крутит колесо, колесо поднимает вверх наполненный водой кувшин, потом кувшин опрокидывается, выплескивая воду в желоб, и вновь окунается, чтобы зачерпнуть новую порцию воды. Небольшие такие кувшинчики, штук десять. Тоненькая струйка воды бежит от желоба, а поле большое, и к осени все оно будет в крепких, тяжелых, как ядра, арбузах и дынях.

Солнце пекло нешадно. Ельцов покрылся липким потом, ноги его подрагивали. Как он будет работать, махать мотыгой? А ведь невольников здесь бьют.

Под чинарой расстелена кошма, на берегу канала пачется крупный серый ишак, на котором приехал самозванный священник Андрей Иванов.

Ишака одолевают слепни, хвост и уши его работают беспрерывно.

Только подойдя совсем близко, Николай Федорович увидел, что отец Андрей и Аким купаются. Те тоже увидели Ельцова, вылезли и, стыдясь наготы, стали быстро одеваться.

На кошме под чинарой после нескольких незначущих фраз Андрей сказал:

— Хитрить нечего, все мы тут рабы, только я раб самого хана, а ты — раб ханского сотника. Перед нашим Христом-богом мы тоже все равны, а ихнему, мусульманскому, на нас наплевать. Так вот, барин, все знают, что ты барин, так я тебя и буду называть. И уж на «ты». А вот вернемся в Россию-матушку — там ты будешь «ваше благородие» и на меня не глянешь.

Андрей Иванов говорил быстро, сменяя слова, и трудно было понять, к чему он клонит. Главное было, видимо, в том, что они — Николай Федорович Ельцов, Андрей Иванов, а также и Аким — могут вскоре оказаться в России.

— Понял, барин, о чем говорю? — спросил Иванов.

— Кажется, начинаю понимать.

— А ты понимай, не бойся. Чего тебе бояться? — усмехнулся тот.

— Когда же это? — спросил Николай Федорович.

— Может, завтра, а может, послезавтра, — сказал самозванный священник. — А может, никогда... Может, я пошутил...

Ельцов посмотрел на него строго:

— Странные шутки!

— Хорошие шутки, когда пусто в желудке, — вроде бы переводя разговор, опять заговорил Иванов. — Мне ведь и здесь не худо живется. Ем досыта, сплю вволю. На мне не пашут. Здесь-то уж я точно не последний человек. А в России-матушке неведомо что и будет!

Аким следил за разговором с тревогой. Он не понимал: зачем такому ловкому и сильному человеку, как Андрей Иванов, понадобилось склоняться к побегу этого больного и слабого новенького? Вдвоем бы и ускакали, а этот на что сдался? Еще разболтает кому.

Словно бы отвечая на последнюю мысль Акима, Иванов сказал:

— О разговоре нашем, барин, никто знать не должен, а узнает кто — я тебя сам задушю. Вот этими руками. Душегубство мое бог простит. Я перед ним заслуги имею. можно сказать, патриарх хивинской земли! — Иванов засмеялся.

— Каким путем думаете идти? — спросил Ельцов.

— Сначала на север, левее Дарьи-реки, к Аральскому морю, — ответил Иванов. — Тут надо быстро пройти. А потом на Каспий выйдем и к Астрахани.

Слово «Астрахань» вернуло Ельцова к мыслям, о которых он в последнее время стал забывать. Итак, опять Астрахань. Как и в самом начале его одиссеи, получалось, что он может оказаться в Астрахани, а оттуда по югу России уйти в Западную Европу. Теперь вынужденная петля его пути захватывала и хивинское ханство.

— Я бы согласился, но боюсь, подведу вас в дороге, — сказал Ельцов, — сил маловато.

Андрей Иванов поглядел на него оценивающе:

— День-другой поразмышляй, а потом уж поздно будет.

Когда Николай Федорович возвращался в курганчу, ноги его ступали твердо, жаркий ветер обдувал сухое тело, и голова была ясной.

«Этот полупоп, полупатач — истинный самородок, ярок, удачлив, дерзок. Таким, вероятно, был Пугачев или Стенька Разин, — думал Николай Федорович. — Случай этот может и не повториться».

2

Вечером в первый день пасхи русские невольники курганчи «Добро пожаловать» с благословения хозяев своих и управляющего справляли праздник, а говоря проще, пили самодельную водку, загодя для этого случая приготовленную.

Мусульманская религия строго-настрого запрещает потребление спиртного. По канонам этой религии пьяница и осквернитель веры — одно и то же. Однако ни один из чисто православных пороков так быстро не привился среди истинных мусульман, как пьянство.

Пили ханы, пили их придворные, пили правители городов. Тайком от своей паствы пили духовные пастыри. Покойный хан Мухаммед-Рахим почти всю свою жизнь был отъявленным пьяницей, а когда из-за болезни не смог больше пить, издал указ, по которому уличенному в пьянстве полагалось на первый случай рассекать рот до ушей, а в случае продолжения — лишать жизни. Равные же меры должны были применяться по отношению к курильщикам. Указ был читан в Хиве, провозглашен во всех мечетях ханства, но ни один пьяница или курильщик не стал его жертвой. Правверные продолжали нарушать закон божеский и ханский, а уж русским невольникам три раза в году это и подавно разрешалось. Каждый мало-мальски опытный хозяин не хотел лишать своих рабов этой едва ли не единственной радости.

Возле кузницы, за конюшней, под кустами алычи сидели русские люди разных возрастов, пили мутноватый воюющий самогон из глиняных пиал, закусывали вареными яйцами, как положено на пасху, рвали руками жирное тело соленых аральских усачей, жевали пресные узбекские лепешки.

Лишь двое из всех русских невольников были трезвы: Николай Федорович, который, как ни старался, не смог выпить больше одного глотка, и кузнец Матвей, не пивший по убеждению.

— Я, барин, на винокуренном заводе мастером был, — говорил Ельцову Матвей Григорьев. — И там капли не пил. Там-то уж все спивались, спирт чистый глотали, один аж сгорел изнутри, до чего пропитался наскрозь... А я — нет. Я дома в Перми раза три пробовал: бледнею сильно, голова болит и людей не любить начинаю.

Кто-то за ближним кустом монотонно запел, а вернее, начал кричать на одной ноте старую песню: «Как во славном городе Астрахани появился добрый молодец, добрый молодец Емельян Пугач...»

Вдруг низкий красивый голос, чуть-чуть сиплый, но все-таки красивый, перекрыл эту песню своей:

Не белая лебедка в перелет летит —
Красная девушка из полону бежит;
Под ней добрый конь растягается,
Хвост и грива у коня расстилаются,
На девушке кунья шуба раздувается,
На белой груди скат-жемчуг раскатается,
На белой руке злат перстень как жар горит.
Выбегала красна девушка на Дарью-реку,
Становилась красна девушка на крутой бережок...

Никогда прежде Николай Федорович Ельцов не слышал этой мелодии и этих слов.

Пел песню белобрысый парень с крупными чертами лица. Худенькое его тело, казалось, не могло дать силу такому голосу, смотреть на него было странно, как на того соловья, которого видел тут Ельцов. А парень пел про беглянку, про мольбу ее:

«Ох ты гой еси, матушка Дарья-река!
Еще есть ли по тебе броды мелкне?
Еще есть ли по тебе калины мосты?
Еще есть ли по тебе рыболовщички?
Еще есть ли по тебе перевознички?»
Ниоткуль взялся перевозчикек...

Пусть не удастся сразу уйти в Европу, думал Николай Федорович, он согласен оставаться рыбаком на Каспии, жить среди беглых; даже на каторгу согласился бы Ельцов — лишь бы в Россию.

Мысли его прервал Матвей:

— Ты, барин, слышать, в побег собрался?

Никому не говорил Ельцов об этом. Кто мог разболтать тайну?

— С чего это, Матвей, тебе такое вздумалось? — Ельцов старался подлаживаться под народную речь, сам чувствовал фальшь, но все же продолжал: — И думать-то не думал!

Матвей будто и не слышал возражения:

— Зря это, барин, напрасно. В священном писании сказано: любя власть от бога. Значит, и басурманская власть тоже от бога. И еще известно, барин, что от судьбы не уйдешь. И детинушка не без судьбинушки... Хочешь, я тебя подручным в кузню возьму?

— Согласен, — сказал Ельцов, — очень тебе благодарен.

— Врешь ты все, — возразил Матвей. — Ты не бойся, никого я не продавал и тебя не продам. Бог тебе в помощь!

3

Нияз-Ходжа, вольный управитель имения, встретил своего хозяина юзбаши Иш-Назара столь раболепно, с таким вниманием к каждому его движению, что получалось, будто приезда молодого хозяина и его товарища он вовсе не заметил. Нияз-Ходжа извинился, что двор плохо подметен, и объяснил, что русские рабы второй день празднуют воскресение своего бога из мертвых и потому напились, как свиньи.

Пока на заднем дворе готовили пищу, Юсуф и Шерали умылись с дороги. Потом они прошли в комнату. Шерали, достав из ниши цветастое ситцевое одеяло, подушки, спросил у Юсуфа, в каком углу он предпочитает прилечь.

— Это все равно, — сказал Юсуф, — у тебя такая удобная комната.

Комната Шерали была действительно красивой и удобной. Небольшое окно, затянутое бычьим пузырем, пропускало мало света, но Юсуф хорошо разглядел, что на полу поверх кошмы были расстелены хорасанские ковры, в нише стояла посуда тончайшего фарфора. Че-

канные подносы, кумганы и чаши стояли в другой нише. Два масляных светильника были сделаны не из глины и не из железа, а из горного хрусталя.

— Это все отец, — сказал Шерали. — Мать умерла, когда рожала меня, и отец дал обет никогда не жениться. Он сказал, что отныне его жизнь будет принадлежать мне. Вот и старается.

Шерали расстелил одеяло для гостя, и Юсуф бережно положил в передний угол свою дорожную сумку, в которой среди прочих вещей лежала русская книга, незадолго перед тем купленная в Хиве.

Дорожная сумка Юсуфа была сши́та из старого ковра, и носил он ее через плечо на двухцветной верблюжьей веревке.

— Что это у тебя? — спросил Шерали, заметив в сумке продолговатый предмет. — Коран?

— Да нет, — затруднился ответом Юсуф, — потом расскажу. Кстати, мне бы хотелось повидать того русского... Ну, помнишь, того русского, который, по твоему мнению, был в России не простым человеком.

— Ты же слышал, — сказал Шерали, — у них праздник, и они там все валяются пьяные. Ни один праздник у них не обходится без мордобоя или даже без увечий.

— Да, — согласился Юсуф, — это ужасно! Что может быть хуже пьянства! Предание говорит, что наш пророк Мухаммед однажды шел с мудрым стариком по тенистому саду. И вот среди цветов и птиц в тени деревьев он увидел молодых людей, которые пили вино из золотых кубков. Молодые люди были веселы, они обнимались и целовались.

«Что они пьют и почему они так веселы и дружелюбны?» — спросил пророк.

«Они пьют вино, — ответил старик, — поэтому они так веселы и дружелюбны».

«Пусть мусульмане всегда пьют вино», — сказал пророк.

Вечером того же дня той же дорогой возвращались пророк и старик. И когда проходили они через тот самый сад, Мухаммед увидел ужасную картину. Молодые люди, которые недавно радовались жизни и вели себя, как родные братья, в страшных позах лежали теперь возле смятых цветов. У одного была разбита голова, у другого в груди торчал нож, третий стонал с переломанными

ногами Ни одного здорового лица, только гримасы боли, стоны и плач.

«Что это с ними?» — спросил Мухаммед своего спутника.

«А это все тот же напиток, все то же вино, и ничего больше», — ответил мудрый старик.

И сказал тогда пророк Мухаммед:

«Пусть мусульмане никогда не пьют вино!»

Шерали слушал Юсуфа с улыбкой.

— Я знаю об этом случае, — сказал он, — а сейчас вдруг подумал: хорошо ли это, если человек два раза на дню принимает совершенно противоположные решения?

Юсуф возражал, говоря, что опыт есть мерило всего и что человек вовсе не обязан держаться принятого решения, если время и жизнь заставили его в нем усомниться.

Потом они ужинали вместе с сотником, поиграли в шахматы и отправились спать, но вопрос, может ли человек изменять ранее принятое решение и какова роль опыта, долго занимал их в тот вечер. Они философствовали с удовольствием. Они говорили об Искендере, о Чингисхане, о Тимуре. Они знали много, но хотели знать больше.

4

Среди ночи Николай Федорович проснулся. Аким дергал его за ногу.

— Тебе чего? — спросил Ельцов.

Аким жестом показал: «Тише!» Николай Федорович понял: сегодня ночью побег. Он встал и, чувствуя кружение в голове, пошел вслед за Акимом.

Предутренняя земля холодила босые ступни. В дальнем краю курганчи к стене была прислонена лестница, кое-как связанная из жердей.

— Андрюха-батюшка уже там, — шепнул Аким, показав рукой за стену, — с вечера при незапертых воротах вышел. С конями нас ждет. С конями повезло нам.

Вслед за Акимом Николай Федорович с трудом поднялся на стену, а потом по веревке спустился вниз. После сильного мышечного напряжения руки и ноги у него опять ослабели, и ему стоило огромного труда поспевать

за Акимом. На их счастье, ночь была темной, в курганче стояла тишина, видимо, никто их пока не хватился.

Под той же самой чинарой, где они недавно беседовали, стояли три лошади. Возле них нетерпеливо взад и вперед ходил Андрей Иванов.

Из последних сил Николай Федорович вставил ногу в стремя, но подняться в седло не смог, навалился животом на спину лошади, с трудом перетянул вторую ногу.

— Кони-то наши не простые — аргамаки хозяйские, лучших кровей, — шепнул Аким в ухо Ельцову.

Николай Федорович понимающе кивнул.

— Подвезло, что хозяева вернулись, а то бы и на пахотных клячах скакать.

— Будет болтать, — оборвал Акима Иванов и тронулся первым.

Лошадь Ельцова сама потянулась вперед. Голова у Николая Федоровича кружилась от слабости.

Неподкованные копыта глухо стучали по насыпи канала. Версты две беглецы ехали не торопясь, а потом пустили коней во весь опор. У Андрея все было рассчитано. Первая ночевка в камышах у озера, вторая — вблизи Аральского моря.

Пока все шло по плану.

Бегство двух невольников не обнаружили бы и днем, потому что день этот был третьим днем праздника и на работу никого не гоняли. Однако поутру рыжебородый конюх, хорасанский невольник, для которого праздника не было, отправился чистить конюшню и увидел, что трех лучших лошадей в стойлах нет. Конюх вспомнил, что вечером тут крутился русский поп Андрей. Конюх решил, что это он и угнал лошадей. Нияз-Ходжа плетью по лицу отстегал старшего конюха и пошел считать русских. Получалось так, что поп Андрей сманил двух невольников и украл к тому же трех лошадей.

Шерали и Юсуф рвались принять участие в поимке беглецов. Шутка ли! И коней увели, таких отличных коней! Этого прощать нельзя. Охота на беглецов обещала быть длинной и опасной, однако старый сотник никуда не пустил молодых людей.

— Они не зайцы, вы не собаки, — сказал Иш-Назар. — Все в воле аллаха.

Молодые люди в полном походном снаряжении, с

кинжалами у пояса долго еще разгоряченно шагали по саду.

— А я думаю, — сказал Шерали, — что побег подстроил этот русский. Я говорил тебе, что он не из простых.

Юсуф промолчал. Он очень рассчитывал на этого русского, на встречу с ним в отдаленной курганче. Юсуфу казалось, что книгу из каравана купца без этого русского ему не прочитать. Стоило ли о ней сейчас и говорить.

5

Хан, который не воевал, не имеет права чеканить монету своим именем. Таков закон. Может казнить, может миловать, может поход объявить, может подати удвоить, а имени своего на монетах ставить не может. Между тем издавна известно, что память о государях сохраняется на золоте и серебре, на этих кружочках, которые люди ценят наравне с жизнью, а некоторые и больше жизни.

Хан Аллакули не ходил еще в поход и монеты должен был чеканить именем своего отца Мухаммед-Рахима. Денег требовалось много, потому что хан собирался идти войной на южные города. Впрочем, он точно не знал — с персами он будет воевать или с Бухарой? А пока на большом дворе близ ханских покоев в двух кузницах полыхал огонь. В одной чеканили медные деньги, в другой — серебро. Дело это сложное. Сначала лютуют прутки, ровняют и круглят их на наковальне, потом рубят на равные кусочки, а кусочки эти плющат. Эти заготовки вновь накаляют в горне, затем по-одному берут каждый кружочек, кладут в чекан, а другим чеканом прикрывают сверху. Удар молота — и монета готова.

Невдалеке от двух этих кузниц несколько мастеров сверлили медную пушечку. Ствол был поднят вертикально, казенной частью кверху, снизу в дуло входило сверло, которое крутила лошадь. Лошадь ходила по кругу, запряженная в бревно, а погонял ее худосочный, но шустрый невольник. Погонять лошадь дело не хитрое, да и не трудное. Иногда погонщик отходил в сторону, чтоб поглазеть на работу монетчиков, а чаще принюхивался к запахам, доносившимся с ханской кухни.

Это был Василий Европкин, недавний камердинер Николая Федоровича Ельцова, а ныне раб хивинского хана Аллакули и фаворит ханской поварихи Анны Васильевны Костиной.

Васькина судьба складывалась удачно, во всяком случае удачнее, чем судьба хозяина. В Хиву он попал быстро, и в первый же день на невольничьем рынке его купил кушбеги, который через толмача выяснил у Васьки, что тот артиллерист и к тому же пушечных дел мастер.

Если бы толмач спрашивал на невольничьем рынке пекарей, Васька б назвался пекарем, кондитером и мукомолом. Требовались бы ткачи — сказался бы ткачом и портным. Очень уж ему хотелось попасть к хозяину, к любому хозяину, который кормил бы хоть раз в сутки.

Хивинские старожилы из русских вспоминали то золотое время, когда хан отпускал пленникам будто бы по три пуда пшеницы в месяц. Тут тебе на еду, на топку, на одежду — на что хошь. Правда, пшеница эта пополам с землей. А потом приехал какой-то святой из Бухары, и паек этот сократили вдвое. Объяснил святой — нельзя, чтоб неверные так хорошо жили. Потом была война, и стали выдавать не зерном, а лепешку с приварком.

Васька только два дня жил у хана впроголодь, а на третий, в смутной надежде перехватить лишний черпак варева, отправился на главную кухню. Обед был готов, и возле котла стояли сановники, писцы и стражники ханские. Еще раньше Васька заметил, что миски у всех были разного размера. У важных сановников побольше, у старших писцов поменьше. Еще меньше у простых писарей и так далее. Повариха, курносая баба с веселыми кошачьими глазами, махала черпаком и на чем свет стоит костерила тех, кто осаждал ее с мисками в руках. Ругалась она сразу на двух языках. Что она говорила по-узбекски, Васька понять не мог, а по-русски повариха лаялась отменно.

Улыбнулась Ваське в тот день фортуна: разрешила повариха выскрести котел. И хоть чисто выгребли из котла прихлебатели, а все же на стенках кое-что осталось. Васька щепкой собирал со стенок остатки гороховой каши, вряд ли наелся, но голод немножко утолил. Устал он, конечно, головой вниз торчать и сел возле очага.

Повариха посмотрела на Васькину работу и в награ-

ду, а может, от жалости дала еще здоровенную редьку.

— Иди с глаз долой, — сказала Анна Васильевна, — и не держи в уме, что второй раз дам котел скрести! Иди, иди!

Васька отошел недалеко, сел спиной к людям и принялся за редьку. Она была не горькая, прошлогодняя, вялая. Васька ел медленно и плакал.

С тех пор как он себя помнил, Василий Европкин плакал только спяну. Трезвый он иногда утирал кулаком слезу обиды, но слезы-то настоящей не было, одно притворство. Теперь Васька плакал по-настоящему, навзрыд, плечи его дергались, и чахлые усы обвисли. Он проклинал нескладную судьбину свою и холуйскую должность, которой прежде всегда кичился перед дворовыми и особенно перед деревенскими. Он жалел, что с мальства не отдали его в пастухи, что не ходил он по родным тульским полям с кнутом и свиредькой. Вот она настоящая жизнь: свирстит свирелька, хлопает кнут, коровы пестрые, над ними голубое небо, бабочки летают. Здесь такого нет. Здесь солнце одно и мухи. Тут сырости не дождешься.

Еще подумал Европкин, что не мучился бы он в Хиве, если бы барин разрешил ему в позапрошлом году жениться. Невесту Васька приглядел красивую, видную, на голову выше себя; он и с родителями все сладил, а барин захотел сам с девушкой говорить. «Любишь ли ты, Клавдия, Василия моего и хочешь ли за него идти? Хочу, чтобы честно сказала, от души, потому что я враг неволи в таких делах».

Клавдия барину в ножки кинулась, сказала, что за Ваську ее родители неволят, а любит другого...

Эх, глупость бабья, одна глупость! Разве любовь главное? Дура она и есть. Не вышла она за любимого, сдали его в солдаты, а саму управляющий продал за триста рублей серебром лесозаводчику. Не их она была, а кузины Веры. Сама кузина Вера с придурью, старая дева, монашка домашняя, а управляющий у ней — огонь. За триста рублей серебром. Если бы Васька знал, выкупил бы Клавдию; он возле Николая Федоровича больше четырех сотен накопил. Васька плакал, вспоминая свое детство, пруд, мельницу, ивы над темной водой, он знал, что никогда не увидит этого и ни одна женщина не будет с ним ласковее, чем ханская повариха.

Между тем Анна Васильевна быстрым взглядом уже отметила новенького, пожалела его, только не выдала себя сразу, потому что знала мужскую привычку из-за этой жалости на загривок садиться. Сурово обошлась Анна Васильевна с Европкиным, но с того дня стал он чувствовать над собой чью-то добрую руку. Понемногу он отъелся, и в работу его наяржали не больно тяжелую.

6

Это место считалось проклятым. С моря сюда не заходили рыбаки, пастухи стороной обходили край земли, поросший кустарниками и камышом. Белые лишай выступавшей из-под земли соли отмечали границу гиблого пространства, где водились кабаны и тигры, где, по преданию, все змеи черных песков собирались раз в год на поклон к змеиному царю.

Именно это место выбрал для отдыха хитрый и бесстрашный поп Андрей. Он знал — никто из преследователей не подумает, что люди, даже беглые рабы, могут прятаться здесь, а если и подумают об этом, то не решатся преступить границу шайтан-тугая — дьявольских зарослей.

Солнце полыхало над пустыней Каракум и над Аральским морем. В пустыне было жарко и сухо, над морем дул ветер, а в камышах, как в бане, стоял густой пар, и трудно было дышать. Очень хотелось пить. Соль моря, соленая тряпина под ногами и соленая земля далеко вокруг. Даже в воздухе растворена соль.

— Мы не сдохнем! — сказал поп Андрей. — Коням надо воды добыть. Стерегги коней, барин, мы с Акимом к ночи вернемся.

Камыши сомкнулись за ними. Николай Федорович остался один.

Можно было считать, что основную часть пути, самую опасную, беглецы преодолели. Если сегодня ночью, напив коней, они благополучно выйдут на северный путь торговых караванов, то вскоре окажутся среди казахов и там от стойбища к стойбищу доберутся до желанной Астрахани. Главное позади. Что бы там ни было, но половина пути пройдена. Теперь, как говорится, с горки.

Усталые кони стояли в камышах и будто спали. Бо-

лётные мухи облепили их, но кони стояли совершенно неподвижно, и от этого смотреть на них было страшно.

Ни змеи, ни кабаны, ни тигры пока не давали о себе знать, и следов их не замечал Николай Федорович, однако он понимал, что тигры выходят на охоту ночью.

Приближался вечер, а Андрей с Акимом не возвращались. Николай Федорович беспокоился. Он не знал, что вот уже несколько часов его товарищи по несчастью плыли на рыбачьей лодке, которую захватили у несчастного рыбака-каракалпака. Хозяина они придушили и теперь с бурдюками, наполненными пресной водой, шли вдоль берега и никак не могли найти то место, где оставили лошадей и Ельцова.

Когда стало совсем темно, Николай Федорович пошел искать их и верстах в трех вдруг услышал хлюпанье по воде и громкий разговор. Андрей и Аким ссорились.

— Много власти забрал,— жалобно бубнил Аким. Тупиков.— Никто тебе права не давал дураком меня звать.

Николай Федорович сразу узнал его голос.

— Я тебе не невольник и не слуга, я мешанин,— продолжал Аким,— не каторжник вроде тебя. Вот вернемся домой, я тебя, может, в работники найму!

Николай Федорович улыбнулся про себя этому спору.

— Молчи, дурак!— сказал Андрей.

— Чего мне молчать?— не унимался Аким.— Ты мной понукаешь, меня дурачишь, рот затыкаешь, а сам дурей меня! Зачем ты этого барина, обузу эту, третьим взял? Так бы у нас подменная лошадь была, а голод настал бы — мы бы эту лошадь съесть могли.

— Заткни хайло!— рассердился Иванов.— Всего не объяснишь.

— А ты объясни!

Спорящие остановились шагах в двадцати от Николая Федоровича.

— Дурак ты и есть дурак!— сказал поп Андрей.— Нужен он мне, этот барин. Я его властям сдам, потому как мне еще прощение заслужить надо. Не понял, что ли, какой это преступник? Хотя и отказывается, а уж точно из царевубийцев. Все говорит про Астрахань, как бы в руки царские не попасть. За такого душегубца, как этот, нам с тобой рублей по сто отвалить могут.

Николай Федорович слушал вполне ясную и недвусмысленную речь Андрея и не верил тому, что слышал.

— Что ж ты сразу-то мне не сказал?— обрадовался Аким.— Ты б сразу и объяснил, а то ведь я всю голову сломал, зачем мы с ним возимся. Может, и верно ты надумал.

— Пошли,— сказал Андрей.— Тут вроде недалеко.

У Николая Федоровича сильно закружилась голова. Он постоял несколько минут и пошел вслед. Хорошо, что он слышал этот разговор. Нужно все предвидеть. Теперь вывод один: пока держаться вместе, а вблизи русской границы надо от этих двоих бежать. Не пропустить момент.

Полбеда, если он сам пришел с повинной, а если его выдадут как преступника? И как же теперь быть им втроем рядом? Пищу делить и воду?

Николай Федорович пошел напрямую, а Аким с Андреем проскочили мимо и долго бы еще плутали в камышах, если бы Ельцов сам не окликнул их, будто все время сидел и ждал на одном месте.

Среди ночи трое беглецов гуськом выехали из тугаев и направили коней на северо-запад. Ехали молча, каждый думал о своем. Когда за спиной появилось солнце, сделали первую остановку.

Неудобное время выбрали они для похода через пустыню. Два-три перехода осталось до Каспия, но беглецы шли пешком. Лошади, вернее, скелеты лошадей остались позади. Страшно было смотреть, как дерутся за падаль стервятники и шакалы, и странно было, что победили птицы. Позади это, позади, куда не будет возврата...

Вопреки ожиданиям Николай Федорович не стал обузой для Андрея и Акима. Тайный запас сил и злости толкал его вперед. Дойти бы до людей, а там он сумеет отвязаться от этих несчастных, задумавших предательство, когда следовало бы думать о спасении.

— Побей меня бог,— однажды утром сказал Андрей Иванов,— побей меня бог, если завтра к этому времени мы не увидим моря.

Он был прав: до моря оставалось два перехода, но не прошло и часа после этих его слов, как шайка разбойников из рода Теке захватила в плен трех полумертвых

от усталости и жары беглецов. Те почти не сопротивлялись.

Разбойники повезли их обратно в Хиву, ибо где еще можно продать рабов по хорошей цене?

7

По пятьсот плетей определил судья каждому из беглецов. Пятьсот — до смерти. Так вообще не принято, но незадолго до поимки трех беглецов кушбегги говорил на совещании сановников, что участвовали побегу, что мягкость проявляют судьи и что хозяева беглых откупают их у властей, чтобы не потерпеть убыток на смерти раба. Вот по этим причинам в назидание другим и было решено этих трех рабов забить до смерти. Это тем более легко было выполнить, что хозяина двух из них — сотника Иш-Назара — в Хиве не было, а третий беглец принадлежал самому хану. Хан такие убытки легко себе возместит.

Приговор объявили на базарной площади, и тут же два палача должны были привести его в исполнение. Николай Федорович понял, что это конец.

Он оглядел базар, минареты и купрла мечетей вокруг. Музыка в ушах зазвучали крики торговцев, рев пшавков, и сладкой показалась эта жуткая жизнь в чужом и постылом краю.

Аким плакал, как ребенок. Плакал и крестился.

Палач почему-то решил начинать с него. Аким шагнул к попу Андрею, обнял его, перекрестился и сказал: — Прощай, брат! Прощай!

Потом точно так же обнял Николая Федоровича и с тем же искренним чувством сказал те же слова.

Николай Федорович видел глаза Акима и хотел пайти в них раскаяние за умысел предательства, но Аким не помнил этого, и Николай Федорович вдруг устыдился своих мыслей — не время вспоминать и выяснять, он еще раз обнял Акима и поцеловал.

В этом порыве всепрощения Николай Федорович шагнул было к Андрею, но тот вдруг отвернулся, упал на колени и по-узбекски стал умолять о спасении.

По площади, направляясь во дворец, шел настоятель соборной мечети. К нему взывал Андрей. Тот не повер-

нул головы на короткой шее, вроде бы и не слышал ничего, но чуть-чуть изменил маршрут, подошел ближе и приказал палачу:

— Этого бейте последним. Я поговорю о нем с ханом.

Мулла степенно двинулся дальше, а Андрей смотрел ему вслед и не обернулся даже тогда, когда раздались первые удары плети, и палач начал громко отмерять долгое смертное наказание.

— Р-раз! Два! Три! Четыре! Пять! Шесть!

Аким сначала крепился, потом стал ругаться, костить на чем свет стоит палача, его родителей и веру его, потом кричал что-то о родном городе Астрахани, о Волге-реке, потом стал повизгивать.

...Хан слушал настоятеля соборной мечети имама раджаба внимательно. Тот говорил о неприятных вещах: о недовольстве торговцев, крестьян и даже части чиновников, о том, что люди ждут улучшений или надежды на улучшения, что нужно бы в мечетях больше говорить о предстоящих походах и пророчествовать близкие победы. Конечно, много забот и денег отнимает подготовка к войне, но нужно думать и о боевом духе, нужно заботиться о вере. Вера — главное, что помогает управлять людьми. Конечно, самая верная вера — мусульманская, но разве вообще существует государство без веры? У китайцев — одна, у индусов другая, у русских — третья... Кстати, о русских. Тут на площади сейчас будут казнить русского муллу. Это зря. Настоятель знает русского, этот русский всегда доносит, о чем думают невольники, и вообще хорошо, когда у русских есть свой мулла. Меньше опасности, что они сделают какую-нибудь глупость.

Хан слушал и кивал. Укрепление веры действительно необходимо, а сейчас, пока он молод и не так еще силен, сейчас ему необходим такой союзник, как религия.

Кушбеги тоже соглашался со всем, что говорил мулла, кивал. Его личным планам настоятель никак не мешал.

— Надо отменить казнь этому русскому мулле? — спросил кушбеги. — Я правильно понял вас, святой отец?

— Да. Или отменить, или облегчить, — ответил тот.

— Может быть, отрезать нос или ухо? — спросил с готовностью кушбеги,

— Какой мулла может быть без носа?— вмешался хан.— Какое уважение будет к мулле, если у муллы нет носа!

На четвертой сотне Аким потерял сознание, лежал ничком, а после пятисотого, последнего удара перевернулся на рваную спину, закричал страшно и умер.

Перед тем как бить Николая Федоровича, палачи передохнули, помахали руками, напились воды, посидели в тени и только тогда начали свое дело медленно, не торопясь, понимая, что этот приговоренный не последний, работа предстоит большая и не скоро еще можно будет пойти домой. Жара в Хиве была невыносимая, редкая для начала лета.

Никто из невольников не мог в тот день отлучиться с литейного двора, потому что там кончали сверлить пушку. Поэтому Васька опоздал к месту казни. Хотя знакомых среди приговоренных не было, а все ж интересно.

Прогиснувшись сквозь густую толпу любопытных, Васька вдруг увидел своего хозяина. Он сразу узнал его глаза, лоб, широкие плечи. Васька узнал Николая Федоровича, но тот не увидел его в густой толпе.

Палач начал свое дело, Николай Федорович сжался, понимая, что не вынесет этого. В страхе перед смертью он зажмурился изо всех сил, как в детстве. Ничего, кроме ожидания боли, не было в нем сейчас.

— Николай Федорович! Николай Федорович!

Васька кричал, но Ельцов не слышал его. Оглушенный, он стоял на коленях, уткнувшись головой в мягкую пыль.

Палач считал удары:

— Восемнадцать... Деятнадцать...

Плеть свистела, опускаясь на худую спину, мгновенно рвала кожу. Васька знал все заповеди верного слуги, но он не кинулся, чтобы грудью заслонить своего господина. Не подставил свою спину под удары тяжелой плети. Васька кинулся к самому сильному, по его мнению, человеку — к Анне Васильевне.

Николай Федорович не понял, что произошло. Он насчитал пятьдесят шесть ударов, и истязание вдруг прекратилось. Боясь поверить в это, он замер и прислушался. Потом повернул голову и посмотрел. Над ним

разговаривали трое: два палача и какой-то молодой придворный чиновник.

Чиновник говорил, что послан лично самим кушбеги, чтобы освободить преступника и доставить его во дворец.

Один из палачей стал развязывать Ельцову руки, но посланец кушбеги мотнул головой и указал на попа Андрея.

Тот стоял напряженно и хмуро, а когда ему развязали руки, вдруг усмехнулся, расправил плечи и подмигнул Ельцову: мол, так-то, барин!

— Пятьдесят семь, пятьдесят восемь, пятьдесят девять...

Палач не сбился со счета. Он продолжал бить Ельцова с той же силой и точно отмерял наказание.

— Анна Васильевна, заступница! — повалился Васька в ноги. — На площади барина моего плетьюми бьют, кожу спущают, помоги, заступница!

Анна Васильевна готовила заправку для большого котла. Шумовкой шевелила красное пережаренное мясо с луком и морковью.

— Сколько ему назначили? — спросила Анна Васильевна. Дым попал ей в глаза, и по мясистому лицу текли слезы.

— Пятьсот! — с ужасом выкрикнул Васька.

— Может, выдюжит? — утирая слезы, спросила Анна Васильевна.

— Где там! Где ему выдержать! Ослабший с побега, да и барин ведь.

— О ты господи, — вздохнула повариха, — покоя нет от вас! Я пойду на площадь, а ты сбегай к Федьке на всякий случай. Скажи, я просила.

Васька кинулся к ханскому телохранителю и любимцу Федору Грушину, а Анна Васильевна, утирая лицо рукавом халата, вышла на площадь. Палач был ей знаком, это был даже не палач еще, а всего лишь стражник, и притом младший. Он считал третью сотню ударов, пот лил с него, и кандидат в палачи рад был передохнуть, когда кто-то ткнул его в плечо. Оглянувшись и увидев Анну Васильевну, он оторопел. Анна Васильевна сказала ему что-то по-узбекски, он не понял, переспросил, а потом ухмыльнулся и опять стал стегать Ельцова. Только бил он куда слабее и считал так:

— Двести девяносто шесть, четыреста девяносто семь,

чегыреста девяносто восемь, четыреста девяносто девять, пятьсот!

На две сотни ударов облегла Анна Васильевна истязание Ельцова. Но и того, что он получил, было слишком много. Николай Федорович лежал без сознания

Васька привел Федора Грушина, они подняли обмякшее, окровавленное и почти безжизненное тело и понесли с площади.

ИНТЕРМЕДИЯ

Июль 1826 года был особенно тяжек для наказанного плетьюми, но оставшегося в живых столбового русского дворянина, капитана и кавалера, ныне хивинского невольника Николая Федоровича Ельцова. Он почти не вставал и лежать мог только на животе. Федька Грушин однажды заглянул к нему и принес чашку чистой сверкающей мази, похожей на деготь. Грушин сказал, что мазь называется мумиё, помогает она от всех болезней, особливо же от разрыва мяса и перелома костей.

Ежедневно забегал Васька Европкин. Почтительность в нем стала легко совмещаться с покровительственностью; он едва ли не хлопал своего исконного барина по плечу. Васька приносил еду от Анны Васильевны. Ни прежние хозяева, ни ханские слуги, ни стражники не интересовались Ельцовым: проку от него теперь ждать было долго. Второй раз подряд Николай Федорович оказывался на грани между жизнью и смертью, второй раз подряд имел время для размышлений, одинаково горестных и бесполезных. Мечты о смелом вояже по восточным державам, о высокой государственной миссии теперь не посещали Николая Федоровича, он вообще все меньше думал о себе самом: надежды покинули его.

Интересно было бы знать, что там, на родине? Интересно, как роман иностранца лихого, Вальтера Скотта какого-нибудь. Совершенно бескорыстный, детский интерес. Впрочем, кому не заманчиво знать, что происходит в этот час, в этот день, в этот месяц с твоими родными, близкими, с твоими друзьями и врагами.

До Хивы иногда докатывались сведения о ценах на скот и кожи в Астрахани и Оренбурге, но ничего больше люди, приходившие оттуда, не хотели знать или просто не запоминали. Казалось, даже птицы не летают между Хивой и Россией.

А жизнь на родине Николая Федоровича шла своим чередом. Наливались яблоки в саду тульского имения, староста спустил воду в пруду, чтобы починить плотину и мельницу подготовить к осенней работе. Следственной комиссия по делу 14 декабря подвела итоги своих бесконечных бдений, и крамольное письмо капитана Ельцова к некоторым главарям декабрьского бунта, письмо, за которое так боялся Николай Федорович в день ареста, вроде бы никак не фигурировало в делах.

Утром 13 июля, гремя цепями, кинулся обнимать друзей на плацу Петропавловской крепости Вильгельм Кюхельбекер. Играл духовой оркестр, а мимо вели пятерых на виселицу.

Генерал-адъютант Павел Голенищев-Кутузов в тот день доносил императору:

«Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно — Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть. О чем Вашему Императорскому Величеству всеподданнейше доношу».

16 июля 1826 года началась война между Персией и Россией. Как это ни странно, но в первые дни военные действия складывались для России крайне неблагоприятно. Считалось, что ответственность за начало этой войны несет генерал Ермолов и что он же отвечает за неудачи.

Николай I не без резона отметил: «Там, где предвиделись военные действия; должно бы было к ним приготовиться».

Все шло своим чередом.

Секретный агент А. К. Бошняк 19—24 июля 1826 года доносил своему шефу генералу Витту:

«...От уездного заседателя Чихачева я услышал, что он, Чихачев, с Пушкиным сам лично знаком, что Пушкин ведет себя весьма скромно и говаривал не раз:

«Я пишу всякие пустяки, что в голову придет, а в деле ни в какое не мешаюсь...» Пробыв целый день в селе Жадрицах у отс. генерал-майора П. С. Пушина, в общих разговорах узнал я, что иногда видала Пушкина в русской рубашке и в широкополой соломенной шляпе, что Пушкин дружески обходился с крестьянами и брал за руку знакомых, здороваясь с ними; что иногда ездил верхом и, достигнув цели путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу...»

Кузина Вера — самая близкая родственница Николая Федоровича, одинокая и стареющая, твердо верила, что братец Николая жив и скоро объявится. Она видела вещий сон, будто в Летнем саду часу в одиннадцатом, когда детей много гуляет с гувернерами и няньками, вдруг въехал на аллею генерал на сером в яблоках коне. На генерале треуголка, орденов много, шпага золотая и большие седые усы. Смотрит бедная кузина, а этот генерал—ее двоюродный брат Николай Федорович. И еще она видела сон, где братец, столь же пышноусый, курил пенковую трубку и жаловался на боль в зубах. «Курю, курю, а не легчает», — говорил он. Кузина Вера знала, что лошади снятся ко лжи, если зуб выпадает—к потере близких, однако точно решить, о чем вещают ей сны, она не могла. На всякий случай она заказала молебен о здравии раба божия Николая, а потом съездила к гадалке на Галерную улицу. Гадалка взяла десять рублей ассигнациями и ничего путного не сказала.

Жизнь на родине шла своим чередом...

Вдова ротмистра Мельникова занималась хлопотным и сложным делом: выправляла пенсион за погибшего мужа. В присутственных местах встречали ее неласково.

Среди бумаг, необходимых для назначения пенсионера вдове, была одна, мешавшая всему делу. Это были показания конвойных жандармов и хозяина постоянного двора о картежной игре, которую ротмистр Мельников затеял или на которую согласился с им же самим незаконно арестованным капитаном Ельцовым. В официальных писарских документах Мельников значился как «убиенный ударом в левый висок при игре в штос». Никто из бывших начальников ротмистра не хотел брать на себя решение о вспомоществовании вдове, ибо слыш-

ком много темных мест дело это в себе содержало. Исчезнувший капитан Ельцов по материалам следственной комиссии в связи с бунтовщиками изобличен не был. Это вовсе ухудшало дело с назначением пенсiona.

Родственники госпожи Мельниковой обещали устроить ей аудиенцию у государя Николая Павловича во время коронационных торжеств в первопрестольной Москве. В Москву государь должен был пожаловать осенью, а пока стоял жаркий июль.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УЧИТЕЛЬ

Глава первая

ЛЕГКАЯ РАБОТА

Стыд — хуже смерти.

Узбекская пословица

I

Анна Васильевна дала грязную холщовую рубаху и латаные порты на завязках.

— Сам, барин, постираешь, — сказала Анна Васильевна. — Очень рыбой воняют, а так крепкие еще. Хозяин рыбак был, да утонул, купаючись.

Николай Федорович придавал теперь больше значение своему внешнему виду, казалось, от этого зависит многое. На другое же утро, пораньше, он вышел из города на канал и, хотя никого вокруг не было, долго не решался раздеваться на столь гладком и открытом пространстве. Дело шло к ноябрю, от холодной воды ломило в щиколотках и в кистях рук, но Николай Федорович не обращал на это внимания. Он несколько раз с песком простирал свою новую одежду, тщательно выполоскал ее, отжал и мокрую надел на себя. Он не заболел тогда, и озноб, что бил его, происходил не от простуды. Не откладывая ничего, он с азартом принялся за устройство отведенной ему каморки.

К ночи Николай Федорович внезапно ощутил сильное головокружение и слабость в ногах. Он понимал, что слабость от потери крови, от болезни, от голодовок. Он был прав лишь отчасти. Это была усталость после страшного нервного напряжения: вся его жизнь поставлена на карту и все зависит от того, сумеет ли раб понравиться желчному, сухопарому старику Хубб-Ходже.

На позерку выходило, что вся предыдущая жизнь Ельцова, жизнь русского аристократа, единственного

внука богатого екатерининского вельможи, ни разу не требовала от него предельного и сколько-нибудь длительного напряжения сил. В былые времена все шло само собой, незаметно и ладно, словно перемена блюд за обедом в Английском клубе.

Продолжая проявлять небывалую хозяйственность и расторопность, Николай Федорович раздобыл саксаула, сложил примитивный очаг и, поскольку в каморке не было окна, стол приладил возле двери. Он приготовился, что будет много работы, придется читать и разбирать разные бумаги на разных языках (Николай Федорович боялся голландского и португальского). Он ожидал, что придется выработать порядок хранения документов, самому готовить проекты ханских писем государям дальних держав.

Ему положили кошт — пуд муки в месяц и приварок на правах младшего помощника младшего писаря.

Начальника своего Николай Федорович видел редко, тот строго обещал, что скоро даст работу, много работы, однако время шло, а он ни сам ни разу не заглянул, ни Ельцова к себе не вызвал.

Целыми днями сидя без дела у приоткрытой двери или толкаясь в очереди возле котла Анны Васильевны, Николай Федорович пытался понять основы устройства государственной власти в Хиве. Дело это было трудное, прежде всего потому, что вокруг ханского двора толпилось несметное число всевозможных прихлебателей со званиями и без. Считалось, что власть делят между собой михтар и кушбеги. Михтар вроде бы главнее, но все знали, что при нынешнем хане пока главнее кушбеги. Все прочие ханские чиновники или большинство из них ничего не решали, ничего не могли и ничего не хотели брать на себя. Их вполне удовлетворяла роль посредников между теми, кто стоял ниже, и теми, кто был выше. Посредничество приносило барыши, и только, в немногих случаях — мелкие неприятности. Несмотря на никчемность, жизнь хивинских придворных и самого хана Аллакули протекала в постоянных тревогах и заботах, причиной которых были бесконечные доносы, сплетни, интриги. Внешне каждый придворный хотел выглядеть солидным и вдумчивым государственным мужем, по существу же всех их объединяла удивительная мелкость желаний и забот.

Прошло то время, когда обманом и кровью, разбоем и тиранством укреплял свою власть отец царствующего ныне монарха. Прошло время, когда в Хиве лелеяли величественные планы нового могущества, и ушли люди, в это могущество верившие. А может быть, этих людей не было и прежде, может быть, они только делали вид, что верят в Хорезм от Китая до Волги.

При дворе Аллакули почти не было разговоров о великом государстве, о новой счастливой поре, когда Хорезм нынешний вернет себе славу древнего Хорезма, его территории и торговые связи. Наоборот, считалось, что Хива при новом молодом хане уже снискала былую славу, что она уже сейчас одна из сильнейших стран мира и только Бухара и Персия пытаются до поры до времени соперничать с теперешней могучей Хивой. Не о земельных приращениях, не о промышленном развитии, не о расширении торговли думали государственные умы в Хиве, а только о спокойствии, о сохранении того, что имел каждый из них. И еще о том, чтобы все всегда было так, как прежде. Не лучше и не хуже!

О! Если бы можно было остановить время, прекратить движение жизни!

Ко всему, что происходило за пределами Хивы, правители относились с неприязнью, недоверием, как к злой выдумке или предутреннему путаному сну. Они не знали того, что происходит в мире, и не хотели этого знать. У тиранов издавна существовал обычай казнить гонцов, приносящих дурные вести. В Хиву такие гонцы не спешили, они объезжали ее стороной.

Ученые-историки, объясняя особенности развития некоторых стран, придают слишком большое значение географической изолированности. На самом деле география часто играет лишь второстепенную роль. Психология важнее. Особенно психология государственных мужей. Очень часто преступность и глупость основываются на двух спасительных идеях; во-первых — авось пронесет, во-вторых — на мой век хватит. Между тем шли последние пятьдесят лет самостоятельного существования Хивинского феодального государства.

«Не удивительно, что здесь не знают крылатого выкрика Людовика XV: «После нас хоть потоп!» — ду-

мал Николай Федорович. — Удивительно, что жили здесь так, будто слова Людовика были начертаны на гербе Кунгратской династии хивинских ханов». Однако девиза этого на гербе не было, ибо не было и самого герба.

Двадцать медных пушек, сотни две пищалей и собираемое к случаю войско лучников могло противопоставить развивающемуся капиталистическому миру это уже умирающее государственное образование, рудимент феодализма за юго-восточной окраиной Российской империи.

Россия, победившая Наполеона, Россия, вошедшая в Европу и триумфально прошагавшая по Парижу, еще не могла как следует приглядеться к этому своему соседу. Были дела более важные, более заманчивые, более значительные и, главное, куда более легкие.

Между тем Хива была враждебным государством, и томилось там ко времени описываемых в этой книге событий более трех тысяч русских людей. Это только тех, кто помнил еще родной язык, кто родился в России. Но в Хиве были и потомки яицких разбойных казаков, потомки пленных из отряда князя Бековича-Черкасского, в начале восемнадцатого столетия посланного в сопредельную с Россией Хиву для установления дружеских отношений и отыскания золотиносных сыпучих песков. (С князя Бековича в 1717 году содрали с живого кожу, обтянули ею бубен и барабан. Николаю Федоровичу этот барабан показывали. Кожа на нем висела ключьями, изнасилась во время торжеств. Бубен кто-то украл.)

Оставались в Хиве русские и со времен Екатерины II, жив был, например, один юнга из эскадры адмирала графа Войновича. Служил он на ханской крупорушке. Однако на судьбы своих пленных и беглых сынов мало внимания обращала матушка Россия. Писались письма с угрозами, но что можно сделать с государством, даже самым ничтожным, если оно не хочет вступать ни в какие отношения и если окружено оно пустыней, где зимой холод и нет воды, а летом нет воды и жара.

Время шло, а работы Николаю Федоровичу никакой не поручали. Наконец из ханской канцелярии явился посыльный с пыльным мешком за плечами. Не го-

вора лишних слов, он вытряхнул мешок в углу каморки и так же молча ушел. Это были все или почти все государственные бумаги, писанные на иностранных для Хивы языках.

В тот день Ельцов не притронулся к ним, смотрел издали и вздыхал. Назавтра он тоже не спешил; вынул наугад несколько разрозненных листов и вдруг на одном из них обнаружил подпись Петра I. Николай Федорович не мог ошибиться, ибо видел эту подпись в кабинете своего деда под грамотой. Дрожащие вертикальные палочки: ПЕТР.

Сама бумага была писана четким писарским почерком, жаль, что сохранилась она плохо. Разные ее куски осыпались, съеденные сыростью, тленнем или мышами.

УКАЗ КАПИТАНУ ОТ ГВАРДИИ КНЯЗЮ ЧЕРКАССКОМУ

1. Надлежит над гаваном, где бывало устье Аму-Дарьи реки, построить крепость человек на тысячу, о чем просил и посол хивинский.

2. Ехать к хану хивинскому послем, а путь иметь подле той реки, и осмотреть прилежно течение оной реки, также и плотины, ежели возможно оную воду пока обратить в старый ток, к тому же протчия устья запереть, которые идут в Оральское море, и сколько к той работе потребно людей.

3. Осмотреть место близ плотины, или где удобно, на настоящей Аму-Дарьи...

4. Хана хивинского склонять к верности и подданству, обещая наследственное владение оному, для чего представлять ему гвардию к его службе и чтоб он за то радел в наших интересах.

5. Буде он то охотно примет, а станет желать той гвардии и без нее ничего не станет делать, опасаясь своих людей, то оному ее дать сколько пристойно, но чтоб были на его плате; а буде станет говорить, что перво нечем держать, то на год и на своем жалованьи оставить...

...отпустить купчину по Аму-Дарье реке в Индию, наказав, чтобы изъехал ее, пока суды могут идти, а оттоль бы счал в Индию, примечая реки и озера и описывая водяной и сухой путь, а особливо...

...у хивинского хана, проведать и о бухарском, не можно ль его хотя не в подданство (ежели того нельзя сделать), но в дружбу

привести таким же манером, ибо там также ханы бедствуют от подданных...

Порутчику Кожину приказать, чтоб он там разведал о пряных зельях и о других товарах, и как для сего дела, так и для отпуску товаров придать ему, Кожину, двух человек добрых людей из купечества и чтоб оные были не стары.

По сим пунктам господам Сенату случая ревностно сие дело, как панскооря, отправить, понеше зело нужно.

Барабан с ключьями тонкой кожи маячил перед глазами Ельцова, когда он читал обстоятельный указ Петра. Может, наврали про барабан? Вряд ли. Очень уж сокрушались о бубне. Хороший был бубен, с серебряными кольцами.

Следующий русский документ свидетельствовал о миссии другого посла, более удачной для самого посла, но безрезультатной для Хивы и России. Между этими двумя русскими бумагами пролегло сто лет. В 1819 году по заданию знаменитого Алексея Петровича Ермолова в Хиве побывал Николай Николаевич Муравьев. На правах «проконсула Кавказа», как он сам себя называл, Ермолов пожелал вступить в государственные отношения с ханом Мухаммедом-Рахимом, написал ему письмо и послал капитана Муравьева в сопровождении переводчика и проводника армянина Петровича. Грозный завоеватель Кавказа проявился тут как весьма активный политик, дипломат восточной школы, а в самом письме и как незаурядный стилист.

Письмо
Алексея Петровича Ермолова
к хивинскому Магмед Рагим-хану

Высокославленный, могущественный и пресчастливейший Российской империи Главнокомандующий в Астрахани, в Грузии и над всеми народами, обитающими от берегов Черного моря до пределов Каспийского, дружелюбно приветствуя Высокостепенного обладателя Хивинской земли, желаю многолетнего здравия и всех радостей.

Честь имею притом объявить, что торговля, привлекающая хивинцев в Астрахань, давно уже познакоми-

ла меня с подвластным вам народом, известным храбростью своею, великодушием и добронравием; восхищенный же сверх того славою, повсюду распространяющуюся о высоких достоинствах ваших, мудрости и отличающих особу вашу добродетелях, я с удовольствием пожелал войти в ближайшее с Вашим Высокостепенством знакомство и восстановить дружелюбные отношения. Почему через сие письмо, в благополучное время к вам писанное, открывая между нами двери дружбы и доброго согласия, весьма приятно мне надеяться, что через оныя при взаимном соответствии Вашем и моим искренним расположением, проложится счастливый путь для ваших подвластных к ближайшему достижению преимущественных выгод по торговле с Россией и по вящему утверждению взаимной приязни, основанной на доброй вере. Податель сего письма, имеющий от меня словесные к вам поручения, будет иметь честь лично удостоверить Ваше Высокостепенство в желании моем из цветов сада дружбы сплести приятный узел соединения на шею неразрывною приязнею.

Он же обязан будет, по возвращении своем, донести мне о приеме, коим от Вас удостоин будет, и взаимных расположениях Вашего Высокостепенства, дабы я и на будущий год мог иметь удовольствие отправить к вам своего посланного с дружественным приветствием и с засвидетельствованием моего особливейшего почтения. Впрочем, прося бога, да украсит дни жизни вашей блистательною славою и неизменным благополучием, честь имею пребывать истинно вам усердный и доброжелательный

генерал от инфантерии
Ермолов

2

Письмо Ермолова Николай Федорович нашел в той же кипе пожелтевших бумаг.

Разбор этой кипы — первая работа, которую поручили ему за несколько месяцев службы. За эти месяцы Ельцов утратил свое первоначальное рвение и не торопился. Он называл свою должность — архивариус. Архивариусы не должны спешить. Они трудятся для вечности. Тихая, скромная и совершенно необходимая должность, которой, однако, прежде в Хиве не сущест-

вовало. Ее учредили специально для Ельцова, а не для пользы дела. Отношение к истории, к прошлому проявлялось здесь особенно четко в отношении к документам. Ельцов знал, например, что где-то рядом живет почтенный историк и ученый мираб Шир-Мухаммад по прозвищу Мунис. Ельцов думал, что документы которые он разберет и переведет, пригодятся для истории. Однако Мунис не заглядывал к архивариусу. Высокий и грузный, с крупным, красивым, хотя и тронутым оспой лицом, он проходил мимо каморки десять раз в день. Мунис страдал одышкой и шагал медленно. Он молился только в главной мечети и не пропускал ни одной молитвы.

Должность архивариуса Ельцову добыл Грушин, добыл только потому, что не мог отказать Анне Васильевне. Ходатаев Федька не любил и всегда гнал прочь. Больно много к нему ходило, за всех не похлопочешь, а барин Грушину вовсе был ни к чему. Пусть поломают спину, пусть попробует плетки-камчи. Так и ответил он ханской поварихе, доедая большую дыню с розовой мякотью.

Борода и усы были мокрые и сладкие, голубые глаза смеялись довольно, редко у Грушина бывало весело на душе.

— Я от смерти его спас, мне на том свете и зачтется, а лодырей плодить неча!

Федька ни за что не согласился бы на уговоры Анны Васильевны, но вдруг вспомнил Андрюху-попа и назло тому решил.

— Хрен с им! Устрою барина. Сыт не будет, но и не подохнет.

Такая канцелярская служба, к которой Ельцов прежде не чувствовал призвания, теперь казалась спасением. Кроме того, он неожиданно стал узнавать многое, о чем раньше не имел представления.

Среди английских бумаг его заинтересовало письмо, датированное 1781 годом. Какой-то, видимо, не слишком важный дипломат через персидского шаха обращался к падишаху Хивы с предложениями об установлении торговых отношений. В отличие от Ермолова писал сухо, деловито, как торговому партнеру. Не было в письме ни учтивости, ни хитрости. Автор письма предлагал отказаться от грабежей транзитных караванов.

Ельцов удивился наивности чиновника, воображавшего, что хивинский хан испугается слов «самые решительные меры». Иностранный дипломат явно не знал, с кем имеет дело.

Читая письмо Ермолова к хивинскому хану, Ельцов вспомнил, что знал об этом письме раньше, знал о посольстве Н. Н. Муравьева и о его книге. Даже собирался ее прочесть, да все не мог собраться. Ельцов знал и самого Николая Николаевича, встречал его в домах общих друзей. Помнится, что познакомил их гусарский подполковник Лунин.

Николай Федорович стал расспрашивать знакомых хивинцев о посольстве Муравьева. Отвечали ему неохотно, хотя сам приезд помнили хорошо. При дворе многие были недовольны тем, что русского отпустили обратно. Полагали, что это ошибка, которая будет дорого стоить. Другие считали, что такую ошибку хан допустить не мог и что по отъезде своем в пустыне Каракум Муравьев был схвачен по тайному приказу, убит или же продан в рабство в Бухару. Третьи уверяли, что Муравьев безо всякого подвоха был убит туркменами. Туркмены же, с которыми удалось побеседовать Николаю Федоровичу, хвалили Муравьева за щедрость и храбрость и говорили, что он благополучно добрался до корвета и отплыл в Баку.

Все эти слухи существовали в одной среде, и никто ничего не опровергал. Полное пренебрежение к истории, как давней, так и вчерашней, не переставало удивлять Николая Федоровича. Да, дикость, да, жестокость, но как же может развиваться страна, забывающая свое прошлое?!

Еще больше удивился Николай Федорович, когда узнал, что его первый хозяин сотник Иш-Назар сопровождал Муравьева в обратный путь, прибыл с ним в Тифлис и принят был А. П. Ермоловым.

Федька Грушин сказал Николаю Федоровичу о Муравьеве:

— Еще не приехал он, а мы заране обнадежились. Приехал — воспряли: точно знали — за нас похлопочет. А он про торговлю, про пути караванные всего и говорил. Про души православные — молчок. С нашими и говорить боялся, и смотреть на нас не хотел, отворачивал голову. Хоть больных бы с собой забрал, хоть де-

шевых бы выкупил... Я не о себе. Меня хан за мешок золота не отдал бы. Товарищ мой просил его, так он сказал: «Не в моих силах». А товарищ помер с тоски в том же году.

Среди русских невольников о посольстве Муравьева говорили зло.

Письмо генерала Ермолова и рассказы пленных о миссии Муравьева показывали заинтересованность империи в развитии торговых связей с Хивой. Легко было себе представить, что по прошествии какого-то более или менее значительного времени русские смогут пересечь пустыню — этот не только главный, но, пожалуй, единственный реальный заслон. Но не об этом думалось Ельцову, ему казалось теперь, что люди, живущие по обе стороны прилегающей к Каспию пустыни, никогда и ни в чем не поймут друг друга.

Интерес к России, который Ельцов наблюдал здесь, был чисто меркантильным. И понятно было, почему Муравьев с торговых дел начинал свою дипломатическую миссию. Русскую мануфактуру, металлические изделия, оружие привозили из России, туда отправляли шелковые ткани, кожи, меха, изделия искусных ремесленников, и этим ограничивались знания о великом соседе. Во всяком случае никто из сильных мира сего интереса к России не проявлял и ни о чем с Ельцовым не говорил.

Жизнь Николая Федоровича складывалась так, что второй побег был невозможен по нездоровью и потому еще, что за него перед ханом поручились Анна Васильевна и Федька Грушин.

Вообще говоря, Николай Федорович был устроен лучше многих других пленников. Его не гоняли на тяжелые работы, за исключением весенней очистки каналов, его прикармливали, и неизвестно было, чей он в данный момент раб. Сотник Иш-Назар не продал и не подарил его хану, а как бы уступил на время. Двойственность этого положения в немалой степени облегчала участь невольника. Иш-Назар один только раз разговаривал с Ельцовым, ничего особенного не сказал, но, во-первых, говорил по-русски, хотя и плохо, а во-вторых, обратился на «вы».

— Я рад вам помочь, но ничего не могу сделать. Если будет очень плохо, сообщите мне. Только не пря-

мо, а через управляющего Нияз-Ходжу. Здесь, в Хиве, старайтесь ко мне вовсе не подходить. Раб не должен беспокоить хозяина.

От многих людей и людишек зависел теперь Николай Федорович. Иш-Назар, к счастью, был не худшим среди них.

Одно обстоятельство не переставало занимать Ельцова: по здешней иерархии, бывший его, Ельцова, крепостной камердинер Васька Европкин стоял теперь много выше своего хозяина. Васька был личным другом самого Федора Федоровича и фаворитом Анны Васильевны.

Грех было Ельцову не любить Федьку Грушина. Но Николай Федорович не любил его.

Атлетического телосложения, с гордо поднятой маленькой головой на сильной шее, с кирпичного цвета лицом и светлыми голубыми глазами, уверенный в себе, русский молодец Федор Грушин будто сошел с лубочной картинки. Веселый такой малый и бесшабашный.

Эта шальная веселость, переходившая в озорство и тут же в отчаянную тоску и безразличие ко всему доброму и злему, вопреки желанию напоминала Ельцову попа Андрюху. Николай Федорович Ельцов не мог забыть умысла, по которому бывший ханский палач и самозванный невольничий поп уговорил его уйти в побег. Этот низменный, холуйский расчет лишал героизма все, что Андрюха Иванов сделал ради своей свободы.

Роль Федора Грушина при дворе Аллакули, с точки зрения аристократа Ельцова, была незавидной. По ночам Федька спал у входа в ханскую юрту. Как собака, поперек двери. По ханскому велению иногда для забавы, иногда и в наказание Федька изрядно мял именитых царедворцев. Он не был шутком, но благодаря своей силе, поистине огромной, превращал в шутов всех, над кем хотел посмеяться его чудосочный повелитель.

Вполне возможно, что неприязнь Ельцова к Грушину пронестекала из того, что Федька сознательно или бессознательно не подпускал барина к себе, держал на расстоянии, явно пренебрегал им. Интерес Ельцова к Грушину был односторонним. Барин очень хотел понять холопа, а холопу вовсе не было дела до барина.

Николай Федорович физически остро ощущал барьер между собой и другими русскими людьми здесь, в

неволе. Граница была столь же или более четкой, чем между простыми русскими рабами и простыми хивинскими крестьянами и ремесленниками.

Ельцов понимал, что одной из причин непреодолимости этой границы является различие в образовании. Образование важно, но не в нем одно дело.

Николай Федорович был образованным человеком своего времени, то есть первой четверти XIX столетия. Жил он в Хиве, где царило средневековье. Где-то посредине между XV и XIX веком жили Андрей Иванов, Федор Грушин, Анна Васильевна Костина. Им было легче приспособиться, потому что жили и мыслили здесь они почти так же, как жили и мыслили они на родине, как мыслят в России все: крестьяне и мастера, будочники и булочники — все те, чьим изживанием, трудами, охраной и заботами живут образованные и благородные люди, люди круга Николая Федоровича.

По должности архивариуса обязаный заниматься новейшей историей Хивинского ханства, Николай Федорович с грустью отмечал, что государственные документы, которые он читал и подшивал в папки, почти ничего не говорили о жизни самих хивинцев. Ни о знатных людях, ни тем более о простолюдинах.

Чем дольше Николай Федорович жил в Хиве, тем больше интересовала его жизнь хивинцев.

Ельцов никогда не забывал, что он помещик, он знал и любил деревню, труд пахаря был близок ему. И в Хиве взгляд его привлекали поля и сады. Здесь они были возделаны с невиданным тщанием и любовью: ни одного огреха, ни одного сорняка, и каждый комочек сухой земли будто меж пальцев размят. Прежде Николай Федорович восхищался полями Германии, теперь понял, что есть места, где землю любят сильнее и нежнее. И многое другое оказалось здесь для Ельцова неожиданным. Несмотря на всепроникающую пыль и недостаток воды, хивинцы всегда были очень чисты, опрятны. Удивляло и тщательно продуманное устройство двора, глубокие выгребные ямы, выложенные кирпичом стоки для помоев. Ему нравилось, что каждый вечер во всех дворах шла уборка. Часто в ней принимали участие совсем маленькие дети, трех-пяти лет.

К опрятности детей приучали здесь с рождения. Так же, как и к учтивости. Сидит возле дома на кошме бес-

штанный карапузик, увидит старшего, сразу улыбнется беззубым ртом, головку набок склонит, а ручку приложит к груди. Говорить еще не умеет, а уже приветствует, делает ассалам алейкум. Удивительно добрый и мудрый народ, и странно, как он может жить в таком произволе и мраке!

Порой Николай Федорович ловил себя на том, что жадно прислушивается к разговорам прохожих, благо с каждым днем лучше понимает язык. Прохожие чаще всего говорили о вещах самых простых, для понимания их речей хватало знания сотни слов. Правда, молодые хивинцы иногда говорили об интересном, но молодые ходят быстро, и до Ельцова долетали только обрывки фраз.

Однажды Николай Федорович стал расспрашивать Грушина об особенностях здешней жизни. Тот не видел в разговоре интереса и сказал так:

— Живут люди, как везде. И у нас в России не мед. Только многим здесь хуже. Тебе, к примеру,

Глава вторая

СЫН ТЫСЯЧНИКА

Благородство (мурувва) налагает на человека обязательства только в отношении его самого, близких ему и его состояния. Доблесть же (футувва) выше этого и распространяется на других.

Бирун и Минералогия

Будто аллах и впрямь слышал давние молитвы Иш-Назара, будто злорадно запомнил все от слова до слова и не сделает теперь ничего сверх просимого: «Дай, господи, увидеть сыночка моего здоровым, взрослым, женатым — больше ничего не надо!» Кажется, не просил тогда сотник счастья увидеть внука, не смел просить так много. И теперь аллах не дает ему этого. Не дает!

Невестка у сотника крепкая, ладная, и ребеночек

должен родиться здоровым, может быть, мальчик родится, внук. Дай бог, чтобы внук... Иш-Назар боялся, что не увидит начала этой новой человеческой жизни в своем доме. Не дотянуться ему, как тополю до луны. Ведь не старик еще, а уж в лодке он, в лодке без весла и паруса. Несет лодку река, все дальше и дальше берег жизни. Не за что ухватиться.

Под левой лопаткой у сотника словно нож торчит. Будто врос нож и достает до грудинной кости. Боль поднимается к горлу, бьется жилкой на шее. Сердце частит, немеет левая рука. Пальцы на ней синие, а ноги с каждым днем все больше отекают, тяжелые стали, как сырые дрова. Началось это вскоре после свадьбы Шерали и с каждым днем все хуже. Жестокое и несправедливо будет, если не услышит Иш-Назар хоть первый детский вскрик, не увидит первого, бессмысленного движения детских глаз.

Мечта каждого узбека — иметь много детей и внуков. Шерали остался единственным, потому что Иш-Назар женился поздно и слишком рано стал вдовцом. Тогда и решил отец, что женит сына как можно раньше, чтобы у того все было иначе: скорее, складнее, счастливее.

Всю свою уходящую теперь жизнь Иш-Назар страдал от неуверенности. Он не верил в свое счастье, в свой ум, в свою силу. Долго, слишком долго, непростительно долго удивлялся он тому, что не глупее других, не слабее, не хуже. А жизнь шла.

У сына все должно быть иначе, решил сотник и больше всего заботился о том, чтобы мальчик верил себе и верил в себя. Таким и вырастил.

По гороскопу, составленному индусским врачом покойного хана, Шерали родился под знаком Юпитера и Меркурия. От Юпитера он должен получить счастливую судьбу и мудрость. От Меркурия — вечное спокойствие и душевную тонкость. Рожденные под Юпитером и Меркурием любят роскошь, сами щедры и гостеприимны, вспыльчивы, справедливы, искренни и сердечны. У них хорошая память, способности к наукам и искусствам.

Давно индус составил гороскоп. Он делал это не всегда и не всем. Мулла Карим просил его, когда задумал отдать дочь за Шерали. И Рахиме индусский врачеватель предсказал будущее. Она родилась весной, когда

цвел миндаль, значит, под знаком Земли, под покровительством Венеры. Знак Земли придает женщинам силу и здравый смысл, но Венера добавляет к ним мягкость и любовь. Женщинам, родившимся под этим знаком, свойственна любовь к красивым вещам, цветам, платьям, к тонкой кухне. Они ревнивы, но умны.

По свидетельству несчастного индуса, брак между мужчиной, родившимся под покровительством Юпитера и Меркурия, с женщиной, родившейся под знаком Земли, большей частью бывает удачным.

Оба гороскопа Иш-Назар перечитывал часто, то веря в счастье сына, то сомневаясь в нем и страшась будущего. Во всяком случае отец сделал все, что мог. Шерали уже сейчас обладает благородством. Нужно лишь, чтобы достиг доблести.

Зима на исходе, последний морозец на дворе, последний, после слякотных, тяжких для больного сердца оттепелей; скоро быть Иш-Назару дедушкой, если доживет до того дня, если дотянется рукой до будущей жизни. Трудно дожидаться этого, потому что каждый день полон тревог и опасностей. В молодости столько тревог за год не набиралось.

Совсем недавно, готовясь к первому своему военному походу, Аллакули произвел несколько награждений. Были обласканы те, кто находился в отдалении при покойном хане. Сотник Иш-Назар получил звание тысячника и назывался теперь мингбаши. Когда-то Иш-Назар мечтал об этом титуле, а теперь не испытывал ни радости, ни благодарности. Если титул и имел значение, то лишь для сына. Что ни говори, а все-таки лучше, когда говорят не «сын юзбаши», а «сын мингбаши».

Сейчас перед мингбаши Иш-Назаром стояла задача определить сына в число помощников мехрема. (Если бы Иш-Назар знал звания, принятые при дворе русского императора, он сравнил бы мехрема с камергером. Или, точнее, мехрем — это министр двора.) Пусть Шерали начнет карьеру возле мехрема, пусть поймет всю закулисную игру, тогда в расцвете лет сможет претендовать на высокие посты, на самые высокие посты. Кто знает, может быть, станет он кушбеги. Из него вышел бы кушбеги. «Он сможет, — думал Иш-Назар про сына, — он найдет в себе силу, он не такой, как я. И гороскоп об этом говорит».

Конечно, образованность Шерали позволяла ему пойти и по другой стезе. Сын муллы Карима, ближайший друг Шерали, Юсуф стал помощником начальника канцелярии, одним из помощников. Однако Иш-Назар точно знал, что образованность не имеет цены при дворе. Скорее наоборот. Образованных сторонятся, им не доверяют. Самому Иш-Назару в продвижении к власти несомненно мешала образованность, особенно знание русского языка. Он был нужен в качестве толмача, в качестве консультанта, даже посла, но то, что он владел языком неверных, несомненно вредило ему в глазах хана и его ближайших советников.

Не столько радовал, сколько тревожил Иш-Назара скорый отъезд сына, и сердце сегодня болело особенно сильно. Боль распространялась по всей груди и отдавала в желудок.

Шерали, напротив, был весел. Предвкушение новых впечатлений в столице, сознание того, что он уедет туда не мальчиком, при отце, а самостоятельным человеком, которому вскоре предстоит самому стать отцом, наполняло его молодые мышцы радостной силой.

Сегодня утром Рахима сказала, что если она отпускает мужа в Хиву, то лишь потому, что верит в его предназначение.

— Такому человеку, как вы, тесно в курганче.

Соблюдая традицию, Рахима говорила почтительно. Обращаясь к мужу на «вы», она чувствовала, что Шерали слушает ее с тем же вниманием, с каким сын слушает мать.

— Я люблю своего брата, — продолжала она, — у него красивая душа и сильный ум, но люди не будут склоняться перед ним. А перед вами они будут склоняться, потому что в вас есть сила и доблесть.

Она любила мужа, любовалась его гордой осанкой, властной манерой говорить с людьми, восхищалась образованностью, умом и физической силой. Она любила своего мужа и боялась за него. Может быть, поэтому она к месту и не к месту напоминала ему о своем брате. Ей казалось, что в Шерали есть многое, что делает мужчину мужчиной, а чего-то, что ей было дорого в Юсуфе, Шерали явно недоставало. Шерали горд, порой надменен, а в Юсуфе при всей его мягкости, скромности и даже застенчивости Рахима видела больше

уверенности в себе, больше внутреннего спокойствия. Чувствуя это, Рахима так часто хвалила мужа. Может быть, она поступала неправильно, но такова природа женской любви. Даже молодая жена, даже совсем молодая жена, если сильно любит, начинает любить, как мать. И рассуждает так же.

Рассчитанность и направленность ее похвал Шерали чувствовал отлично. Похвалы он принимал как должное, а упоминания о шурине его слегка настораживали. Он не завидовал Юсуфу, но относился к нему ревниво.

Шерали уезжал в Хиву вовремя. Предстоял поход, где можно было выдвинуться, быть замеченным и отмеченным, первый поход молодого хана. Предстояли, наконец, приключения!

При всем уважении к отцу Шерали не мог подавить в себе чувство досады и удивления. Отец, человек мудрый и бывалый, выполнявший важнейшие дипломатические поручения предыдущего хана, наставлял сына только в одном: быть осторожным, быть вежливым и в поступках исходить из того, что самый умный человек в ханстве — сам хан, второй по уму — кушбеги.

Что-то, а относительно ума первого ханского министра кушбеги никто особенно не обольщался. Читал кушбеги плохо, с запинками, речь его была грубой, мужицкой.

Шерали смотрел, как седлают карего аргاماка-трехлетка, как приторачивают к ковровому седлу кожаные мешки для провизии, и одновременно слушал вкрадчивую речь управляющего.

Нияз-Ходжа, почтительно склонившись, желал молодому хозяину всего лучшего в дороге, больших успехов при дворе, все так же, не поднимая глаз, но внятно объяснил, у каких хивинских купцов что следует покупать, и потом, извинившись, добавил:

— Если будет возможность, постарайтесь сделать так, чтобы наш русский невольник Николай был возвращен. Его оставили в Хиве после наказания, теперь он выздоровел, окреп и стоил бы больших денег. Очень больших денег. Конечно, — управляющий сладко улыбнулся, — наш хан Аллакули весь в своего благородного отца: он своего не отдаст, да и чужого не вернет. Но все-таки попробуйте. Для нас большая потеря один

раб, а хан теперь будто на время другого еще берет. Пусть этого берет, а того вернет.

— Хорошо, — сказал Шерали, садясь верхом, — я думаю, мне это легко удастся.

Он направился к воротам, где, держась левой рукой за сердце, стоял мингбаши Иш-Назар. Напутствуя сына, он сказал так:

— В службе хану Мухаммед-Рахиму всегда мешала мне робость, поэтому в тебе я воспитывал смелость. Теперь, первый раз провожая тебя одного в Хиву, я скажу так: не будь слишком смелым, будь осторожным, мальчик, я опять боюсь. Я боюсь за тебя.

Вначале Шерали пустил коня рысью, но вскоре перевел на шаг. За ним едва поспевал кузнец Матвей на ишаке. Кузнеца срочно вызвали в Хиву на литейный двор. Видимо, в связи с предстоящей войной.

Конь шел легко, снег лежал тонко, и под ним звенела застывшая земля. Настроение у Шерали было отличное: столица ждала его, там была жизнь, в которой законное место принадлежит сыну тысячника. Там был молодой хан, который нуждается в молодых придворных. Там готовят и в скором будущем начнут дальний и победоносный поход к южным рубежам.

Шерали хотел бы ехать быстрее, но где ишаку угнаться за аргамаком. Кузнец Матвей раздражал молодого хозяина. Шерали желал скорее расседлать коня в степенном доме своего тестя муллы Карима, скорее обнять Юсуфа и рассказать ему все, о чем он думал в последние месяцы своей уединенной жизни. «Боже! Как медленно плетется ишак под русским кузнецом! Тот и не думает погонять свою ленивую скотинку. Кажется, он нарочно не спешит. Не поймешь, хмурится он или ухмыляется».

Время от времени Шерали гладил рукой полированный приклад отличного ружья английской работы. Вчера, когда отъезд был окончательно решен, мингбаши Иш-Назар вручил ружье сыну и сказал:

«На Кавказе, в городе Тифлисе, мой русский друг Муравьев на прощанье подарил мне это ружье. Я берег ружье, чистил его и смазывал, но ни разу не стрелял, даже на охоте. И ты не стреляй без надобности. И еще я тебя прошу: даже в случае надобности никогда не стреляй в русского человека. Я дал слово».

Наказ отца нарушать нельзя, но никто и не нуждается Шерали стрелять в русских. Война будет на юге, а русские на севере. А если бы хан приказал воевать с русскими?

Тушканчики и сурки были любопытны в этот день. Булавочными глазками они смотрели на двух непохожих всадников и перебегали дорогу, нисколько их не пугаясь.

Глава третья

ПОМОЩНИК НАЧАЛЬНИКА КАНЦЕЛЯРИИ

Мы молоды и верим в рай,—
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.

А. Грибоедов

I

Почтенный мираб ханства Шер-Мухаммед сын Аваз-бия давно уже был избавлен от необходимости заниматься делами, непосредственно связанными с его званием. Будучи по-прежнему мирабом, он не вникал более в строительство и планировку оросительной сети, равно как и в хлопотное дело распределения воды для поливов. Его недюжинные знания в области алгебры, геометрии, геодезии и строительства оказались почти ненужными и куда менее важными, чем умение красиво писать о делах государственных, чем дар придворного историка и официального поэта, долженствующего оставить грядущим поколениям сладкозвучную книгу о царствовании правящей династии. Сладкозвучность описаний определяло и название труда «Фирдаус-уль-икбаль» («Райский сад счастья»), одобренное покойным Мухаммед-Рахимом. Он же изволил дать историку ко многому обязывающий псевдоним — Мунис, услаждающий слух. Мунису было под пятьдесят, но выглядел он много старше. У него были седые брови и грустные глаза на суровом нервном лице. Он был молчалив, сдержан, никого никогда ни о чем не просил.

Конечно, Юсуф с радостью пошел бы учеником к

Мунису, стал бы писарем у него и подручным.казалось, никто в Хиве не мог способствовать познанию тайн истории лучше, чем он. Однако бездетный Мунис никого не хотел приближать к себе и никому, кроме Мухаммед-Ризы — племянника, сына старшего брата, не доверял своих рукописей. Известно было, что для книги о царствовании нынешнего хана Аллакули уже есть название: «Сады благополучия». Несмотря на хлопоты отца, Юсуфу не удалось поступить под начало Муниса. Единственное, что оставалось, пойти к старому и желчному начальнику канцелярии Хубб-Ходже.

Начальник канцелярии весьма неохотно согласился взять нового молодого сотрудника. По опыту он знал, что отпрыски известных в Хиве семей служат нерадиво, черной работой брезгуют, грамотностью не блещут. Вслед за ними старик перечитывал самые незначительные писарские бумаги, исправлял грубые ошибки, а иногда и своей рукой переписывал все подряд. Между тем Хубб-Ходжа считал, что создан для лучшей жизни. В молодости он пробовал силы в поэзии, занимался переводами с фарси и с арабского, но в последнее время честолюбие толкнуло его на соперничество с Мунисом. Он решил писать новую, самостоятельную историю ханства. В его труде должны были найти место все факты истории, все мельчайшие подробности, все хорошее, но и все плохое.

«Самая высшая поэзия — это правда, — любил говорить Хубб-Ходжа. — Сладкоречивый Мунис украшает факты восторгами. Для него сбруя важнее лошади. Факты для него, как косточка в персике. Он съедает мякоть, а семена выбрасывает, потому что они тверды, а если раскусить, то и горьки внутри. Я сберегу косточки, ибо из них вырастут деревья, необходимые потомкам».

О своих намерениях старик говорил многим и часто, его выслушивали из вежливости. В старике нуждались и не перечили ему. Из безразличия к его словам Хубб-Ходже дали официальное разрешение писать параллельную с Мунисом историю ханства, но обязали каждые десять страниц показывать хану и кушбеги. Для этой работы дали Хубб-Ходже русского раба, знающего западные языки, и увеличили штат писарей. Молодой сын муллы Карима вполне годился в помощни-

ки по канцелярии и для написания истории: он был знающ, грамотен и трудолюбив.

Толстую тетрадь в сафьяне предназначил Хубб-Ходжа для начала своего труда, но вот уже несколько месяцев со дня на день откладывал начало работы. Он не раскрывал эту чистую тетрадь, даже и не доставал ее из ниши, где она хранилась. Он часами беседовал с Юсуфом о будущей работе, в одиночестве томился бездельем, молча лежал на мягких шерстяных одеялах, курил кальян, время от времени выходил в помещение канцелярии и устранял разносы писарям, но все откладывал и откладывал день, когда он станет, наконец, писать правду, всю правду. Он боялся и знал, чего боится.

Он завидовал великому хорезмийцу Абу-Райхану Бируни. Тот мог не страшиться за свою участь, ибо был велик. Да и тираны прошлого имели больше благородства, чем нынешние: мудрых щадили, честных уважали.

Хубб-Ходжа полагал, что все лучшее осталось в прошлом, что история развивается от великого к малому и что бывшее когда-то не повторится вновь. Не будет пророка большего, чем Мухаммед, не будет полководца славнее Искандера Двурогого, не будет государя величественней, чем Тимур. А восемнадцатилетний Юсуф — Хубб-Ходжа готов был поручиться, что это так, — верил, что жизнь может быть еще интересней, питал надежды на будущее и даже позволял себе в беседах с начальником канцелярии находить ошибки в деяниях лиц исторических. Юноша был изрядно начитан, знал поэзию, умел вежливо, но твердо возражать. Начальник канцелярии питал симпатию к Юсуфу, выделял его среди остальных писарей.

Сегодня между начальником канцелярии и его молодым помощником зашел спор о причинах гибели великих держав, о том, что история беспощадно стирает с лица земли все, что кровью, потом, великим обманом и блистательной храбростью было когда-то создано. Распалось ведь соединенное Искандером Двурогим, в клочки порвалась созданная Чингисханом цепь власти, только в памяти людей сохранилась империя Железного Хромца.

Хубб-Ходжа находил в этом подтверждение своей

догадки об основных принципах движения истории от великого к малому, от героического к ничтожному. Юсуф возражал, вежливо, сдержанно, осторожно. Возражения его часто имели форму вопроса. Он говорил так: «Разве нельзя себе представить, что причина гибели названных вами держав заключалась в том зле, которое они в себе несли? Может быть, сила меча — это только временная сила? И можно ли считать, что человеческая кровь и слезы скрепляют людей и народы?»

Хубб-Ходжа возражал: не следует совсем еще молодому человеку подвергать сомнению историю народов.

Писарь не сдавался. Он говорил, что человечество богатеет не от войн, а трудом и торговлей. Он говорил, что караванная связь с Россией приносит чистый доход, а войны с персидскими племенами в Хорасане только убытки. Он говорил, что при разумном устройстве торговли с Россией Хива могла бы стать богатым государством, ибо он слышал от знающих людей, что западные страны — Англия, Италия и Португалия, помогавшие Европе торговать с Индией, разбогатели неминуемо. Не на войне, а на торговле. Правда, хорошо, когда есть чем торговать.

Хубб-Ходжа возражал на это по-своему. Он не опровергал выгоды торговли и значения труда человеческого, он упрекал молодого человека в том, что тот рассуждает как купец, а не как узбек, не как воин.

Юсуф со знанием дела говорил об источниках дохода Хивинского ханства, но Хубб-Ходжа плохо слушал молодого человека.

Конечно, все можно устроить иначе, разумнее, выгоднее, но это ничего не изменит. Воровство среди сборщиков налогов не искоренишь. Все воруют, все думают о себе, а лестницу надо мыть сверху. Это невозможно. Все будут воровать друг у друга, обворовывать хана, а хан будет обирать всех. Хан не может быть в убытке.

Ничто не изменится, потому что теперь в отличие от былых времен все люди живут одним днем и не думают о величии.

Юсуф рассказывал своему начальнику о том, что

в России иная налоговая система и потому развивается промышленность, потому там большие красивые города, мануфактуры, вырабатывающие различные ткани, и заводы металлических изделий.

— В твоих словах есть крупинцы истины. — заключил долгий разговор Хубб-Ходжа. — Но в тебе слишком велик интерес к России, а нам не по пути с ней. Может быть, и полезно было бы то, что говоришь ты, но разве возможно такое? Ты слишком часто беседуешь с русскими невольниками, и это тебе не к лицу.

Такие разговоры повторялись часто; начальник канцелярии всякий раз думал, как забавен задор молодости и как хорошо, что отец этого пылкого юноши уважаемый человек. В своем кругу можно болтать о чем угодно, а то бы разговоры эти добром не кончились. В своем кругу... В своем кругу тоже надо быть осторожным.

На склоне лет Хубб-Ходжа обнаружил грустную закономерность: с каждым новым годом оказывалось, что люди вокруг него еще хуже, чем старик думал о них в прошлом году. Потому-то он так боялся приступить к написанию истории ханства, потому так медлил.

В оправдание он сказал однажды Юсуфу:

— Люди не станут лучше, так много ли проку в том, если они узнают, что они хуже своих предков? А ведь в этом и есть вся польза истории.

Разговор происходил в канцелярии, когда служащие разошлись и начальник запирает в сундук письменные принадлежности, документы и чистую бумагу.

Юсуф возразил слишком горячо, голос звучал слишком громко. Он понимал это, но сдерживаться было трудно. Юсуф говорил, что наука о прошлом должна сообщать людям историю их ошибок и опыт верных решений. В доказательство он привел опыт, который произвел падишах Акбар триста лет назад. Падишах хотел испытать, что будет с детьми, которых вскоре после рождения оторвут от взрослых. По его приказу несколько новорожденных (бирманца, китайца, индийца) заключили тогда в каменной башне. Дети росли, не видя взрослых и общаясь только между собой. Семь лет прожили дети разных национальностей вместе, и когда падишах Акбар решил посмотреть на них, то увидел рычащих, лающих и кусающихся зверенышей. Ни

на одном языке эти несчастные дети не говорили, ни одного слова человеческой речи не понимали. Юсуф сказал своему наставнику, что нечто похожее произойдет и со всем человечеством, если исчезнет история, прервется цепь между умершими и живыми, между старшими и младшими, между живущими и еще не родившимися.

Пример с падишахом Акбаром и детьми, заключенными в башню, был давно знаком Хубб-Ходже. Не они ли поведали его Юсуфу? Только обычно этот пример приводили в опровержение того, будто дети от рождения и без помощи взрослых начинают говорить на языке своих родителей. Именно это и проверял падишах. Однако в качестве доказательства роли истории чудовищный опыт тирана выглядел не менее убедительно. Начальник канцелярии уловил, что за словами молодого человека кроется упрек ему самому. Упрек в медлительности и трусости.

— Ты хороший мальчик, — сказал Хубб-Ходжа. — Ты во многом прав, хотя и спешишь. Давай сначала наладим все делопроизводство, разберемся с текущей перепиской, с архивами и высвободим время для нашей будущей работы.

— В некоторых странах летописцы заносят в свои книги все, что происходит вокруг них день за днем, — заметил Юсуф. — Они записывают удачи и неудачи государей, их подвиги и ошибки, их поступки и слова. Они отмечают все праздники и казни, цены на базаре, годы урожая и годы болезней. Я готов записывать все это, а потомки сами разберутся, что оказалось важным для истории, что никчемным...

— Все записывать нельзя и даже невозможно. Надо найти главные признаки для отбора сведений, которые будут полезны и интересны людям будущего. Я думаю над этим. Я ищу принцип.

— Разрешите мне, — еще раз попросил Юсуф. — Разрешите мне вести записи. Я буду писать все подряд, а вы потом отберете, что нужно. Одно зачеркнете, другое прикажете переписать заново.

Хубб-Ходжа задумался. Чем больше он думал, тем больше мрачнел.

— Мы так и сделаем, только не сразу. Если кто-нибудь узнает об этом, мне трудно будет доказать, что

это твои записи, а не мои мысли и черновики. Тебе известно, что черновики я должен показывать хану и кушбеги?

Помрачнел и Юсуф. Пытаясь утешить его, старик добавил:

— Договоримся так: ты пока запоминай все. Наблюдай, запоминай, но не записывай. Потом мы решим, как с этим быть.

Юсуф едва сдержался, чтобы не высказать своему начальнику все, что он о нем думает. Тщательно продуманное воспитание муллы Карима помогло ему остаться вежливым. Не глядя в глаза старика, Юсуф сухо простился и ушел, плотно притворив за собой резную дверь.

Хубб-Ходжа тоже направился к себе. Он не торопился, шел медленно, следил за выражением своего лица, а войдя в гостиную, подошел к нише и достал оттуда толстый рукописный том «Чудеса путешествий» на арабском языке и принялся за чтение.

В главной соборной мечети Хивы в этот час начиналась пятая, вечерняя молитва. Хубб-Ходжа, вспомнив об этом, на минуту прекратил чтение, решил было встать на молитвенный коврик, чтобы совершить обязательный вечерний намаз, но, благо никто не видит, передумал.

Глава четвертая

МЕДНИК, СЫН МЕДНИКА

Гончар и ткач, сапожник и седельник,
Ковач, пирожник, оружейник, мельник,
Припомни сам—их всех не перечешь,—
Кто там еще в сословье этом есть.
Богатства те, что видим мы вокруг,—
Все это дело их искусных рук.

*Юсуф Хас-Хаджиб.
Наука быть счастливым*

I

С минарета соборной мечети слепой от трахомы муэдзин старательно выпевал призыв к вечерней молитве. Хорошо, когда муэдзин слеп. Хоть и стоит он на

своим минарете выше всех, но не может видеть того, что происходит за дувалами, во внутренних двориках. Слестрой не будет соглядатаем и не станет отвлекаться на мирские соблазны. И вправду, муэдзин соборной мечети заботился лишь о звучности, пел, глотая согласные, но люди знали, что значат эти пронзительные рулады, проникающие во все закоулки, во все дома, сквозь двери и ставни.

— Аллах превелик! Свидетельствую, что Мухаммед — посланник аллаха! Идите на молитву! Идите к спасению!..

В дымной медницкой мастерской неподалеку от мечети вовсю пылали угли в горне; мастер Азим грел паяльник, чтобы закончить работу, которой отдал больше месяца.

Младший брат Азима, десятилетний Тураб, раздувал мехи и устал.

— Молиться надо, — напомнил младший брат.

— Потом! — отмахнулся Азим.

А муэдзин надрывался:

— Аллах превелик! Свидетельствую, что Мухаммед — посланник аллаха! Идите на молитву! Идите к спасению!

Тураб рукавом утер пот со лба и еще раз напомнил старшему брату про молитву.

— Качай, качай, — ответил Азим. — Работай!

— Грех!

— Молимся мы каждый день, а такой заказ у меня первый раз в жизни.

Азим припаивал краник к маленькому медному самовару. Это не по заказу, а сверх него, от себя. В благодарность за доброту и доверие.

Заказ был действительно редкий. Почтенный мулла Карим просил изготовить набор луженой посуды в подарок дочери, ожидавшей первенца. С тех пор как Азим занял в мастерской место своего отца, это был первый настоящий заказ, первое признание. В конце концов только благодаря вмешательству муллы Карима, его знанию обычая предков и заветов Мухаммеда старшина хивинского цеха медников и чеканщиков Тахир-бобо¹ дал Азиму разрешительную молитву на само-

¹ Бобо (узб.) — дед. В данном случае дед — почтенное звание старшины ремесленного цеха.

стоятельную работу. Тахир-бобо долго перед тем колебался, он был человеком мудрым и осторожным, не хотел сердить хана и кушбеги, знал, как злы они на покойного мастера Ибрагима. Не за себя боялся бобо, а за весь цех хивинских медников. Это ведь только говорится, что ремесленники в своих делах ни от кого не зависят, что все у них решается сообща, по доброму согласию и без оглядки на властей. Увы, не в пустыне живут ремесленники, а в столице ханства, тут все нужно учитывать.

Азим не корил бобо, когда тот осторожничал и медлил, зато и не больно обрадовался, когда старик дал наконец согласие на разрешительную молитву и велел Азиму собрать всех членов цеха на ритуальное пиршество. Каких денег это стоило нищей семье Азима, в какие долги они залезли! Шутка ли, угощение всему цеху, да еще подарки почетным гостям!

Мулла Карим большую часть денег уплатил вперед и зашел на праздник к Азиму. Это честь для молодого мастера. Мулла сказал, что царь Давид, святой покровитель металлостов, подвиги свои совершил будучи юношей, и потому каждый молодой и умелый мастер любезен сердцу святого.

На угощение к Азиму люди сходились с опаской, потому что помнили страшную ночь казни мастера Ибрагима, преступлениями своими заставившего хана омрачить праздничную ночь. О том, какие преступления отец Азима совершил, никто, кажется, не задумывался; во всяком случае, никто про это не говорил. «Меня же не казнили, меня же не трогают, а что за охота брать невинного! Разве хану охота нарушать такие красивые обычаи?» Казнь на площади, кровь, которая пролилась в час, когда надо миловать, надолго запомнилась хивинцам. Ужас вселял хан и его палачи, но в равной, если не в большей степени, сам казненный и его семья.

На угощение к Азиму сходились молчаливо, с опаской, а расходились благодущные, веселые и болтливые. Мастера Ибрагима, однако, не вспоминали. Говорили только, что Азим хороший медник, потому что мастерство передается по наследству.

Обстоятельный список набора посуды для дочери муллы Карима принес его сын Юсуф. Азим с детства знал

Юсуфа, звал его Юсуф-хальфа и смотрел на него снизу вверх. Азбуку Азим изучал в школе муллы Карима и под руководством его сына. Когда-то хальфа важничал перед другими ребятами, вроде бы вовсе не замечал Азима. Теперь молодой мастер подвигился учтивости Юсуфа и тому, что юноша с уважением отозвался о мастерстве и знаниях мастера Ибрагима. Кажется, это был первый из посторонних, кто не побоялся добрым словом вспомнить погибшего медника.

Вечером, когда Юсуф ушел, Азим сказал матери:

— Мне кажется, мама, что сын муллы Карима знает о нашем отце что-то очень важное. И про смерть его знает. Или хочет узнать.

— Никто не может знать больше, чем мы, сынок, — ответила мать, глядя Азиму в глаза, а потом отвернулась и добавила сухо: — Никто не может знать больше, чем мы, а мы ничего не знаем об этом. Совсем ничего не знаем.

«Боже, как запугали нас, — подумал тогда Азим, — если мы с матерью не можем говорить о том, что известно нам обонм!»

Азим кончил работу затемно и расставил посуду на полке против окна, чтобы мать утром могла полюбоваться. Она зрела толк в ремесле медника и в былые годы помогала отцу, рисовала ему узоры для чеканки.

Азим улегся на кошму, укрылся большой овчиной, но сразу уснуть не мог. Бычий пузырь в окошке желто светился. На дворе была лунная ночь. Может быть, такая же лунная, как та, когда погиб отец. Какая светлая была ночь, как много было народа, как сверкал золототканый халат хана Аллакули, как били барабаны и кричали карнаи!

Утром он не спеша позавтракал, не выдавая радости, выслушал похвалы матери, потом аккуратно уложил в новый мешок весь набор луженой посуды, вышел из дому.

Была пятница, базарный день. На узких улочках шумел и толпился народ. Недалеко от дома муллы Карима Азим остановился, чтобы перевести дух. «Куда я так спешу? — подумал он. — Оказывается, я всю дорогу пробежал бегом. Надо быть солиднее, если хочешь, чтоб тебя уважали. Ведь я мастер!» Он пошел медленнее, с достоинством оглядывая встречных, и остановился возле высо-

кой двери в глухой, гладко оштукатуренной стене Дверь была старинная, резная.

Азим постучал железным кольцом и почувствовал, что робеет. Жаль, что он не показал свою работу опытным мастерам. Может, и не так все получилось, как надо. Ведь не для кого-нибудь, не для простолюдинов, не для кочевников, которым все сойдет, — для семьи муллы Карима! Он и прежде бывал в этом доме, когда отец устроил его в школу. Правда, Азиму не удалось закончить образование, он научился читать, писать и считать. Богословие, толкование Корана и стихосложение — он так и не узнал, что это такое.

Азим еще раз постучал, а потом слегка толкнул дверь. Она оказалась незапертой.

Юсуф встретил гостя приветливо, пригласил в гостиную, расстелил перед Азимом дастархан и только тогда дал ему возможность заговорить о деле. Оказалось, что мулла Карим уехал в гости, но Азим может все оставить Юсуфу, а отец расплатится сразу же по возвращении.

Азим вовсе не торопился с расчетом, важно было скорее выполнить заказ. Он бережно доставал из мешка и расставлял на ковре в заранее обдуманной композиции чойджуш — кувшин для чая, афтоба — сосуд для воды, вазочки для сладостей и мороженого, медные чашки — тоси-мис — с блюдечками. Потом Азим достал усьмаджушак и сурьмадон — коробочки для приготовления и хранения краски для бровей и ресниц.

Матери Азима из всего заказа больше всего понравились именно усьмаджушак и сурьмадон, а сам Азим приготовил для заказчика другой сюрприз. Перед всеми сверкающими подарками на ковер встал маленький самовар с краником, ушками и трубой.

— Это настоящий самовар, — сказал Азим. — Настоящий, как русские самовары, только на четыре пиаля чаю. Быстро закипает. Ваш отец не заказывал, я сделал это в подарок, бесплатно.

Сын муллы Карима похвалил всю работу, каждый кувшин, каждую чашечку брал в руки, разглядывал сложный кружковый узор. Молодому мастеру казалось, что сын муллы не может по достоинству оценить всей сложности работы, которую видит перед собой. Надо было бы прежде показать заказ старым мастерам, они оце-

нили бы сложность фигурных швов, ровность полуды, изящество кованных ручек.

Впрочем, и Юсуф-хальфа кое-что понял.

— Этот кружковый узор считается самым древним сложным,— сказал он.— Я слышал, что он достался на еще от тех времен, когда люди поклонялись Солнцу. полагают, что эти большие и малые окружности с точками в центре должны напоминать людям о величии Вселенной, где светила движутся по кругам своим, а Земля лишь зернышко на ладони Судьбы.

Интересно сказал Юсуф, Азим об этом прежде и слышал, но молодому мастеру хотелось, чтобы сын малы отметил еще и самовар, первый самовар, сделанный в Хиве.

— А самовар настоящий,— нерешительно сказал Азим.— Вода очень быстро закипает. Дети вашей сестры могут играть.

— Такой работой и взрослый залюбуется,— ответил Юсуф.— Ты не медник, ты — ювелир!

Юсуф называл гостя на «ты», гость на это не решался.

— Что вы! Ювелиры работают с серебром или с золотом. Только с золотом никто почти не работает. Золото — царский металл.

Юсуф щедро принимал медника. Отодвинув сладости, он поставил на дастархан блюдо крупных квадратных пельменей, которые принес с женской половины дома. Гость ел степенно, медленно, а хозяин и вовсе не интересовался едой.

Он много говорил сам, расспрашивал Азима. Вначале речь шла о ремеслах, потом о торговле, потом перешли к России и тем странам, что лежат за ней. Стран этих было много, а знали о них в Хиве мало, очень мало. О тех странах ни купцы, ни русские невольники толком ничего рассказать не умели.

Воспитан не тот, кто во всем соглашается с собеседником, а тот, кто умеет поддерживать угасающую беседу. Помня эту истину, Азим сказал, что в России и во многих других странах есть хорошие мастера и есть интересные вещи, но там не знают истинной религии и верят в неправильных богов.

Азим сказал так, потому что часто слышал подобные слова от кого-то раньше, а еще потому, что находился в

доме достопочтенного муллы Карима и беседовал сейчас с его сыном, который помогает отцу учить детей мудрости божьей. Он не придавал значения своим словам, и серьезный ответ Юсуфа удивил его.

— В разных странах люди придерживаются разной веры, Азим. Одни верят в Будду, другие в Христа, третьи — в Мухаммеда. На умении работать это вряд ли сказывается. Ты сам это знаешь. Не так ли?

— Я не думал... — растерялся Азим. Никто прежде не говорил с ним об этом, да еще так смело.

— В том и беда, что не думал, — возразил Юсуф. Он чувствовал себя старшим в этом разговоре. — В том и беда, — продолжал Юсуф. — Мы мало знаем о жизни других народов, боимся у них учиться. А учиться надо. У всех надо учиться. Тут ничего обидного нет.

Азиму тоже приходили подобные мысли. Однако одно дело — думать, совсем другое дело — говорить. Тут смелость нужна. И еще нужна уверенность, что никто не подслушивает.

Молодой медник чувствовал себя неловко.

— Этот шов, — он показал незаметный шов на высококом кумгане, — меня научил делать отец, а его — один старый русский. И еще я умею делать русские внутренние замки для сундуков.

Но Юсуфа сейчас мало интересовали фигурные швы и устройство внутренних замков. Хотелось прямо перейти к делу, прямо спросить Азима про его отца. «Конечно, сын кое-что знает, но возможно, что и я открою ему нечто новое в истории гибели мастера Ибрагима», — думал Юсуф. Однако между молодыми людьми не исчезал барьер.

— Азим, — сказал Юсуф, решившись, — ты не должен называть меня на «вы». Мы ровесники, только ты уже полноправный мастер, а я еще подмастерье. На твоём иждивении семья, а я сам живу на средства своего отца. Это я должен называть тебя на «вы». Я тебя прошу.

— Хорошо, — смущаясь еще больше, согласился медник. — Я согласен, если вы хотите. Только вы ведь образованный человек, вы сын знаменитого ученого муллы. Я хотел вас спросить, не слышали ли вы...

Юсуф рассмеялся:

— Ты согласился называть меня на «ты» и тут же

пять раз сказал «вы». Так дело не пойдет. Я тебя прошу...

— Хорошо, хорошо, — нахмурился Азим. — Я хотел спросить: правда ли, что в России есть мельницы, которые работают от пара и огня? Говорят, что огонь кипятит воду, а пар этой воды идет по трубам и крутит колесо. Вам... Ты не слыхал про такое?

— Не приходилось, — ответил Юсуф. — Не знаю, кто тебе это сказал, но трудно себе представить, чтобы пар мог крутить колесо. Скорее всего, это выдумка, и слова о паре надо понимать иносказательно.

Азим рассердился на Юсуфа. Как можно так легко отвергать серьезное предположение? Почему пар не может крутить колесо, если он может поднять тяжелую крышку котла?

— Жаль, что ты ничего об этом не знаешь, — Азиму теперь совсем легко было сказать «ты». — Ты спроси об этом сведущих людей. Мне важно знать, что это хоть где-то есть. Если я поверю, что кто-то сделал, я сам попытаюсь сделать такую штуку.

Юсуф принес чайник чая, угощение, неслыханное для Азима, и молодой медник окончательно понял, что весь этот царский прием устроен не зря.

— Это я попросил отца дать тебе заказ на праздничную посуду. Знаешь почему?

— Нет...

— Может быть, догадываешься?

— Не знаю, — сказал Азим, — может быть, потому, что мы учились вместе?

— Не это главное.

— А что?

— Твой отец.

— Из уважения к нему? К моему отцу?

— Да! — сказал Юсуф. — И из долга! Каждый честный человек обязан помогать невинно пострадавшему.

— Это благородно, — осторожно сказал Азим. — Большое спасибо и от меня и от матери.

— Ты знаешь, почему казнили твоего отца?

Азим ответил так, как привык отвечать на этот вопрос.

— За государственное преступление. За осквернение веры.

Юсуф посмотрел на него испытующе.

— А в чем оно выражалось, это преступление и оскорбление?

— Не знаю... — сказал Азим. Он преодолел в себе минутное искушение говорить правду и опустил глаза. — Откуда мне знать? Это дело государственное. Это верховный судья решал. Это кушбеги с ханом утверждали. Поумней меня люди.

Юсуф понял: Азим уклоняется от разговора.

— Меня государственные дела не интересуют, — продолжал Азим. — Я только медник. — И Азим, посмотрев в глаза Юсуфа, вздохнул. — Одно знаю: государственные дела и дела веры моего отца тоже не интересовали.

Теперь Юсуф опустил глаза, потому что настало его черед кривить душой из осторожности.

— Видишь ли, я потому спросил тебя обо всем этом, что слышал, будто бы это случилось по ошибке. Я тоже не знаю подробностей...

Два молодых человека явно лгали друг другу. Во всяком случае, уходили от откровенного прямого разговора. И вопреки их очевидной неоткровенности, а может быть, даже благодаря ей, благодаря неумению лгать, с каждой новой фразой росло их взаимное доверие и симпатия.

— Я боюсь, мать будет беспокоиться, что я долго не возвращаюсь, — наконец сказал Азим. — Я сбегаю, объясню ей...

— Пойдем вместе, — предложил Юсуф.

Потом молодые люди в густой толпе бродили меж торговых рядов. Базар сегодня был действительно большой, шумный, азартный. Они остановились в том месте, где рядом с изделиями кожевников и шорников продавалась кухонная утварь, казаны, капкыры и где начинался ряд медников.

Старшина цеха медников и чеканщиков Тахир-бобо улыбнулся Азиму и слегка пожурил его, что пришел лишь к концу базара. Настоящий мастер должен быть и в торговле первым. Еще он сказал, что сегодня утром мастера, посоветовавшись, решили, что Азим получит долю в заказе, который хан дал медникам в связи с близкой войной.

Вечером Юсуф провожал Азима домой.

— Ты не удивляйся, — сказал сын муллы, — что я

так вцепился в тебя. Мой друг Шерали вот уже несколько месяцев не приезжал в Хиву. Я один, а мысли переполняют меня. Мысли и вопросы. Я работаю в канцелярии, переписываю бумаги и по поводу этих бумаг часто слышу рассказы, которые противоречат написанному. Так я узнал про твоего отца. Я узнал это месяца назад из намеков. Я хотел поговорить со своим начальником Хубб-Ходжой, но он ушел от разговора. Я буду писать историю сегодняшнего Хорезма день за днем. Все, что видел, все, что слышал, все, что знаю. Не бойся, сейчас я этого писать не буду, я дал слово Хубб-Ходже. Я буду только запоминать. У меня хорошая память, а когда-нибудь запишу для потомков. Люди скажут спасибо. Прости, что я второй раз возвращаюсь к этому. Много есть несправедливости на земле, но я видел казнь твоего отца, помню, как был нарушен добрый обычай прощения. И я содрогнулся, когда узнал, что прощать твоего отца было не надо, ибо он ни в чем не был виноват.

Азим молча шагал, глядя себе под ноги. «Неужели это касается кого-нибудь, кроме меня? Почему волнуется сын муллы, неужто все это так необходимо потомкам?» — думал медник. Возле своего дома он сказал:

— Сегодня не надо об этом. Хочешь, приходи завтра, а хочешь, я приду к тебе.

— Лучше ты ко мне, — предложил Юсуф. — Я хотел показать тебе одну вещь, но сегодня не решился.

Пожалуй, никто в семье Азима — ни братишка, ни сестренка, ни он сам — не радовался так сегодняшнему дню, как мать. Она была счастлива. Шутка ли, такой заказ выполнен! Для такого почтенного человека! А ведь совсем мальчик, совсем мальчик. Если так пойдет, скоро можно будет все долги отдать.

Азим тоже радовался. Омрачал эту радость разговор об отце. Не сегодняшний, а тот, который предстоял завтра. Не было у Азима предубеждения против сына муллы, но была нерешительность: как же так, даже с матерью он не говорил об этом, а завтра придется говорить с чужим человеком. Он понимал, что завтра будет говорить.

Советоваться с матерью Азим не стал. В конце концов, это не женское дело.

Вечером следующего дня два молодых человека, напряженные и суровые, сидели под низкой крышей балаханы. Говорил Юсуф:

— Дальше, насколько я знаю, было так: кушбеги приказал убить невольников, грабивших могилу. Он сам лично обыскал трупы, потому что боялся, что они кое-что могли припрятать для себя. Потом с двумя стражниками и со всем награбленным золотом вернулся в Хиву. Это было в четверг вечером. Назавтра, в пятницу, монетный двор не работал. Как раз это ему и было нужно. В начале ночи кушбеги приехал за твоим отцом и увез его на монетный двор. Он приказал разводить огонь и готовить большой тигль, чтобы плавить золото. Твой отец спросил, сколько золота. Кушбеги сказал, много. Тогда твой отец приготовил самый большой тигль. Горн уже горел, и можно было начинать плавку. Твой отец сказал: «Давайте золото». Кушбеги развернул мешок, и оказалось, что в этом мешке вместе со всякой мелочью находился сверкающий золотой бог древних людей. И тогда твой отец сказал: «Я не буду уничтожать этого бога, ибо он, наверное, из какого-то священного кургана». Тогда кушбеги крикнул твоему отцу, что он язычник, что он поклоняется идолам. Твой отец сказал, что он не язычник и расплавит это золото, если ему прикажет сам хан. Кушбеги ударил твоего отца плетью по лицу. Отец хотел защититься и нечаянно ударил кушбеги. В это время вошел хан. Он догадался, вернее, ему донесли, что кушбеги хочет плавить золото без него, чтобы утаить большую часть для себя. В переплавленном виде никак не докажешь, все здесь золото или нет, а пока идол целый, это видно каждому.

Юсуф увлекся своим рассказом и заново переживал трагедию, разыгравшуюся в прошлом году на монетном дворе Хивы.

— Тогда твоего отца схватили, — продолжал он. — Кушбеги потребовал для него смерти. Представляешь, как он был зол, и даже в день, когда нужно прощать, уговорил хана изменить обычаю. Это злобный и мелкий человек. Жаль, что он может влиять на хана. Вот что мне стало известно. Думаю, что все так и было.

— Не совсем. — Азим поднял голову, — не совсем так.

Он опять подумал, что история гибели мастера Ибрагима действительно не только ему важна. Не зря же так взволнован сын муллы Карима, не зря, наверное, и о потомках говорил он в прошлый раз.

— Наутро они отпустили отца домой, — добавил Азим. — Отец успел рассказать мне, как все было. И только следующей ночью его взяли опять.

Азим задумался. Руки его, молодые, но уже крепкие и мозолистые, привыкшие к металлу, сжались в кулаки. Он сам не заметил этого, а Юсуф смотрел на его сильные руки с уважением и завистью.

Азим вспомнил час за часом события тех дней. Ночь, день, ночь. И еще день, когда стало ясно, что следующей ночью приговоренный к смерти будет помилован. Затем эта ночь — та ночь, победный рев карнаев, барабанная дробь...

Все ждут помилования, высшей, почти божьей милости.

Факелы, плоски и яркая луна на небе. Азим вспомнил выход хана, и сердце у него замерло, как тогда. Он не думал мстить, не в его это силах, но он знал точно, что никогда ничего не забудет. И даже в час собственной смерти он будет помнить смерть своего отца.

— Это было так, — начал он свой рассказ, и Юсуф сразу поддался силе по-новому зазвучавшего голоса. — Кушбеги действительно хотел утаить сокровища священной могилы наших далеких предков. Все так и начиналось. Увезли отца, ночью велели раздуть горн, все было готово для переплавки. Кушбеги выложил перед отцом несколько бронзовых наконечников от стрел, сгнивший деревянный колчан с золотыми бляшками, а потом развернул тряпку и показал отцу идола. Отец говорил, очень красивого идола. Кушбеги приказал сначала переплавить идола. Отец очень удивился. «Зачем нужно портить такую прекрасную работу? — спросил он. — Я видел такого однажды, когда кочевники разграбили какую-то священную могилу недалеко от Чарджоу». — «Не теряй времени!» — приказал кушбеги. Отец сказал: «Не кричите на меня. Я приготовил тигль, чтобы плавить золото. Этот бронзовый бог туда не вле-

зет». Отец говорил, что кушбеги даже попятятся от этих слов. «Как бронзовый?! Как может быть бронзовый, когда мне говорили, что в этом кургане только золотые вещи!» И тогда отец стал смеяться. Глупо, наверное, но он стал смеяться. Наверное, этот смех больше всего повредил ему. Отец говорил: «Я так смеялся, так смеялся, что совсем не заметил, как вошел хан Аллакули».

Юсуф понимал, что таких подробностей не выдумаешь.

— Отец сказал: «Значит, вы ограбили старинную могилу? Нарушили священные установления наших предков? Потревожили их прах, чтобы разбогатеть? Представляю, сколько страха вы пережили, чтобы решиться на это. Конечно, бронза из древних курганов всегда отличного качества. Из такой старинной бронзы можно сделать отличные зеркала, ее можно золотить, из нее можно делать даже полые отливки. Но зачем такая тайна? Неужели, о почтенный кушбег, вы думали, что не было умных людей до вас? Мой отец рассказывал мне, что священные курганы грабят каждые сто лет или примерно каждые три поколения. Но надо же отличать бронзу от золота!»

Пока отец говорил все это, Аллакули подошел к кушбеги и изо всех сил ударил его ногой в пах. Хан бил кушбеги, топтал его, приближенные попрятались, а отец стоял у горна, смотрел на это, и ему было не до смеха. «Я понял, что наши правители — разбойники, — сказал он мне. — Шайка разбойников». Тогда им было не до отца, тогда он вернулся домой, а днем они опомнились и решили уничтожить человека, который знал все и кое-что видел. Как ты понимаешь, особенно старался кушбег. Он не мог простить отцу его смеха и своего позора.

Юсуф понимал, что этот рассказ не просто история одного преступления, еще одного преступления из многих. Юсуф понимал, что, толкнув Азима на исповедь, он сам оказался причастным к событиям той страшной ночи и вынужден будет сделать для себя выбор.

Получалось, что он становится на сторону не тех, кто казнит, а тех, кого казнят.

Глава пятая

КНИГА БЕЗ ОБЛОЖКИ

«История Государства Российского»
есть не только произведение великого
писателя, но и подвиг честного чело-
века.

А. Пушкин

I

Шерали встретился с Азимом в доме муллы Карима. Юсуф при знакомстве сказал про Азима самые лучшие слова, а Азиму про Шерали только:

— Это вот и есть Шерали, сын сотника Иш-Назара.

— Не сотника, а тысячника, — поправил Шерали, и в его голосе шуточных нот явно недоставало.

Восторга по поводу нового знакомства он не проявил и вел себя сообразно тому, как в его представлении сын тысячника — а ведь теперь он не сын сотника — должен вести себя с обыкновенным ремесленником.

Может быть, к этому юношескому высокомерию пришивалась еще и юношеская же ревность. Очень уж заметна была привязанность Юсуфа к новому другу.

Юсуф с огорчением видел это, но рассудил по-взрослому: если это недоразумение, его исправит время; если же им втроем быть и вправду нельзя, то время само же и разведет их насовсем. Всех троих или одного из трех. Утешало, что Азим, кажется, вовсе не заметил поведения Шерали или заметил, но хорошо скрыл обиду.

Азим заметил все и все понял сразу, однако он знал, зачем Юсуф собрал их вместе, и это было важнее всего.

— Друзья, — сказал Юсуф, — то, что я вам предлагаю, дело опасное. Никто до нас этим в Хиве не занимался, никто не знает, чем все кончится. Мой долг предупредить сразу, ибо у вас есть возможность отказаться сразу или в любой момент, когда вы сочтете это необходимым. Мне удалось купить русскую книгу. Как мне объяснил один грамотный русский невольник, это история России. Правда, не вся история, а часть. Книга написана совсем недавно. Не знаю, как вам, а мне инте-

ресно узнать историю России. Я уже договорился с образованным русским. Он умеет говорить по-узбекски и производит хорошее впечатление.

— Это случайно не наш невольник Николай? — спросил Шерали. — В прошлом году он бежал, его наказали плетьюми, и с тех пор он прижился здесь.

— Да, это он, — подтвердил Юсуф.

— Ну так что же с ним договариваться? — удивился Шерали. — Я ему прикажу, и все. Ты зря так старался.

Юсуф рассердился. Он ехидно спросил:

— Что ты ему прикажешь? Ты можешь приказать ему копать канал или убирать навоз в конюшне. Но приказать человеку, чтобы он разговаривал с тобой о том, что думает, ты не можешь. Я хочу, чтобы мы понравились этому несчастному. Учитель должен любить ученика. Иначе ученик ничего не поймет.

— А ты уверен, что это действительно нужно? — спросил Шерали.

— Относительно себя я не сомневаюсь, — сказал Юсуф. — А как ты, — обратился он к Азиму, — ты хочешь?

— Я бы хотел, — осторожно сказал Азим, — но вряд ли у меня будет время.

— Постараюсь договориться на вечер, нам всем так удобнее. И ему тоже.

Юсуф достал сверток. Азим взял книгу, начал осторожно листать. Потом сказал:

— Она написана не рукой. Ее печатали на станке. Я слышал, будто в России все книги печатают на станках.

Книга эта была без обложки, но титульный лист ее сохранился, на нем было написано много всяких слов крупными и мелкими буквами.

Шерали, Юсуф и Азим сидели в глубине комнаты, а Ельцов, пользуясь своей бесспорной привилегией, полужележал в луче света, падавшем из высокого оконца. С наслаждением он читал прекрасный русский текст, растолковывал молодым людям то, что было им непонятно, старался найти в своем бедном запасе узбекских слов все нужное для верного перевода. Вряд ли ему это удавалось, хотя общий смысл молодые понима-

ли. Это было видно по тому, что слушали они с жадным интересом.

«Первые дни по смерти тирана (говорит римский историк) бывают счастливейшими для народов: ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий». Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое: новый венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в послабление, вредное государству. Сего могли опасаться истинные друзья отечества, тем более что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностью беспредельной, с равнодушием к мирскому величию».

Карамзинская «История Государства Российского» была первой книгой, которую Ельцов читал за все время своего пленения. Он наслаждался русским текстом, который вначале читал вслух, а затем пересказывал.

«На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела постника и молчальника, более для келии и пещеры, нежели для власти державной рожденного: так, в часы искренности, говорил о Феодоре сам Иоанн, оплакивая смерть любимого старшего сына. Не наследовав ума царственного, Феодор не имел ни сановитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда: был росту малого, дрябл телом, лицом бледен; всегда улыбался, но без живости; двигался медленно, ходил неровным шагом от слабости в ногах; одним словом, изъявлял в себе преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что сей двадцатисемилетний государь, осужденный природою на всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, многие не смели радоваться концу тиранства, чтобы не пожалеть о нем во дни безначалия, козней и смут боярских, менее губительных для людей, но еще бедственнейших для великой державы, устроенной сильною, нераздельною властью царскою... К счастью России, Феодор, боясь власти как опасного повода к грехам, вверил кормило государства руке искусной — и ее царствование, хотя и не чуждое беззаконий, хотя и самым ужасным злодейством омраченное, казалось современникам милостию божею, благоденствием, златым веком: ибо наступило после Иоаннова!!!»

Николай Федорович Ельцов прекрасно знал и историю царствования Федора Иоанновича, однако время от времени останавливался не только для того, чтобы подробно объяснить своим слушателям обстоятельства, о которых говорилось в книге, а еще и для того, чтобы во всеобщем молчании про себя восхититься спокойным течением мысли историка, его величественными синтаксическими конструкциями.

Три узбекских парня слушали внимательно, иногда переглядывались, и Николай Федорович видел, что рассказанное русским историком о России находит отклик в душе молодых людей, кроме всего прочего, и потому еще, что они имели возможность для сопоставления.

«Первые дни по смерти тирана бывают счастливейшими для народов, ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий». Эта мысль направила молодых людей на сравнение Мухаммед-Рахима с Иваном Грозным, а Аллакули — с царем Федором.

Николай Федорович не хотел никаких аналогий и потому сказал:

— История поучительна сама по себе, и никогда не бывает так, чтобы один и тот же случай в точности повторился бы в другое время и в другом месте. История своей страны учит тому, как было и что из чего произошло, а история других государств учит тому, как это еще бывает, как может быть вообще.

Кажется, он зря так много комментировал. Молодые люди, хотя и слушали его, но немного тяготились этим. Им не терпелось знать, что будет дальше. Дальше историк писал о Борисе Годунове:

«Он был уже не временщик, не любимец, но владетель царства. Уверенный в Феодоре, Борис еще опасался завистников и врагов: для того хотел изумить их своим величием, чтобы они не дерзали и мыслить об его низвержении с такой высокой ступени, недоступной для обыкновенного честолюбия велимож-царедворцев. Действительно, изумленные, сии завистники и враги несколько времени злобились втайне, безмолвствуя, но вымышляя удар; а Годунов, с рвением души славобивой, устремился к великой цели; делами и общественной пользой оправдать доверенность царя, заслужить доверенность народа и признательность отечества. Пентархия, учрежденная Иоанном, как тень исчез-

ла: осталась древняя дума царская, где Мстиславский, Юрьев, Шуйский судили наряду с иными боярами, следуя мановению правителя: ибо так современники именovali Бориса, который один, в глазах России, смело правил рулем государственным, повелевал именем царским, но действовал своим умом, имея советников, но не имея ни совместников, ни товарищей.

Когда Феодор, утомленный мирским великолепием, искал отдохновения в набожности, когда, прервав блестящие забавы и пиры, в виде смиренного богомольца ходил пешком из монастыря в монастырь, в Лавру Сергиеву и в иные святые обители, вместе с супругою... в то время правительство уже неусыпно занималось важными делами государственными, исправляло злоупотребления власти, утверждало безопасность внутреннюю и внешнюю. Во всей России, как в счастливые времена князя Ивана Бельского и Адашева, сменили худых наместников, воевод и судей, избрав лучших, грозя казною за неправду, удвоили жалованье чиновников, чтобы они могли пристойно жить без лихоимства; вновь устроили войско и двинули туда, где надлежало восстановить честь оружия или спокойствие отечества. Начали с Казани...»

Казань совсем недалеко от Хивы. А там, в Москве, там все это и было: смерть грозного и свирепого монарха, слабый наследник, мудрый и добрый правитель, заботящийся о благоденствии подданных, смена плохих наместников и судей, искоренение взяточничества... Думая про это, уходили от Ельцова три молодых хивинца.

Вначале предполагалось, что занятия с грамотным русским невольником будут не чаще, чем раз в неделю, что займутся они изучением алфавита, правил грамматики, запоминанием слов. Книге без обложки предназначалась вспомогательная роль. Изучить язык попутно с историей, чем плохо?

Однако на следующее утро Шерали, ночевавший у Юсуфа, сказал:

— Он прав, этот невольник, история своей страны учит тому, как было и что из чего простекло, а история других государств — как это бывает, как может быть вообще. Сходства же я никакого не вижу. Наш кушбеги не походит на их правителя еще больше, чем

хан Аллакули на их слабого царя. Тот был добр, хотя и лишен истинной силы... А ты знаешь, Юсуф, наш управляющий Нияз-Ходжа купил этого русского совсем дешево. Неграмотный хорасанский мальчишка и тот дорожке стоил... Удачная сделка.

Ближе к вечеру пришел Азим.

— Я выучил все буквы, которые он показал, — сказал Азим. — Все десять букв. Смотрите!

Юсуф с Шерали удивились: про задание, которое дал им Ельцов, они забыли. И еще раз они удивились, когда Азим сказал то, о чем они не решались сказать.

— Надо взять какой-нибудь вкусной еды и пойти сейчас к этому человеку. Я могу сбегать на базар.

Николай Федорович отметил про себя, что молодых хивинцев больше другого заинтересовал пересказ истории убийства царевича Димитрия, мотивы этого убийства, устройство заговора, но удивляло их больше всего то возмущение, которое убийство царевича вызвало в Угличе и Москве. Шерали и Юсуф просили Николая Федоровича переводить подробнее про бунт в Угличе, про то, как расследовал убийство князь Шуйский.

— Вот вы говорите, что не надо сравнивать историю одной страны с историей другой, — сказал Николаю Федоровичу Шерали. — Но разве можно не сравнивать! У вас тайком убили одного больного мальчика, и такой базар поднялся на всю страну. Наш хан Мухаммед-Рахим десяток братьев своих убил, а племянников и не считал никто.

На одном из занятий Юсуф сказал Николаю Федоровичу:

— Вы не мусульманин, но когда мы говорим о вас между собой, мы все чаще называем вас словом «дом-ла» — наставник. Я не знаю слова точнее этого. Можно вас так называть?

— Не стоит, — возразил Ельцов. — В этом могут усмотреть кощунство, вас могут обвинить в измене своему богу. Я ведь знаю, как у вас тут казнят отступников.

Молодые люди занимались усердно и делали успехи в русском языке, а Ельцов испытывал позабытое уже честолюбивое волнение. Кто бы мог подумать, что здесь найдутся люди, с риском для собственного благо-

получия решившие изучать историю России! Вель и у себя на родине Николай Федорович часто бывал свидетелем полного безразличия к прошлому.

Однажды Юсуф сказал, что готов отдать половину жизни за одно путешествие в Россию. Шерали сказал, что на самом деле эта цена слишком высока, что его отец многое повидал в России, был в Астрахани и Тифлисе, но проку от этого мало.

— Сейчас другое время, — возразил Юсуф.

— Время другое, а люди те же. Все зависит от людей.

Из прочитанного Шерали больше всего заинтересовал Борис Годунов. Его государственная мудрость, стремление к добру и власть, которой он располагал при дворе, стали предметом детального обсуждения в разговорах двух молодых хивинцев. Им нравился царь Борис, и убийство недужного отрока они прощали ему.

Глава шестая

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ

Противостояние Марса Венере предвешало, что религия будет слабеть, что народ, знать и вельможи будут терпеть убытки.

Ахмад Дониш

I

Сегодня хан Аллакули проводил жаркое послеобеденное время в своем гареме. Каждая из его четырех жен имела отдельную комнату. Многие наложницы также имели отдельные комнатки похуже, но на заднем дворе.

Жены и наложницы хана Аллакули жили шумно и скандально, и только первая жена, тридцатилетняя Айгуль, дочь кочующего казахского султана, была далека от их склок.

В гареме шла непрерывная борьба за ханскую любовь, милость и подарки. А старшая жена презирала своего мужа. Ей не нужна была его любовь и его нич-

тожные подарки, она знала, что хан жадный и мелочный человек. Он был неприятен ей с первого дня.

Хан приходил к старшей жене редко и ненадолго, только в те часы, когда уставал повелевать, карать и развлекаться. Он ложился на грубую, цветастую кошму, смотрел на Айгуль, медлительно вышивающую золотом очередной бархатный камзол, на ее красивое, ничуть не постаревшее и совершенно спокойное лицо. Он знал: Айгуль единственный человек в ханстве, которому ничего не надо от повелителя. Главное, в ней не было злобы и не было любви.

Поэтому хан ей верил.

Два внуха, очень старый и очень молодой, сидели в тени большого навеса у крохотного каменного водоема и переглядывались, как бы говоря друг другу: «Принесла его нелегкая! Чего пришел?»

Евнухи заплыли жиром: старик — желтым и вялым, молодой — белым и пухлым, как взбитые сливки. Они давно обленились, потому что начальства над ними не было и никакая опасность гарему не угрожала. Положено хану иметь евнухов в гареме, заведено так у других, значит, и в Хиве надо.

Оба внуха были подарочные, бесплатные. Старшего прислал когда-то бухарский эмир отцу Аллакули, младшего преподнесли недавно ему самому ташкентские купцы, просившие беспошлинного прохода в Оренбург. Евнуха Аллакули принял, купцам обещал подумать.

В Хиве евнухам жилось неплохо. Они торговали на базаре изделиями, которые шили и вышивали шелком ханские жены и наложницы. На вырученные деньги они покупали узникам гарема нитки для новой работы; а также сладости и мясо, которых в гарем обычно отпускалось крайне мало.

Иногда, правда, евнухов вызывал к себе кушбег и спрашивал о чем-нибудь под большим секретом. Это случалось редко.

Хан лежал на кошме и разговаривал с первой женой о делах государственных. Она все знала про мужа, и ему незачем было казаться лучше, чем он был на самом деле.

— Если вы решили отобрать все подарки, которые ваш отец Мухаммед-Рахим сделал своим женам, вам придется оставить государственные дела. Женщины бу-

дут сопротивляться до последнего издыхания, чтобы не отдать серебряное колечко или кусок истертого шелка. Легче завоевать Индию, чем отнять кольцо у бывшей красавицы. Зря истратите силы.

— Я совсем не думаю об этом...

— Зачем же тогда ваши слуги мучили эту несчастную калмычку? Она кричала всю ночь, но так и не сказала, где ее хозяйка, младшая жена вашего отца, прячет дорогие подарки.

— Не подарки, — возразил резко Аллакули, — мой отец умер на руках у младшей жены, и это она похитила драгоценности.

Аллакули начал сердиться, но Айгуль не обращала на это внимания.

— Чем заниматься такими делами, лучше сходить в поход. Настоящему мужчине даже неудачный поход приносит славу. Поход прекратит и слухи. Их с каждым днем все больше.

Аллакули смотрел на свежее и с виду совершенно безмятежное лицо старшей жены и удивлялся ее уму и бесстрашию.

— Недавно я услышала, — продолжала Айгуль, — историю казни медника. Это было год назад, и напуганные люди тогда боялись говорить об этом. Однако нет ничего тайного, что бы не стало явным, — так говорят мудрецы.

Хан Аллакули сердито хмыкнул. Неужели эта история стала известна? Айгуль замолчала.

— Продолжайте! — сказал он.

— Зачем? — Айгуль смотрела на него равнодушно.

— Продолжайте, мне интересно, что врут.

— Вы нарушили обычай, вы казнили человека в праздник, вместо того чтобы помиловать его. Это был не раб, а вольный ремесленник, лучший медник в городе.

«Эх, если бы хоть один из моих визирей был так откровенен со мной!» — подумал было Аллакули и улыбнулся надменно. Ни одному не простил бы он такой откровенности.

— Так что же говорят?

— Говорят о святотатстве!

Еще год назад Аллакули боялся этих разговоров. Сейчас он понимал, что слухи о тайном разграблении священной могилы в Куңя-Ургенче сильно повредить ему

уже не смогут. Айгуль права. Через месяц он пойдет в поход, официально объявит себя падишахом, своим именем станет чеканить монету, и в мечетях будут за него молиться. Слухи слухами, а власть властью. Кроме того, живых свидетелей прошлогоднего гробокопательства почти нет.

Хотя хан приходил сюда, в гарем, для того, чтобы выслушивать вещи неприятные, и заранее был к этому готов, но слова старшей жены встревожили его. Он встал и, прихрамывая на затекшую ногу, пошел прочь. Не терпелось поговорить с кушбеги, еще раз нужно было подумать о тех, кто знал историю разграбления Куны-Ургенчского захоронения.

Первый министр Хивинского ханства встретил своего повелителя почтительно, но без удивления, как будто был предупрежден об этом визите заранее. В глубине большой террасы на низеньком столике под большим шелковым платком в глубоких чашах лежали фрукты и сладости, в серебряных вазочках — несколько сортов варенья. Кушбеги ловко откинул шелковый платок и к почетному месту придвинул три больших атласных подушки. Аллакули сел.

— Почему люди до сих пор вспоминают про Куны-Ургенч? — спросил хан.

Кушбеги не спешил с ответом. Он смотрел, как тощая оса ползет по бархатистому абрикосу. Лицо кушбеги, маленькое, бледное, с очень редкой, в несколько волосков, бородой на непропорционально тяжелой нижней челюсти и редкими «китайскими» усами, было бесстрастным.

— Почему до сих пор говорят? — снова спросил хан.

— Болтают... — ответил кушбеги. — Но это не страшно, они говорят с глазу на глаз и чаще всего шепотом. Вслух не осмеливаются.

— Не хочу, чтоб болтали!

Кушбеги промолчал.

— Я не хочу, чтоб они болтали!

Кушбеги пожал плечами.

— Что нужно сделать, чтобы они молчали? — раздраженно спросил Аллакули.

— Сейчас очень трудно. Трудно это сделать. В прошлом году я просил у вас разрешения казнить медника со всей его семьей. Это больше бы напугало людей.

— Безбородый дурак! — рассердился хан. — Я не возражал против смерти, но зачем ты вспоминаешь глупость, которую сам сделал. Все говорят, что я нарушил обычай: казнил в день прощения.

— Только великим дано право нарушать обычаи, потому что великие устанавливают их. Наш народ любит жестокость, хотя ему кажется, что он любит милосердие.

— А что было, если бы я казнил всю семью? Разве его жена и дети знали то, что знал сам медник?

— Нет, жена и сын не знали. Тогда еще не знали.

— А теперь?

Кушбеги взял абрикос, на котором сидела оса, и осторожно сдул ее.

— Теперь об этом знают многие, и всех не казнишь. Все знают, но никто не сможет свидетельствовать. Вспомните, у нас ведь не было другого выхода.

Кушбеги был по-своему прав. Вступив на престол по смерти отца, Аллакули обнаружил, что казна его пуста. Он искал всех, кто мог быть причастен к разграблению государственных, то есть его личных богатств. Он отнимал драгоценности, подаренные отцом своим женам, друзьям и слугам.

Это не спасло положения. Молодому хану предстояло покупать себе новых сторонников, строить мечети, проявлять щедрость и собирать войско для необходимой войны, а отцовская казна, на которую он так надеялся, была пуста. Вот тогда-то кушбеги и предложил план разграбления священной могилы недалеко от Куня-Ургенча. Кто мог думать, что получится так скверно!

Ведь говорили, что могила эта древняя, что ей несколько тысяч лет, и хорезмийцы поклонялись ей задолго до того, как мусульманский полководец Кутейба-ибн-Муслим принес ислам в Хиву. Но и во времена господства ислама люди поклонялись одиноко стоящему кургану, поросшему жестким редким кустарником и имеющему странные выступы, похожие на ребра. Издавна считалось, что в этой могиле заключены несметные сокровища, но всякий, кто покусится на них, умрет мучительной смертью... Что ж, сбылось: невольники, копавшие там землю, были казнены.

План, который предложил кушбеги, был прост, это и

понравилось хану. Десять наиболее крепких персидских невольников под покровом ночи и под надежной охраной были доставлены к этому кургану, и сам кушбеги, закрыв лицо, чтоб его не узнали, показал невольникам, где рыть. Рабы трудились усердно и к рассвету выкопали глубокий коридор, ведущий в глубь кургана.

Идея разграбления кургана, которой так гордился кушбеги, пришла, видимо, не ему первому. Древняя могила оказалась уже разграбленной. Весь день и следующую ночь продолжались поиски спрятанных сокровищ. Были найдены глиняные сосуды и блюда, лук и колчан со стрелами.

Вскоре возле кургана валялась груда человеческих и лошадиных костей. Усталые невольники клялись, что внутри могилы больше ничего нет, но стражники и кушбеги гнали их обратно, и они возвращались с новыми находками, не имевшими никакой цены.

На рассвете второго дня один из невольников вынес из могилы маленький, но тяжелый предмет. Это было изображение какого-то древнего бога, и, судя по всему, божок был золотой. находка воодушевила кушбеги. Еще двое суток рылись грабители в могиле, но ничего ценного больше не нашли.

По пути в Хиву кушбеги приказал казнить невольников, ибо, как он объяснил стражникам, должно же осуществиться древнее поверье, и тот, кто грабил могилу, должен быть наказан смертью. К сожалению, древний курган не поправил финансовых дел Хивинского государства.

Некоторое время хан и кушбеги ждали кары небесной, но аллах не наказал никого, кроме тех десяти рабов.

Вспомнив все по порядку, хан решил, что беспокоился он напрасно, а кушбеги напомнить об этом стоило: пусть помнит свой позор. Не забыл хан и того, что плавать золото кушбеги собирался тайком.

У входа на террасу появился дворецкий кушбеги и стал делать своему хозяину какие-то непонятные знаки. Кушбеги отмахнулся.

— В чем дело? — спросил хан.

— Не беспокойтесь, ваше величество, — сказал кушбеги. — Меня ждут несколько дервишей. Я разговаривал с ними, когда вы пришли. Я распорядился, чтоб им дали еды. Они подождут.

— А зачем ты кормишь дервишей? Чтоб они молились за тебя? Хочешь попасть в рай?

— Для меня рай только один: благоденствие вашего величества.

— Говори, в чем дело? — приказал хан. Он с детства боялся дервишей, ибо был суеверным.

— Я хотел рассказать вам потом, когда дело сладится. Они поставляют ценный товар...

— Я хочу посмотреть на них.

Два оборванца, грязные и косматые, сидели в уютной комнате на дорогом ковре и доедали большое блюдо плова. Они не обратили внимания на вошедших, но ни хан, ни кушбегги этому не удивились. Дервиши могут не оказывать знаков уважения земным властям — только всевышний имеет власть над ними.

Аллакули с любопытством смотрел, как насыщаются странствующие монахи, умертвившие свою плоть во имя бога. Доев плов, собрав с блюда последние рисинки, дервиши обсосали пальцы и вытерли их о волосы. Потом они произнесли положенную молитву и только тогда приподнялись с ковра, как бы приглашая вошедших сесть рядом с ними.

После приветственных слов, ритуальных вопросов о самочувствии и дороге разговор довольно быстро принял деловой характер. Хан с удивлением слушал разговор кушбегги со старшим из этих двух, широкоплечим, костлявым человеком лет пятидесяти. Оказывается, дервиши, отрешенные от жизни, вели переговоры об улучшении торговли табаком, гашишем и опиумом. А кушбегги, обязуясь помогать в доставке и хранении товаров, гарантируя безопасность от грабителей в дороге, а также от таможи и стражников в пределах Хивинского ханства выговаривал солидный процент с оборота. Сначала хан хмурился, потом понял.

По всей Средней Азии, а особенно в Бухаре и Хиве, религия относит табак к опьяняющим средствам, а так как Коран запрещает мусульманам все виды опьянения, то правительство и духовенство преследуют курильщиков, равно как и пьяниц. Аллакули прекрасно помнил, что отец его издал закон, по которому курильщикам разрезали рот от уха до уха. Но еще будучи наследником, Аллакули удивлялся тому, что ни один нарушитель закона не был подвергнут этой экзекуции.

С раннего детства Аллакули помнил запах табака и гашиша, который доносился из келий духовников, из комнат, где отдыхала стража, и даже из гарема. Сам Аллакули не курил, у него от этого сразу начинала болеть голова.

Аллакули любил выпить. Это наслаждение он позволял себе все чаще и чаще. За пьянство он и преследовать никого не смог бы. А если бы и смог, то скрепя сердце. Не достигнув тридцати лет, хан был законченным алкоголиком.

Совсем другое дело табак, гашиш, опиум. То, что при дворе нарушают установления ислама в отношении курения, еще ничего не значит, а вот то, что наряду с существованием самых строгих законов против курильщиков, наряду с проклятиями в их адрес, которые каждый день раздавались в мечетях, то, что наряду с этим спокойно и без шума существовали табачные лавки,— это хан понял только сейчас. Оказалось, что за несколько лет ни один торговец не был наказан и что какой-то процент с торговли табаком, гашишем и опиумом исправно идет в казну, правда, через руки самого кушбеги и верховного судьи.

Аллакули сейчас беспокоила новая мысль: какая же часть этих доходов со всех явных и тайных видов торговли поступает в казну? Природная подозрительность подсказала, что в казну поступает совсем мало. Хан, прищурившись, поглядел на кушбеги, на его большую челюсть и редкую бородавку. Хан понял, что в казну поступает еще меньшая часть денег, чем ему показалось минутой раньше.

Подали чай с бухарскими сладостями, блюдо изюма поставили рядом. Кушбеги предложил дервишам кальян. Старший ответил, еще раз удивив хана:

— Мы не опьяняем табаком. Аллах запретил, да и для здоровья это вредно.

Выпив по пиале чая, дервиши встали, сказав, что наступает час, когда они должны побыть наедине с аллахом. В их бсанке и словах было что-то, заставившее хана и кушбеги тоже подняться с ковра и проводить гостей до ступенек.

— Ваше величество понравились им,— сказал кушбеги хану.

Аллакули промолчал. Ему было приятно, что он понравился этим святым людям.

Оставшись наедине со своим первым министром, хан вдруг испытал прилив злости. Ему хотелось ударить кушбеги ногой в пах. И он бы ударил его, найдя любой повод, но они уже сидели у дастархана. Не вставать же для этого! Кушбеги уловил настроение повелителя и громко щелкнул пальцами.

Сразу же вошел слуга, неся на большом блюде кувшин с кишмишевой водкой.

Хан выпил пиалу, и через минуту злость стала проходить.

— Ваше величество,— сказал кушбеги,— дервиши заключили большую сделку. Я официально объяснил, что за торговлю табаком преследовать их не будем. Надо, чтобы и в мечетях об этом меньше орали. Наши муллы так кричат о наказании за курение, что многие верят. Пусть торговцы знают, что это не так. И пусть разрешат им хвалить свой товар на базаре. Пусть не боятся кричать, как другие торговцы.

— А какой мы получим доход? — спросил хан.

Кушбеги был готов к ответу. Он все держал в памяти, и получалось, что со временем доход от продажи табака и гашиша превысит все остальные доходы.

Хан остерегал себя, хитрому кушбеги верить не следует, но даже если он сильно преувеличивает, то все равно надо четко дать понять торговцам, что хан милостив к этой человеческой слабости. Пусть люди курят.

Кушбеги налил хану водки, потом, убедившись, что гнев повелителя прошел, налил и себе. Выпили.

— Хорошая водка,— сказал хан.— Я такую давно не пил. Как русская.

— Это тоже подарок дервишей. Из Ташкента привезли,— объяснил кушбеги.

— Надо и нам такую делать. Наша очень уж мутна. И воняет сильно. Займись этим.

Кушбеги обещал все сделать, сказал, что и сам собирался, но не смел без ханского соизволения.

Потом кушбеги налил еще. Хан пьянел быстро, кушбеги подливал. Через час повелитель мира падишах Аллакули храпел, запрокинувшись между подушек.

Глава седьмая

ФОРТНА ВАСИЛИЯ ЕВРОПКИНА, ИЛИ ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ

Литва ли, Русь ли, что гудок, что
гусли: все нам равно, было бы вино...

А. Пушкин. Борис Годунов

I

Ханский арсенал нуждался в пополнении новым оружием и в ремонте почти всего, что имелось в наличии. Умелых рук не хватало, мастеров затребовали из других городов, удвоили невольникам приварок и выдавали лишнюю лепешку. Всем стало полегче, один Васька Европкин пребывал в унынии. На литейном дворе Васька держался только словом Анны Васильевны да тяжелой рукой Федьки Грушина: ни по-слесарному, ни по-кузнечному, ни по-оружейному делу он не годился.

Хоть и не выгоняли Ваську, хоть и не заставляли слишком ломать спину, но помыкали и посмеивались все: мастеровые — народ ехидный, а Васька ничего не умел и способности обучиться не проявил. Потомственный камердинер рода Ельцовых был рожден для угожденья или безделья.

Когда на литейном дворе появился кузнец Матвей, присланный из курганчи «Добро пожаловать» для подмоги ханским мастерам, Ваську определили к нему в подручные. Так заведено, что новенькому всегда подсунут чего другим не надо: худший горн оставят, место для спанья на самом проходе, в подмастерья вахлака определяют.

Невзрачный и хмурый Матвей и не ждал хорошего; подручного своего понял с первого часа. Кувалда в руках Европкина вихлялась, бил он слабо и неточно, а пот с него тек ручьями.

Однако Матвей никому не пожаловался на такое начало работы и Ваську не ругал. Матвеевского мастерства хватало на то, чтобы с таким подмастерьем все, что надо, успевать. Не устраивало Матвея в Европкине, что из него не получался собеседник, вернее, слушатель. Все свободные часы Васька проводил подле Анны Васильевны и Федьки.

А Матвею было о чем поговорить, что рассказать. Иногда природа наделяет человека большой любовью к пению, но вовсе лишает музыкального слуха. И поет себе человек, вызывая страдания у родных, соседей и друзей. Бывает и так, что человек, рожденный для того, чтобы дирижировать большим церковным хором, всю жизнь шьет конскую сбрую. Судьба, говорим мы. Против судьбы не попрешь.

Матвей Григорьев был потомственный кузнец по отцу, а по матери — из рода слесарей. Он родился для тонкой и умной работы с черными и цветными металлами. Он любил свое дело, ибо без любви невозможно делать его хорошо. Без любви нельзя мочь. Все в работе получалось у Матвея само собой, и потому, наверное, он в грош не ставил свой талант. Матвей стремился к объяснению общих закономерностей жизни людей. Легко и ясно понимая любое сложное производство и работу машин, Матвей не мог примириться с тем, что в мире человеческом не находится той целесообразности и полезного итога, которые существовали в его железном деле. С точки зрения Матвея Григорьева, зло заключалось в том, что люди по лени своей не хотят понять какого-то важного, главного, но единственного закона. Между тем все может быть простым и ясным, если люди признают над собой единого хозяина, который за всем следит, за каждое прегрешение накажет, за доброе отблагодарит.

Он не жаждал какой-то новой веры, а хотел понять, почему в его исконно русской православной религии не все хорошо, не все правильно, не все по справедливости. Он мерил жизнь своим умом, сверял ее с книгами и в первую очередь с Библией. Он хотел, чтобы жизнь соответствовала написанному, и страдал, потому что это бывало редко. Возможно, что из Матвея Григорьева мог был получиться великий еретик, а то и основатель новой религии, как Лютер или Кальвин, но пермский кузнец не желал идти в пастыри человеческие. Он хотел, чтобы за него решали, чтобы его вели за собой, чтобы выбор делали другие.

Именно нежелание самому выбирать дорогу и завело Матвея за Каспийское и Аральское море. Виновата была жажда беспредельной веры и мешающая этой вере дотошность.

Еще мальчиком в родной Перми показал он себя добрым подмастерьем. Старые кузнецы любили его, прощая то, что он чаще других бегал в церковь и в кузне шептал молитвы к месту и не к месту.

Лет пятнадцати Матвей знал уже все церковные службы, пел на клиросе, а по вечерам приходил помогать в хозяйстве сорокалетнему лысому и краснорожему приходскому священнику отцу Давыду. Все он сделал в доме новое, что было по его железной части: навесы фигурные на ворота, петли дверные и оконные, задвижки, замки навесные и внутренние, тарантас поповский обновил, для кухни утварь изготовил.

Тихо так зайдет, бывало, попадье поклонится, а к самому батюшке и не заглянет, трудится все на дворе. За эту робость поп и полюбил Матвея. Сначала из милости приглашал его выпивать, потом это в потребность вошло. Матвей, происходивший из семьи аккуратной и непьющей, из уважения к батюшке выпивал стопку-другую, а хозяин, чем больше пил, тем больше проникался любовью к молодому кузнецу.

— Брось ты, Матвей, это дело, брось! Обличье твое подходящее, морда постная, голос получше моего, службы знаешь, памятлив. Брось дело свое, иди ко мне в причетники, потом женишься, дьяконом станешь со временем и священство обретешь. Будешь ты с господом нашим, отцом вседержителем, разговаривать вот как сейчас я с тобой. Ты ему что хошь говори, любую глупость, а он смолчит...

Матвей вздрогнул от такого кощунства. Отец Давыд понял это по-своему.

— А чего? Ты вот со мной говоришь, сидишь со мной за столом и видишь меня рядышком. Правда, теперь не ты со мной говоришь, а я с тобой. Ты только спрашиваешь, а я объясняю. Потому, если признаться, мне с тобой говорить лучше, чем с богом. Я, пока тебе что-либо объясняю, и сам пойму...— Отец Давыд тихо посмеялся своей шутке. — А с господом нашим, вседержителем волосатым, у меня разговор короткий. Говорю я с ним обычно с похмелья. Я его спрашиваю, а он молчит. Он всегда молчит у нас. Я ему говорю: что ж ты молчишь? На земле дым коромыслом, греховность цветет и подлость смердит, а он молчит. Почему молчит? Ну-ка скажи, Матвей, почему?

— Веру нашу испытывает, — отвечал Матвей. — И потом, не со всяким он говорить будет. Время у его нет с каждым говорить.

— «Время у его нет!» — передразнил Матвея отец Давыд. — Ты пойми. Жизнь так устроена, что чем человек главнее, тем больше у него времени. У крестьянина свободного времени меньше, чем у тебя. У тебя меньше, чем у меня; у меня — чем у архиерея. Так что у бога времени мешок! Мог бы и поговорить.

Матвею слова священника не нравились. Такую простоту в суждениях о всевышнем он не простил бы никому. Батюшке, однако, должен был прощать. А отец Давыд продолжал разглагольствовать. Он еще выпивал, съедал десяток пельменей и вовсе раздражался хмурым видом и молчанием своего собеседника.

— Не для веры человек создан и не для сомнений. Человек создан, чтобы есть, иначе для чего же он внутри пуст?

Матвей все молчал, не пил, не ел и на батюшку старался не глядеть.

Так бывало часто, и разговоры, которые вел батюшка с Матвеем, с каждым разом делались все вольнее и вольнее. Отцу Давыду доставляло наслаждение бить этого молодого, крепкого и спокойного парня по самому больному — по его чистой вере. Может быть, была в этом любовь к истине, проявлявшаяся столь странно, а скорее всего, самоутверждение и к тому же издевательство над чужой душевной чистотой. Вот, мол, я, плюгавенький, лысый, никчемный, а сан имею. Я для тебя святой почти что, все могу растоптать и оплевать.

Матвей долго слушал отца Давыда, никогда не возражал, терпел до престольного праздника, до Ильина дня. А в Ильин день стоял на молебне, смотрел на елейную рожу отца Давыда, а потом в какой-то миг нашло на него затмение, сбежал он с клироса и закричал молящимся, что поп у них неверующий, что он срамит бога и не слуга он божий, а пес смердящий.

Староста да псаломщик схватили Матвея, стали из церкви выталкивать, но он от них отбилсЯ и, разъяренный, подскочил к священнику и плюнул ему в лицо. Было бы Матвею плохо, но сочли, что он по пьянке буянил, не засудили.

После этого пошел Матвей вниз по Каме, деля хлеб

то с рыбаками, то с бурлаками. А потом вниз по Волге. В каждом городе и в каждом селе ходил по церквям, ища такого батюшку, чтоб поверить в него сразу и забыть все те сомнения, которые вселил в него проклятый поп Давыд.

Не удавалось ему это. То в словах, то в жестах, то во взгляде чудилось Матвею кощунство, и жажда незамутненной веры гнала и гнала его вниз по Волге.

Много видел Матвей, о многом передумал. Узнал, что есть вера без попов и церквей. И этого попробовал. Всею душой хотел обойтись без попов и церквей, не вышло. Понял он, что нельзя верить в одиночку, нужно стадо. Стаду же нужен пастырь, без пастыря нельзя.

Смолоду был верующим, а здесь, в Хиве, в басурманском краю, и вовсе одной только верой жил. Казалось ему, что и остальные вокруг веровать жаждут, ибо русский человек через каждое слово бога поминает.

Подмастерье быстро разгадал, в чем слабость мастера, и, чтобы увильнуть от тяжелой работы, иногда заговаривал про божественное. Матвея интересовали заграничные религии: лютеране и католики. Однако Васька ничего толком рассказать не мог, хотя однажды видел папу римского в карете. Васька сбивался на разговор о тамошней жизни, как люди одеваются, что едят и пьют. Матвей слушал внимательно и догадывался про себя, что и там за границей нет настоящей веры в бога и нет божьей справедливости. Впрочем, так оно и должно быть. Он заведомо решил, что самая лучшая вера православная, но попов надо подбирать получше, почестнее и поумнее.

Однажды Васька вечером вернулся от Анны Васильевны раньше обычного.

— Матвей Григорыч, — спросил он кузнеца. — Ты говорил, будто на винокуренном заводе служил, это точно или я недослышал?

— Дослышал, — сказал Матвей. — Про плохое ты всегда дослышишь. У тебя так уши устроены.

— А смог бы ты сам винокурением заниматься?

— Еще чего! — сказал Матвей.

— Ну, а кабы приспичило?

— Да уж куда более...

— Понятное дело, — кивнул Васька. — Коли душа

не лежит, то себя не переневолишь. Вот я бы с радостью, только это не моего ума химия. Химия ведь!

— Какая же там химия, — усмехнулся Матвей. — Самогон в каждой деревне гонят, а на заводе только чуть толковее.

Так уж получалось, что Матвей досконально знал любое дело, в котором принимал участие как работник. На винокуренном заводе он клепал перегонные кубы и паял змеевики для холодильников, но на вопрос Васьки стал подробно рассказывать про то, из чего можно гнать водку, как изготовлять затир, о солоде, о квасильных чанах, о перегонных устройствах, о том, что дает вторичная перегонка спирта и как следует окончательный продукт очищать при помощи древесного угля.

Если бы Васька мог запомнить все это! Но он и не старался, он думал: значит, есть люди знающие, не боги горшки-то обжигают.

Легли спать, а наутро Матвей и забыл про вчерашний разговор, как вдруг среди дня старшой по литейному велел кончать работу и идти на монетный двор. Матвей чуть припоздал, не хотел второй раз болванку нагревать: гвозди ковал пушечный лафет сколачивать. Глупо гвоздями сколачивать старый пушечный лафет, да и к чему пушку в поход тащить! А уж коли тащить, то не на таких тонких колесах, а на широких, чтобы в песке не увязали.

Все мастера — литейщики, кузнецы, чеканщики, — весь мастеровой русский люд в этот час был собран на монетном дворе, через калитку от литейного. Матвей и не понял сразу, что они делают. Стояли полукругом, тихо, как на молитве, однако перед ними вельможа хивинский и толмач какой-то.

Вельможа был на вид невзрачный, но говорил важно и обещал много. Это был сам кушбег. Он говорил о том, что в связи со смертью прежнего ханского винокура требуется винокур новый, самый умелый, могущий делать водку не хуже той, которую в Астрахани и Оренбурге пьют. Не хуже той, которую продают в стеклянных бутылках с бумажной наклейкой.

— Тьфу ты, бесовское наваждение, — шепотом ругнулся Матвей. — Каждый раз про дерьмо какое-нибудь, а я слушать должен.

— Ну, — сказал кушбеги, — кто из вас может делать хорошую водку, пусть признается. Если кто обманет, обдеру шкуру.

Все молчали, не поняв, за что кушбеги обещается содрать шкуру: за утайку своего умения или за обман и самозванство? Однако молчание длилось не слишком долго.

— Я могу, ваше сиятельство! — услышал Матвей голос своего подручного и увидел, как Васька смело шагнул навстречу кушбеги. — Я могу, ваше сиятельство, состоял прежде камердинером, видел, как важные господа пьют, сам пил, и, как русский человек, душу этого дела знаю. Чего не знаю, то люди подскажут.

В толпе мастеровых кто-то засмеялся. Усмехнулся про себя и Матвей.

В тот день Васька Европкин сделал важный шаг к самостоятельной жизни. Риск большой, однако надеялся Васька сейчас на Анну Васильевну, и на Федьку, а еще на авось.

Глава восьмая

ТОМЛЕНЬЕ УПОВАНИЯ

Лестница науки не имеет конца, ибо никогда полностью не совпадут две мысли, даже если обе правильные и одна не противоречит другой. То, что усваивает ученик, не тождественно мысли учителя...

Ахмад Дониш

1

Чтение «Истории Государства Российского» и обсуждение прочитанного, экскурсии в историю политики других стран, в историю религии и философии стали потребностью для трех молодых хивинцев и для самого Николая Федоровича Ельцова.

Иногда, понимая, что он льстит себе, Николай Федорович сравнивал себя с неким афинским философом, который создал науку и распространял просвещение в вольных беседах с небольшой группой близких людей. Иден Жан Жака Руссо, которые были впитаны

представителями образованной части русского дворянства в юношеском возрасте, эти идеи, по мнению Николая Федоровича, находили подтверждение здесь, в Хиве. Дети чужой природы, происхождения и среды оказывались восприимчивы к высоким идеалам свободы, равенства и братства, были чисты в своих помыслах и благородны в устремлениях.

Ельцову казалось, что им должно быть понятно все то, что понятно их ровесникам в Европе. Однажды он даже решился рассказать молодым людям о Пушкине и перевести стихотворение «К Чаадаеву». Не все, а лишь самые любимые строки:

Мы ждем с томлением упования
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуту верного свиданья.

И далее, делая ударение на слове «пока»:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг! Отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.

Николай Федорович не мог ручаться, что сумел донести в переводе обаяние пушкинского стиха, но мысль о том, что долг молодых людей, пока они молоды, стремиться к свободе и заботиться о чести своей отчизны, эту мысль он, кажется, сумел разъяснить.

Ельцов видел, как не похожи три его слушателя друг на друга.

Молчаливый и сдержанный медник Азим с четко выраженным интересом к естественным наукам, педантичный и въедливый, казался Ельцову добросовестным немецким студентом. Ельцов про себя так и называл его, думая: «Этот немец опять замучает вопросами».

Как многие молодые люди его круга, Николай Федорович выслушал да и позабыл сразу почти все то, что должен был знать из математики, астрономии и других серьезных наук. То есть он знал все, что положено, но лишь в общих чертах: земля имеет форму шара, угол падения равен углу отражения; тело, погру-

женное в воду... Азим же требовал точного знания. Николай Федорович однажды почувствовал, как теряет авторитет в глазах этого азиата. Рассказав о новейших изобретениях в Европе, Николай Федорович упомянул и о паровой машине. Азим слышал об этом раньше и стал подробно расспрашивать о ее устройстве. Все, что касается огня и пара, Николай Федорович разъяснил, а вот устройство паровой машины, как она работает, объяснить не мог. Он смутно помнил, что там есть цилиндр, шатун и поршень. Но поршень ли давит на пар или пар давит на поршень, как этот пар попадает в цилиндр и как он из него выходит, Николай Федорович забыл.

На другой день Азим пришел к Ельцову в неурочный час и сказал:

— Я вам помогу вспомнить.— Он нарисовал на земле цилиндр, поршень и шатун и сказал Ельцову:— Ясно, что пар давит на поршень, потому что пар обладает силой. Поршень идет сюда и крутит колесо. Тут вы не сомневайтесь. Тут точно. Постарайтесь, учитель, вспомнить только две вещи: как из котла, где кипит вода, пар попадает в цилиндр. И второе: почему цилиндр под давлением пара идет в одну сторону — понятно, а какая сила заставляет его вернуться в прежнее положение — это хорошо бы вам вспомнить. Постарайтесь, учитель. Это важно.

Николай Федорович добросовестно пытался вспомнить это, но не смог. Да и не к чему это. Пар давит на поршень, поршень крутит колесо. Как крутит? Какая разница — важно, что крутит. Ведь не врет же он, сам видел паровую машину. Не врет же он мальчишке.

Легче всего Николай Федорович находил общий язык с Юсуфом. Это было классическое соотношение: уважаемый учитель и любимый ученик. Юсуф обладал блестящей памятью и способностью сопоставлять вещи, казалось бы, несопоставимые. От Юсуфа Ельцов узнал о великих ученых и поэтах Средней Азии, об Улугбеке, Бируни, Навои. Так Юсуф платил своему учителю и за «Историю Государства Российского», и за те бесчисленные комментарии из истории древнего мира и стран Западной Европы, которые привлекал Ельцов для пояснения мыслей Н. М. Карамзина.

Помощник начальника ханской канцелярии, сын почтенного и правоверного муллы, Юсуф мало интересовался политикой и отчетливо понимал, что государство, в котором он живет, больше всего и в первую очередь нуждается в образовании. А сына тысячника очень интересовала политика.

Ельцов видел, что все три его ученика постепенно оказываются в некой пассивной оппозиции к существующему в Хиве строю. И если «оппозиция» здесь слишком сильное слово, то, во всяком случае, недовольство устройством жизни и порядком вещей было налицо. У Азима имелись на то свои веские причины, Юсуф же исходил из другого: несправедливость, которую он видел здесь ежедневно, оскорбляла его нравственное чувство. А главное преступление власть имущих он видел в том, что они препятствуют образованию. Единственно прямой аналогией, которую он почерпнул из Карамзина, были слова Флетчера: «...Цари вообще не доброхотствуют к народному образованию; не любят новостей, не пускают к себе иностранцев, кроме людей нужных для их службы, и не дозволяют подданным выезжать из отечества, боясь просвещения, к коему россияне весьма способны, имея много ума природного, заметного и в самих детях: одни послы или беглецы российские являются изредка в Европе».

— О, домла! — воскликнул Юсуф, выслушав эти слова. — Это совсем как у нас в Хиве, и если так будет продолжаться, мы лишимся нашего будущего, а потом и нашего прошлого. Скажите, пожалуйста, каким же путем Россия избавилась от этого своего недостатка?

Николай Федорович рассказывал Юсуфу о реформах Петра, о золотом веке Екатерины, о влиянии Великой французской революции на русское дворянство. В Юсуфе Ельцов видел юность тех своих сверстников и друзей, к коим не примкнул в лучшие годы, когда создавался «Союз благоденствия». Эта же вот самая восторженность и романтическая пылкость, слишком уж страстное отношение к справедливости останавливали Николая Федоровича тогда. И сегодня, твердо зная, что Юсуф его любимый ученик, он стыдился своей любви к нему, как слабости.

Твердость, воля к победе, политическая гибкость и трезвое отношение к обстоятельствам казались Ель-

цову наиболее человеческими свойствами. Эти качества Николай Федорович видел в Шерали. Во Франции это был бы Дантон.

Сегодня Шерали пришел прощаться, возможно, на следующем занятии он не сможет присутствовать, ибо уйдет в поход.

Они уже закончили историю царствования Феодора Иоанновича и читали теперь о пострижении царицы Ирины:

«...Граждане собором пали пред венценосною вдовою, плакали неутешно, называли ее матерью и заклинали не оставлять их в ужасном сиротстве; но царица, дотоле всегда мягкосердая, не тронулась молением слезным: ответствовала, что воля ее неизменна и что государством будут править бояре, вместе с патриархом, до того времени, когда успеют собраться в Москве все чины российской державы, чтобы решить судьбу отечества по вдохновению божию. В тот же день Ирина выехала из дворца Кремлевского в Новодевичий монастырь и под именем Александры вступила в сан инокини, Россия осталась без главы, а Москва в тревоге, в волнении...

Где был Годунов и что делал? Заключился в монастыре с сестрою, плакал и молился с нею. Казалось, что он, подобно ей, отвергнул мир, величие, власть, кормило государственное и предал Россию в жертву бурям; но кормчий неусыпно бодрствовал, и Годунов в тесной келии монастырской твердой рукою держал царство!»

Ельцов посмотрел поверх книги. Чинно сидели три его ученика, воспитанные в уважении к старшим. Ельцов передохнул, еще раз просмотрел текст, ибо переводил с листа и боялся, что перевел плохо.

И тут, явно нарушая обычай, Шерали сказал:

— Дальше, пожалуйста!

Ельцов, однако, не мог отказать себе в удовольствии поговорить о прочитанном.

— Интересно? Ты совершенно прав, Шерали. Карьера Годунова, если проследить ее внимательно, может научить пониманию того, что достичь благую цель дурными средствами никому еще не удавалось.

— Простите, учитель, я не понял...

Это право говорить учителю «я не понял» было са-

мым главным, что отличало школу Ельцова от всех других школ Хивы.

— А ты понял, Юсуф? — спросил Николай Федорович.

— Кажется, понял. Это значит, что нельзя, воруя, достичь честности, что нельзя путем несправедливости утвердить справедливость.

— А ты, Азим?

— Я думаю, что тот, кто полжизни лжет и подличает, ворует и убивает, тот и вторую половину жизни проживет так же.

Ельцов посмотрел на Шерали.

— Я понял, о чем здесь говорили, — сказал тот, — но это спорно.

— Да, конечно, в определенном смысле спорно, бывало так, что люди менялись на протяжении жизни, — возразил Ельцов. — А вопрос о цели и средствах очень старый, возникший еще до иезуитов и не решенный до сих пор.

— «Сведая о пострижении Ирины, — читал дальше Николай Федорович, — духовенство, чиновники и граждане собрались в Кремле, где государственный дьяк и печатник, Василий Шелкалов, представив им вредные следствия безначалия, требовал, чтобы они целовали крест на имя думы боярской. Никто не хотел слышать о том, все кричали: «Не знаем ни князей, ни бояр; знаем только царицу: ей мы дали присягу и другой не дадим никому: она и в черницах мать России». Печатник советовался с вельможами, снова вышел к гражданам и сказал, что царица, оставив свет, уже не занимается делами царства и что народ должен присягнуть боярам, если не хочет видеть государственного разрушения. Единогласным ответом было: «И так да царствует брат ее». Никто не дерзнул противоречить, ни безмолствовать, все восклицали: «Да здравствует отец наш, Борис Федорович! Он будет пресмником матери нашей царицы!» Немедленно, всем собором, пошли в монастырь Новодевичий...»

— Он добился своего! — восхитился Шерали, забегающая вперед.

— Да, он добился, — кивнул Ельцов, предвкушая, что будет, когда ученики узнают про Годунова все до конца. Он продолжал чтение: — «Иов обратился к Году-

нову, смиренно предлагая ему корону, называл его свыше избранным для возобновления царского корня в России, единственным наследником трона после зятя и друга, обязанного всеми успехами своего владчества Борисовой мудрости. Так свершилось желание властолюбца...»

Глава девятая

В ПОХОДЕ И ДОМА

В пурпур кровавый рядятся тираны всех стран иском,
Кровью противников слабых себя утверждают они.

Бедильо

I

Есть много способов угадать будущее. Есть и специалисты, которым гадание приносит пропитание и почет. Только покой для предсказателя будущего — вещь невозможная. Надо предсказывать только хорошее, а хорошее сбывается редко. Хочется говорить о будущем туманно, а повелители требуют ясности. А если предсказание не сбудется?

Перед тем как совершить великое деяние, каждый восточный государь обращался к предсказателям будущего. Сделал это и хан Аллакули. Начали с простых способов: гадали на бараньей лопатке — получалось, что ждет победа. Потом — на стрелах. Получалось, что поход будет удачным, хан вернется здоровым, добыча будет большой. Потом гадали по Корану. Хан сам прочитал молитву, потом поднес книгу ко лбу, раскрыл ее наугад и посмотрел первую букву первой строки. Затем отсчитал седьмую строку, затем седьмую страницу и на ней тоже седьмую строку. Смысл написанного на этих страницах и в этих строчках во внимание не принимается, имеют значение только начальные буквы строк. На основании этих букв обычно и делается суждение о наиболее вероятном будущем.

В особо ответственных случаях присутствовать при таком гадании приглашают наиболее почтенных священнослужителей и знатоков ислама. В этот раз среди приглашенных оказался и мулла Карим.

Когда имам соборной мечети, старейшина среди

мулла, возгласил, что начальные буквы, добытые в результате гадания, складываются в слово «победа», мулла Карим с трудом сдержал сердитый кашель. Он не верил в гадание, даже в гадание по Корану. Мулла Карим считал, что уж коли хозяином судеб человеческих является сам аллах, то проникать в замыслы божьи, даже путем гадания по священной книге, то же самое, что подглядывать в щелочку и подслушивать чужой разговор. Тем не менее, когда все присутствующие знатоки священного писания подтвердили, что гадание предвещает победу, мулла Карим возражать не стал.

Предсказание священнослужителей воодушевило хана Аллакули. Было приказано в срочном порядке готовить амуницию, проверить вооружение, распределить обязанности, подготовить лошадей, опробовать пушки.

Весть о походе взбудоражила ханство. Служивый люд и все те, кто мог претендовать на сословные привилегии, кто считал себя благородным по рождению и имел право не платить налоги в компенсацию за обязанность защищать отечество с оружием в руках, вернее, нападать на соседей,— все пребывали в суете и предвкушениях. Аллакули обещал, что после похода начнется великое строительство в Хиве, что рабов станет поболее, что давно пора украшать город, знаменитый своим великолепием со времен Искендера и Тимура.

Заранее было известно, что хан пойдет на юг. Может быть, возьмет чуть восточнее или чуть западнее, но главное направление — юг. Считалось решенным, что воевать он будет с кочевыми племенами на границах с Персией. Правда, хан мог воевать еще и с Бухарой: между Хивой и Бухарой постоянно происходили стычки. Однако вскоре стало ясно, что с Бухарой войны пока не будет. Это подтвердило и гадание по звездам.

Придворный астролог после долгих наблюдений неба сообщил, что звезды складываются одинаково благоприятно для Хивы и Бухары и крайне неудачно для Персии. Кто же будет испытывать судьбу, кто же пойдет войной на того, кому покровительствуют звезды?

Как и предполагалось, Шерали оказался в свите мехрема. В походе и в бою в обязанность его входило сопровождать хана, по ночам в числе других охранять ханскую юрту.

Главным телохранителем хана и в походе оставался Федор Грушин. Это он спал у входа в ханскую юрту, это он скакал впереди хана в опасных местах. Многие видные вельможи старались расположить к себе Грушина, не столько потому, что быть с ним в дружбе казалось выгодным, а больше из опасения быть с ним во вражде.

Однажды, дня за три или четыре до выступления, Шерали попытался заговорить с Грушиным, когда тот предавался послеобеденному безделью. Федор Федорович лежал на высокой арбе под навесом ханской конюшни, бритая на мусульманский манер голова свешивалась вниз. На нем была суровая свежестырированная рубашка и такие же портки. Трудно сказать, думал он о чем-нибудь или ни о чем не думал, но дело, которым он был занят в этот момент, удивило молодого хивинца. Федор Федорович сосредоточенно плевал на землю, пытаясь следующим плевком попасть в предыдущий. Лежал он неподвижно, недвижим был и послеобеденный знойный воздух, а попасть плевком в плевков удавалось редко.

Шерали проходил мимо и, увидев Грушина, решил, что момент для знакомства подходящий. Следует сказать, что многие сторонние наблюдатели в разные годы пытались понять людей подобных Федьке. Никому это не удавалось. Они думали, что это загадочная русская душа. Они не понимали, что если у человека отнять абсолютно все, то ему мало что остается делать.

Итак, Шерали решил, что момент для знакомства подходящий, человек вроде бы ничем не занят. Поколебавшись насчет того, обращаться ли ему к Грушину на «ты» или на «вы», Шерали избрал вежливую форму.

— Ассалам алейкум!—сказал он.

Грушин шевельнул рукой, но головы не поднял. Шерали остановился.

— Здравствуйте,—повторил Шерали по-русски.

— Чего надо?—спросил Федька, подняв на юношу голубые глаза.—Дело есть, говори.

Взгляд у Грушина был долгий и совершенно равнодушный. Растерявшись, Шерали сбивчиво объяснил, уже не пытаясь говорить по-русски, что он много слышал о Грушине хорошего, в частности от своего невольника, русского офицера Николая, и что он очень рад тому, что в походе они оба будут в свите хана и сумеют познакомиться ближе.

Это была учтивость, необходимая при знакомстве, при знакомстве младшего со старшим.

Взгляд Грушина из равнодушного стал презрительным. Расположения главного ханского телохранителя искали люди поважнее, чем этот мальчишка.

— Якши, якши, потом поговорим,—махнул он рукой.—Иди себе.

Шерали пошел прочь несколько обескураженный, а Грушин перестал плевать на землю и задумался о том, что неплохо бы сейчас выпить.

Он знал, что выпить ему не удастся, потому что Васька Европкин старую винокурню разорил, а новую только начал строить. Хан, видишь ли, приказал, чтоб до похода никто, кроме него самого, не пил, ибо это грех. Может, и покарает аллах, кто знает. Мол, после похода все можно будет наверстать. Ждать приходилось долго.

2

Начальник ханской канцелярии Хубб-Ходжа не столько удивился, сколько огорчился, узнав, что Юсуф хочет сопровождать хана в походе, чтобы самому видеть то, о чем обычно пишут историки.

Хубб-Ходжа категорически воспротивился этому: во-первых, много работы в канцелярии, во-вторых, никому не нужно описание этого похода, а в-третьих, Хубб-Ходжа считал, что вид человеческих страданий не может облагородить юную душу.

— Все историки описывали походы и победы,—возражал Юсуф.—Они всегда сопровождали великих государей.

— Во-первых, Юсуфджан, историки сопровождали великих государей,—он сделал ударение на слове «великих».—Во-вторых, государи сами выбирали таких историков. С точки зрения царей, хорошо, когда историк пишет не то, что видит, а то, что ему рассказывают. Это вернее. Война — жестокая школа, и описать ее красоты могут лишь люди, подобные сладкоречивому Мунису. Писать историю войн особенно трудно потому, что тут легко ненароком обидеть потомков и разгневать современников. И к тому же у нас в канцелярии будет много работы.

Желание Хубб-Ходжи оставить Юсуфа при себе сов-

пало с желанием муллы Карима. В день, когда двадцатитысячная армия, собранная у стен Хивы, наконец выступила в поход, Юсуф стоял на крепостной стене вместе со своим отцом и Хубб-Ходжой.

В пыли, поднятой обозами, бестолковой конницей и толпами провожающих, был плохо виден сам хан со своей пышной свитой, не говоря уж о Шерали, которого Юсуф безуспешно искал глазами.

На стенах, призывая победу, переливчато завывали поднятые к солнцу карнаи и гремели барабаны. Войско удалялось медленно, очень медленно.

Барабанщики и трубачи изнемогали.

3

Разрушая старую винокурню, Василий Европкин понимал, что восстановить разрушенное он сможет за день или два, не более. Это если понадобится, но Васька давал понять, будто все, что делалось до него, вовсе никуда не годится, и только отныне начнется настоящее винокурненное дело.

Печь, на которой стоял котел, Васька разрушил до основания. И дувал вокруг разломал. Пусть уж начнется новое дело как положено, чтобы уважение было, чтоб никто не заглядывал, не любопытствовал. Однако сложную снасть — змеевик и сам котел — Васька припрятал. Мало ли что! Вдруг не сможет он новое соорудить? Не для того, однако, Васька стал главным ханским винокурором, чтобы самому работать. Он на умельцев рассчитывал. Вот Матвей, к примеру, вполне бы мог построить винокурню на любой манер. И построит, если заставить. Это он по своей воле не хочет, у него и так харч сносный, а если поприжать да припугнуть, то и завод поставит. Ведь и собаку можно заставить горчицу есть. Еще и облизываться будет. На этот случай Васька разные способы знал.

Вот отправят войско, освободятся мастера и начнут на Ваську работать, по его заказу что хошь сделают. Сообразив это, Василий Европкин вдруг озаботился тем, что с войском уйдет хан, кушбеги и прочее начальство, кто же будет заставлять мастеров? Да и Федор Федорович Грушин тоже уйдет. Анна Васильевна поняла Вась-

кину тревогу, и за два дня до похода кузнец Матвей Григорьев предстал перед кушбегу и был допрошен в присутствии Федьки Грушина и Васьки Европкина. Матвей сказал, что винокурение — дело простое, но он делать по этой части ничего не будет, потому что кузнец, а не медник и, упаси боже, не винокур.

Кушбегу прикрикнул на Матвея, Федор Федорович тоже крепкое словечко вставил, но Матвей от своего не отходил.

— Тайны я из знаний своих не творю, как делать, могу рассказать, а сам делать не буду. Не медник я, и, по вере моей, водка не нужна людям.

У кушбегу было много забот перед походом, потому решили, что медником возьмут хивинца, а показывать ему будет Матвей.

— Ты, русский, рисуй и приказывай, а наш мастер все сделает не хуже тебя.

Старшина медницкого цеха Тахир-бобо, когда его спросили, кому поручить заказ, без раздумья назвал мастера Азима, сына мастера Ибрагима.

Узбекский мастер, с точки зрения Матвея, был совсем сосунок. Тщедушный мальчишка, скуластый, черноглазый, в засаленной стеганой тюбетейке. Встретил он Матвея очень почтительно, и тому это не понравилось. «Насмехается, что ли, или задумал чего?»—усомнился Матвей и в разговор решил не вступать, а только посидеть, посмотреть, что узбечонок умеет. Начал он свой осмотр с мастерской и отметил, что инструмент у медника удобный, даже красивый; все на своем месте; горн сильный, изделия, не готовые еще, свидетельствовали об умении мастера делать сложную и тонкую работу.

«Ну что ж,—примирился Матвей.—Хоть не с дураком сидеть буду. Пусть и делает басурман винокурню, на нем и грех будет, не на мне. А ему и так в геенне огненной гореть за веру свою. На мне греха нет, потому что он сам согласился винокурню ставить».

Матвей сидел в углу медницкой на земляном полу и смотрел. Молча, ревниво, ничем себя не выдавая. Кузнецу по душе пришлась работа молодого медника. Так прошел день.

К вечеру заглянул Европкин.

— Я вам баклуши бить не позволю, — предупредил он.—Я люблю, чтобы кругом бегом!

Иш-Назар велел задержать гонца. Мало ли что! Ему не верилось. Он заходил к невестке, издали смотрел на младенца и тихо притворял дверь.

Он собрал самых почтенных мулл и ишанов, заплатил огромные деньги, запасся талисманами, дал обет святому Султан-Ваису и нарек внука Султаном в честь праведника и чудотворца, сохранившего когда-то детскую жизнь Шерали.

И все-таки не верилось. Не верилось, что аллах сподобил умирающего увидеть внука и, кто знает, может, подарит радость поглядеть, как встанет Султанджан на ножки.

Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить,—мальчик крепенький, подвижный и кричал басовито. Наконец-то Иш-Назар решился написать письмо сыну в действующую армию. Писал долго, целый день, с утра до вечера. Поздравил с рождением сына, наставлял, как беречь себя от чужих и своих, просил скорее возвращаться. Потом тысячник написал письмо хану, в котором нижайше напояминал о своих заслугах перед государством и просил всемирного взятия Шерали под свое высокое покровительство. Иш-Назар перечитал оба письма и забеспокоился: разве все он сказал, разве поймут его? Надо погодить с гонцом, может быть, вспомнится еще что-нибудь важное, решающее. Особенно беспокоило письмо, адресованное хану. Не разгневать бы его нескромностью, не напомнить бы невзначай чего плохого.

Во дворе кто-то ломал саксаул, чирикали какие-то мелкие птички, пахло какой-то едой. Неприятный запах.

Иш-Назар велел позвать невестку. Управляющий вышел за дверь, но хозяин вернул его.

— Пусть принесет внука.

Управляющий долго не возвращался. Иш-Назару казалось, что очень долго, слишком долго. Казалось, что он не дожидется.

Еще молодым человеком Иш-Назар сделал одно наблюдение: люди, приближающиеся к смерти, начинают говорить громче, чем следует. Громко говорят, будто с глухими. И происходит это не потому, что сами они начинают хуже слышать. Причина другая!

И еще старики начинают высказывать какие-то слыш-

ком уж простые мысли, то, что всем известно. Думают они, наверное, очень сложно, а говорят только то, что и без них всем известно.

Сам Иш-Назар впервые заметил это, когда старел его отец. Тогда же пришло ему на ум грустное сравнение: старики, еще живущие среди нас, на наших глазах медленно погружаются в землю и обращаются к нам, как из колодца. Нам кажется, что мы сидим в одной комнате, на одном ковре, а старики знают, что они уже в колодце. Из колодца надо говорить громче, почти кричать, а то ведь не услышат. Надо стараться говорить просто, очень просто, еще проще... а то не поймут те, что наверняка. Не поймут, не разберут, не захотят вслушиваться.

Иш-Назар знал, что неотвратно опускается в тот черный колодец, а сейчас чувствовал самое его дно. Дышать было трудно, руки и ноги немеют, деревенеют, мало у него времени, а нужно оставить близким то, что прожито, что понято, а больше то, к пониманию чего стремился, ту загадку, с которой жил, которую не разгадал...

Почему-то встал перед глазами генерал Ермолов. Со всем недавно было это, помнилось хорошо. Иш-Назар подумал сейчас, что генерал Ермолов, разговаривая с ним, видел перед собой не самого хивинского сотника, а его сына или внука. Пристально смотрел русский генерал, но чуть-чуть мимо, выше плеча.

Вошла Рахима со спящим ребенком на руках.

— На этой неделе я умру, — сказал Иш-Назар.

— Не говорите этого, — ровным голосом возразила невестка. Она так любила своего сына и своего мужа, что для любви к остальным у нее почти не оставалось сил и внимания.

Иш-Назар видел это, не обижался.

— На всякий случай, вдруг я умру на этой неделе или на следующей, проследите, чтобы в тот же день был отправлен нарочный в Хиву. Вот два письма, одно — моему сыну, другое — хану.

Внук на руках у невестки проснулся. Это отвлекло ее.

Иш-Назар дождался, когда она снова сможет его слушать, и добавил:

— Пусть ваш отец и ваш брат помогут доставить эти письма.

— Хорошо. — сказала невестка. — Я все сделаю, как вы сказали.

Рахима принялась качать на руках тихо заплакавшего ребенка, лице у нее стало отсутствующим, Иш-Назар отпустил ее.

Управляющий Нияз-Ходжа проскользнул в неприкрытую невесткой дверь, остановился, почтительно склонившись.

— Завтра к вечеру я умру,— сказал хозяин управляющему.— Когда сын вернется, передай ему, чтобы он...

Иш-Назар остановился, побоявшись сказать глупость. Разве успеешь перед смертью объяснить то, на что не хватило жизни?

Управляющий не переспросил. Он берег хозяйские силы.

— Иди поспи, — приказал Иш-Назар управляющему. — Ты устал, и, если я завтра умру, у тебя будет много хлопот.

Тысячник Иш-Назар умер в тот же день в час заката. Ночью не хоронят. Значит, завтра. Смерть никого не удивила, невестка плакала у себя, внук спал хорошо, и его не будил даже громкий крик павлина.

Утром в кургаче «Добро пожаловать» начали хлопотать об устройстве похорон. В тот же час в Хиву был направлен нарочный.

5

Шерали не мог надивиться тому беспорядку, который окружал его. Никак не походило это на исторические описания мудрого движения войск Чингисхана и Тимура. Только личная охрана Аллакули соблюдала строй, а остальные отряды в сто и двести человек вдруг отделялись от ядра армии и, никого не спросив, скрывались за барханами.

— Куда они? — спросил Шерали своего случайного спутника и сверстника Хамид-тура.

— Грабить, — спокойно ответил тот. — Оголодают и идут поживиться чужим стадом.

Хамид-тура был весьма дальним родственником хана и принадлежал к роду Кунграт. Он не мог претендовать на престол и потому остался жив во младенчестве, а теперь изредка удостоивался счастья быть вблизи хана и называться «тура», принц крови.

— Самое главное — увести наших воинов подальше

от родных мест, от дома. Всякому охота вернуться, а ведь каждого не накажешь.

Хамид-тура держался с Шерали просто, не чванился. Он рассказал, что слухи о несметных богатствах, которые накопили жители северных городов Хорасана, несколько преувеличены. Есть кое-что, но не так много, как уверяют певцы на привалах. Их специально наняли, чтобы заманивали, обещали, хвалили.

— Настоящих воинов у нас не так уж много, как кажется. Больше поневоле идут и по глупости. И вояки они плохие.

Шерали предпочитал помалкивать и поддакивать ханскому родичу. Ему льстило общение с принцем, хотя иногда очень хотелось возражать.

Пыль, поднятая тысячами ног, скрывала хвост колонны, и армия казалась много меньше, чем была на самом деле. Кто, однако, мог бы определить ее численность? Беки и хакимы, тысячники и сотники, докладывая хану об отрядах, которые привели, явно привирали. Это, естественно, повышало их собственный вес в глазах повелителя и позволяло надеяться на большую долю при дележе общей добычи.

Крупной добычи, однако, все не попадалось. Армия поедала встречные отары овец, одни обжирались мясом, другие ждали своего случая. Каждый вечер, правда, кто-либо из начальников передовых отрядов привозил в ставку хана две-три бритых мусульманских головы. Головы вытряхивали из мешков перед юртой хана, и герой докладывал, что это хорасанские лазутчики, пойманные на месте преступления. Писарь заносил имя героя в специальную ведомость. Это значило, что после первого большого сражения будет раздача халатов. За одну голову один простой халат, за десять — шелковый, за тридцать — парчовый. Цены на головы год от года менялись. Все зависело от числа добытых голов и запасенных халатов.

Войско двигалось на юго-восток, так что можно было полагать, что война предстоит не с Хорасаном, а с Бухарой. Стоит только переправиться через Амударью, и армия — на территории эмира Насрулло. Повелитель Бухары подготовился к внезапному нападению, собрал войско и ждал, когда Аллакули начнет переправу. У хивинцев это отнимет много времени и сил.

Хорасанские правители тоже знали о движении Аллакули вверх по течению реки, понимали, что он может свернуть не только к Бухаре, но и вправо, чтобы напасть на северные города Хорасана. Не зря же в Хиве так долго и упорно поносили красноголовых персов-шиитов.

Однако ошиблись и в Бухаре, и в Хорасане. Аллакули свернул на запад раньше, чем предполагали. Не нужны ему были богатства Серахса, фисташковые леса и прохлада горных потоков. Хивинский властитель свернул в безводную пустыню, у колодца Аджи сделал большую остановку, а затем двинул свое войско на юго-запад. Наиболее мудрые вожди кочевых племен поняли, что не против городов намеревался воевать Аллакули, а против них, жителей степи.

Полководцы и историки войн с большой охотой описывают окружение как маневр, свидетельствующий о прозорливости военачальника. При этом они забывают, что не мудрость главное: для окружения по крайней мере нужно преобладание сил. В том-то и заключалось успешное начало войны, что Аллакули обещался напасть на одно из двух крупных государств, а на самом деле стал воевать с мелкими вассальными племенами. Он выбрал цель более достижимую, более верную. Первая война хана должна быть обязательно удачной, это важно для того, чтобы править страной.

Кочевники предпочитали не вступать в открытый бой. С семьями и скотом они отходили в глубь пустыни, надеясь затеряться в песках. На это и рассчитывал Аллакули, кольцо начало стягиваться; тех, кто пытался прорваться сквозь него, уничтожали безжалостно. Шерали два раза обогрел свой клинок кровью неприятеля. В первом бою это был старый и матерый воин, рубившийся сразу с несколькими хивинцами. За спиной кочевника была его семья, которой грозило рабство. Отец семейства знал это, понимал, что беда уже пришла к нему, что дети его станут рабами, но сам он решил, что не увидит этого. Он дрался, чтобы умереть.

Шерали неприятно было вспоминать эту недавнюю схватку, хотя именно благодаря ей он сблизился с еще одним влиятельным молодым человеком — Матниязом-мирзой, сыном кушбеги. Семья кочевника — две его жены и шестеро детей поступили в доход хана Аллаку-

ли, а отрубленная голова была засчитана сразу Хамиду-туре, Шерали и Матниязу.

И еще отличился Шерали, взяв в плен совсем юного воина-туркмена. Туркмен пробирался за барханами; это, конечно, был разведчик. Шерали первым заметил его и первым кинулся в погоню. Юношу взяли живьем несколько человек, но ранил его Шерали, и он же привел его на аркане к юрте хана. Пленный оказался сыном вождя племени. Аллакули повелел считать его не рабом — заложником. Шерали записали за пленного сразу три головы, и после победы он мог рассчитывать на шелковый халат.

Неплохое начало для того, кто решил посвятить себя делам государства, но война оказалась совсем не такой, какой представлял ее себе честолюбивый сын тысячника. Мелкая, грязная, неблагоприятная война.

Грязная война, потные люди, изможденные лошади, дорога загаженная идущими впереди, трупы, смердящие под жарким солнцем, и мухи. Тучи мух. Откуда брались они в пустыне, эти наглые твари, одинаково деловито перелетающие с разлагающихся трупов убитых на счастливые лица убивших, с верблюжьего кала на обеденный дастархан военачальников. Боже, сколько грязи, боже, как мало воды!

Где же схватки с превосходящими силами противника, где же святая месть за содеянное врагом, где же триумф трудной победы? Шерали понимал, конечно, что превосходящие силы и сами могут победить, что лучше не иметь таких уж сильных мотивов для святой мести, но разочарование свое он должен был скрывать глубоко. Впрочем, Матнияз и Хамид-тура тоже ждали от войны чего-то большего.

Каждому приятно описывать планомерные и величественные осады столиц, штурмы неприступных стен, преодоление рвов, заполненных водой. Каждый хотел бы рассказать о подкопах к башням, о работе стенобитных машин, о меткости артиллеристов и о том, кто первым среди воинов достиг гребня неприятельской стены, кто первым воскликнул «Победа!» и что в тот счастливый миг сказал повелитель.

У Шер-Мухаммеда-мираба, у сладкоречивого Матниаса в этой войне не представилось случая описать что-

либо подобное. Сплошная цепь хивинских войск и летучие отряды все плотнее окружали несколько больших племен, и те в конце концов оказались в огромной ложбине возле колодца. Один колодец на несколько тысяч человек, лошадей и овец.

Мудрая операция, мудрый замысел, отличное осуществление поставленной задачи и — скорая победа. Мунис мог бы описать все это подробно, но у него в последнее время часто болела и кружилась голова. Он тяжело переносил поход и жалел, что не послал сюда племянника. Стоило маститому историку поработать часок-другой над записями, как начинался сильный шум в ушах, буквы перед глазами танцевали.

Рука привычно выводила эпитеты и сравнения, достойные книги, называемой «Райский сад счастья», но глаголов и существительных не хватало. По большому опыту Мунис знал: труднее всего описывать то, что видишь перед собой, легче всего то, о чем слышал от людей.

Как отобрать из увиденного то, что важно и нужно потомкам? Стоит ли, например, сейчас описывать, как окруженные племена объявили хану, что не сдадутся никогда, стоит ли приводить их высокомерные и оскорбительные для хана Аллакуди действия, их грубые слова, их отчаянную смелость, равную безрассудству?

Историк не считал нужным описывать и то, что окруженные, экономя воду, прежде всего решили избавиться от овец. Их не подпускали к колодцу. Овцы сталидохнуть первыми. Потом и коням не стали давать воды. Это страшное зрелище — животные, умирающие от жажды вблизи колодца.

Конечно, Мунис мог бы описать безнадежные попытки кочевников пройти через окружение. Они пробовали делать это и безлунной ночью, и на рассвете, и в разгар дня, когда солнце дает самую короткую тень. Мунис мог бы еще описать мужество и стойкость хивинских воинов, зорко следивших за тем, что происходило в низине у колодца. Нужно иметь поистине железное сердце, чтобы изо дня в день видеть, как умирают животные, как высыхают люди. Но страшнее всего был запах.

Ханская юрта и юрты других сановников стояли далеко за барханами, но когда ветер дул из низины, военачальники умоляли хана разрешить штурм, чтобы по-

бедить и уйти отсюда. Запах был невыносим. Зловоние душило даже самых стойких.

Адлакули медлил, он боялся решительной схватки, все шло слишком хорошо, зачем торопить события? В стане окруженных начались болезни. Еще бы! Они жили среди трупов. В ставке не одобряли такой медлительности, говорили, что у хана сильный насморк и потому только он может терпеть сколько угодно.

Мунис понимал, что для «Райского сада счастья» все, что видел он здесь, подходит очень мало. Начались болезни и среди осаждавших. Хан же все медлил, и первыми пошли на решительный штурм обреченные. Ослабленные болезнями и жаждой, еще недавно крепкие воины не выдерживали длительных схваток и, падая, умоляли добить их насмерть. Сеча длилась с рассвета до полудня. Об этом Мунис сделал самые краткие заметки. В книге он опишет победу во всей красоте и величии.

6

Халатов оказалось меньше, чем предполагали. Однако Шерали достался шелковый. Сыграло роль, что он сражался бок о бок с сыном кушбеги Матниязом и турой Хамидом. Им выдали парчовые, а Шерали шелковый. Все равно это большая удача. Такой халат расценивался в среднем от двадцати до тридцати человеческих голов. Это условно, потому что нельзя все военные заслуги пересчитывать на головы.

Шерали не имел оснований для недовольства, его карьера получила хорошее начало. Однако сын тысячника с трудом скрывал подавленность и разочарование. Нет, он не создан для воинских подвигов. Поход, начавшийся в сопровождении туч жирных злющих мух и окончившийся ужасающей вонью в огромной пустыне, такой предстала перед Шерали эта война и, наверное, все войны.

На рассвете дня, следующего за победой, Шерали увидел, что воины личной охраны хана под началом кушбеги складывают на одном из барханов пирамиду из голов. Древний обычай, хотя и ужасный, но древний. Удивило Шерали, что головы составляли как бы толь-

хо облицовку пирамиды. Внутри она была из песка. «И здесь наш кушбеги не может без жульничества!» — подумал Шерали.

Невдалеке сидел исхудавший в походе историк Му-нис и делал какие-то заметки в дорожную тетрадь. Шерали подошел к Мунису, почтительно поздоровался и, не удержавшись, спросил:

— Скажите, пожалуйста, о отец нашей истории, разве нужно приумножать ужас убийства, насыпая внутрь пирамиды землю? Ведь это обман?

— Это не обман. Это обычай. Так всегда делалось, — сказал историк.

— Зачем? Для чего? — спросил Шерали, понимая, что ведет опасный для себя разговор.

— Не спрашивай о том, что принято великими мира сего. Еще при Тимуре делалось так, и при Чингисхане строили такие пирамиды. Тогда убивали больше, но и земли подсыпали не меньше.

— Наверное, для того, — еще раз спросил Шерали, — чтобы устроить будущих врагов? Может быть, Чингисхан и не был так жесток, а пирамида голов все-таки не для славы была нужна ему?

— Для славы, — сказал историк. — Он хотел славы, а его приближенные, конечно, увеличивали пирамиды, подсыпая внутрь земли, камней и песка. Великие мира сего любят лезть, и они достойны ее.

Мунис тоже позволил себе лишнее. Он плохо владел собой. Мало головных болей, шума в ушах и сердцебиения — у историка начались боли в животе и понос.

В тот день хан со своей свитой сделал первую остановку по пути домой. Наконец-то чистая степь, чистые барханы, чистый горячий воздух. Вся армия с пленными тянулась далеко позади, а избранные могли отдохнуть вблизи своего повелителя.

Юрта Аллакули стояла на западном склоне холма, ниже разместились юрты и палатки придворных, челяди и личной охраны. На гребне под открытым небом постелил себе кошемку ханский телохранитель Федька. Он был один на вершине холма лицом вниз и смотрел прямо перед собой. Тяжко было у него на душе, очень тяжело, не с кем было поговорить, нечего выпить. Считалось, что Федька дозорный, но он не смотрел по сторонам,

глаза бы ни на что не глядели — до чего обрыдло все: и сытость, и власть, и почет.

Вечернее солнце сначала освещало весь лагерь, потом только несколько юрт на холме, потом одну ханскую юрту, потом одного только Федьку Грушина. Зашло солнце, и сразу стало прохладно, как часто бывает в пустыне после жаркого дня. Стало прохладно, и Шерали впервые за долгие недели захотел вкусно поесть. Он кое-как питался во время похода, но еда не доставляла ему удовольствия. Сейчас же он испытал желание именно вкусной еды и обрадовался, что еда эта уже готовится.

Сын кушбеги Матнияз и Хамид-тура пригласили Шерали разделить с ними ужин. Это много значило в глазах всех, кто знал нравы хивинского двора. Это было признанием личных заслуг молодого человека, ибо сыну обыкновенного тысячника все же не подобает сидеть рядом с принцем царской крови и сыном первого министра.

А они пригласили Шерали, подчеркивая таким образом, что не только на войне они друзья, но и в мирное время готовы проводить с ним свои досуги.

Кроме Хамида и Матнияза, вокруг большого и жаркого костра собралось еще несколько молодых людей из свиты хана. Все они хорошо знали друг друга раньше, и Шерали представлял для них интерес как новичок. Он оказался в центре внимания, понимал случайность этого интереса и старался больше молчать, не рассказывать все, что знал, не удивляться услышанному, не торопиться возражать или соглашаться.

Костер развели на песке, где, завернутые в собственную шкуру, запекались четыре свежеспотрошенных барашка. Кум-кебаб — песочный шашлык в дословном переводе, а на самом деле мясо в собственном соку — одно из самых вкусных блюд, какое можно приготовить в дальнем походе. Несколько кожаных мешков были полны отличным кумыса. Кумыс после мяса, пока же пили жидкий чай.

Сын кушбеги Матнияз, не в отца рослый, крепкий, широкоскулый, с быстрыми желтыми глазами и с рябыми щеками, подбадривал Шерали.

— Давай, давай, не стесняйся, ты теперь наш. Ты храбро сражался, и, хотя твой отец всего только сын баши, вы происходите из хорошего узбекского рода. Рас-

сказывай нам про себя. В бою ты забывал о скромности и смиренности.

Шерали возразил, что его жизнь только начинается и не содержит в себе ничего интересного, достойного столь благосклонного внимания.

Это не было кокетством и ни в коем случае не было проявлением застенчивости. Шерали видел, что к нему относятся чуть свысока, и хотел дать понять, что он не так прост.

— Нам действительно интересно знать про тебя, — честно признался сын кушбеги. — Мы и так кое-что знаем, знаем, что ты женат на дочери муллы Карима, что отец твой много путешествовал и почему-то удалился в свою курганчу, хотя мог бы состоять в числе ближайших советников нашего повелителя. Разве ты не понимаешь, что это интересно послушать, пока готовится еда?

— Отец мой удалился от дел по болезни, — объяснил Шерали. Молодой честолюбец знал, что отец задолго до болезни был отдален покойным ханом. — Мой отец вернется ко двору, как только выздоровеет. Хан Мухаммед-Рахим ценит его знание России и доверял ему.

Уж если втянули в разговор, то не надейтесь, что я буду болтать все подряд, решил он.

— Ах, верно! — обрадовался Матнияз. — Он ведь бывал в России не один раз.

— Он ездил туда не по своей воле, — уточнил Шерали. — Его посылал покойный хан.

— Зачем же наш милостивый посылал его туда? — спросил Хамид-тура. Те из ханских родственников, кого Мухаммед-Рахим оставил в живых, называли его милостивым

Шерали отвечал уклончиво и многословно. Он говорил о высоких дипломатических замыслах хана и о том, что сотник Иш-Назар был лишь одним из пальцев на руке повелителя. Чем больше Шерали старался уклониться от прямых ответов, тем сильнее разгоралось любопытство слушателей.

— Он рассказывал тебе о России? — сердито спросил Матнияз. — Что он говорил?

— Дипломаты приучают себя не болтать лишнего даже в кругу семьи, — вежливо улыбнулся Шерали сыну первого министра. — Наверное, и ваш отец не слишком разговорчив.

— Мой, наоборот, разговорчив, — возразил Матнияз. — Он охотно говорит с каждым, кого хочет обмануть. Со мной он почти не разговаривает.

В словах сына кушбеги прорвалась откровенность, и Шерали счел нечестным и дальше хитрить.

— Мой отец выполнял довольно много важных поручений, но, пожалуй, самым ответственным было путешествие на Кавказ. Лет восемь назад или девять...

— Он ехал через Астрахань? — спросил Хамид-тура.

— Нет, мой отец сопровождал посланника белого царя, и они из Хивы проехали туркменскими степями до моря. Там ждал корабль, на котором они отправлялись в кавказский город Баку.

Постепенно Шерали забыл о необходимости быть сдержанным, увлекся рассказами о приключениях, выпавших на долю отца, дополнял слышанное в детстве сведениями, которые были получены им совсем недавно от Николая Федоровича. Он говорил о двух столицах России — Москве и Петербурге, о каменных дворцах, стоящих по берегам широких рек, о том, что сами реки заключены в гранитные берега, об устройстве русской армии, о том, что каждый пехотинец имеет ружье, а каждый конный пику и саблю, служат солдаты без отдыха двадцать пять лет. Еще он говорил, что каждый отряд, полк, отличается от другого формой одежды и одежду эту выдает царь за счет своей казны.

Шерали увлекся описанием особенностей русского государства лишь для того, чтобы таким образом объяснить слушателям всю важность миссии, которую выполнял отец, всю сложность задач, возложенных на отца покойным Мухаммед-Рахимом. Его слушали внимательно, потом кто-то из незнакомых молодых людей хихикнул. Сын кушбеги тоже вдруг улыбнулся и, хлопнув Шерали по коленке, воскликнул:

— Красиво врешь, складно!

Шерали побледнел и вскочил с кошмы. Никто никогда не смел говорить ему такие слова. Если бы этот наглец не был сыном кушбеги, Шерали ударил бы его сапогом в лицо. Матнияз тоже вскочил на ноги, поднялся и Хамид-тура. По всему было видно, что сын кушбеги растерялся.

— Не надо ссориться, — сказал тура. — Мы не

должны так сердиться друг на друга за слова, ведь мы воевали рядом, плечо в плечо.

— Надо выбирать слова, когда говоришь с другом! — воскликнул Шерали. — Слово — начало поступка.

Матнияз примирительно проговорил:

— Я не хотел обидеть тебя. Я хотел лишь сказать, что ты прекрасно рассказываешь и даже невероятное выглядит весьма правдиво.

Хамид-тура положил спорящим руки на плечи.

— Давайте сядем, спокойно поговорим, отделим правду от вымысла, возможное от невероятного.

Молодые люди вновь уселись у прогорающего костра, и тура продолжал свою мысль.

— Ты говоришь вещи, поверить в которые трудно каждому, кто умеет считать доходы и расходы. Ты говоришь, например, что солдаты русского царя служат по двадцать пять лет без перерыва? Что они не имеют хозяйства, жен и детей, своего скота? Ты говоришь, что их десятки тысяч постоянно, и такую большую постоянную армию русский царь сам кормит и одевает в одинаковое платье? Так мы тебя поняли?

— Так, — убежденно сказал Шерали. — Именно так. Я сам вначале не мог поверить, но выходит, что все именно так. Следует только учесть, что не сам царь кормит армию, а деньги идут от всевозможных налогов...

— Это понятно, — прервал Матнияз. — Но я, например, видел русские солдатские сапоги, и я не поверю, что такие сапоги выдают каждому солдату. Ни одна казна не выдержит подобной расточительности. Может быть, твой отец нарочно преувеличивал?

— Отец говорил, что это великая страна.

— Великая? — серьезно переспросил кто-то из молодых людей, до сих пор не решавшихся вступить в разговор. — Больше, чем Бухара или Персия?

Когда-то Шерали сам задавал отцу такой же вопрос, почти так же допытывался: «Может ли быть, что страна неверных была сильнее, чем правоверные страны?». Не раз спрашивал отца об этом, не раз отец увиливал от ответа, но однажды оказал, раздраженно презрев всегдашнюю свою осторожность: «Россия делится на губернии. Их, этих губерний, может быть сорок, а может быть сто. Так вот, Бухара беднее многих из этих губерний. А наша Хива, быть может, беднее любой из них». Рас-

спрашивая пленных, Шерали убедился, что отец не преувеличивал, и сейчас, когда молодые и самоуверенные отпрыски знатных хивинских семей выспрашивали его, он решил, что отвечать должен то, что думает.

— Россия, — одна из самых великих держав мира. Она побеждала всех своих врагов на протяжении двухсот лет подряд. Полагают, что она много сильнее, чем кажется. — Из осторожности Шерали добавил: — Я повторяю лишь то, что слышал. Каждый из вас должен сам проверить это. Очень уж похоже на правду, слышанную мной от беспристрастных людей. А отец мой часто говорил, что единение с Россией было бы счастьем для народов Хорезма.

Больше Шерали не сказал ничего, а разговор прекратился сам собой, потому что саксаульные угли догорали, и искры, вспыхивающие в них, были только немного ярче крупных звезд, висящих над тихой и великой пустыней.

Мясо кум-кебаба было душистым, сочным и нежным. Молодые люди вначале ели быстро и много. Кости бросали через спину, потом стали запивать мясо кумысом. Сытость и усталость наваливались вместе. Молодые люди легли спать у костра на общей кошме, прикрывшись большим хорасанским ковром. Шерали спал с самого края, крепко и сладко.

Утром его разбудил кушбеги.

— Я должен сообщить тебе, юноша, горестную весть, — сказал кушбеги. — Твой благородный отец умер. Вот тебе два письма из дома, еще одно отец написал повелителю. Может случится, что по возвращении в Хиву хан пожелает увидеть тебя близко.

Шерали спросонья не понимал того, что слышит. Отец написал письмо, кто же тогда умер? Зачем хочет видеть его хан? Почему в Хиве, а не здесь?

Кушбеги уже отошел на несколько шагов, но вдруг обернулся и сказал:

— В память о твоём отце хан Аллакули жалует тебя званием сотника. Теперь ты сотник.

Отгоняя от себя главное — весть о смерти, — Шерали стал читать письмо. Оно было, как всегда, деловым. Отец сообщил о рождении мальчика, которого назвал Султаном, о самочувствии роженицы, о собственном своем хорошем самочувствии и о хозяйственных делах.

Шерали читал письмо ревниво и придирчиво, не желая понимать самого главного. Того, кто писал, уже нет в живых.

Конец письма был грустным и не вязался с бодрым и деловым началом. Отец просил умно вести хозяйство после его смерти, подробно перечислил свое имущество, тех, кому был должен сам, и тех, кто был должен ему.

Шерали опустил руку, дальше читать он не мог. Он понял, что отец умер больше месяца назад, а сыну теперь уже полтора месяца.

Второе письмо было от Рахимы. Она писала о похоронах, о поминках и кончала словами: «Мы живы и здоровы. Того же желаем и вам, наш муж и повелитель».

— Мы живы и здоровы... — шептал он. — Мы живы и здоровы. Мы живы и здоровы. Мы — это я, моя жена, мой сын. Мы живы и здоровы. Только отца нет. Ведь он был совсем молодой! Мы живы и здоровы.

Шерали сидел на песке.

Вокруг по-утреннему бойко и звонко шумел военный лагерь.

А он один сидел на песке, и по лицу его текли слезы.

В этот день все выражали ему соболезнование. Многие за спиной завидовали. Один раз Шерали услышал:

— Шустрый малый. Сотника получил.

Глава десятая

ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА

Мы знаем лишь одно:
что мы несчастны.

Байрон Кин

I

Была осень, поздняя осень, когда собран урожай. Все — в закромах, все сосчитано и рассчитано. В эту пору изобилне только у богатых. Изобилне для бедных кончилось. Вот почему простые хивинцы и жители окрестных селений так радовались празднику.

А праздник был большой, очень большой, к нему готовились с лета, когда Аллакули с первой победой вернулся из дальнего похода.

Тысячу вольных семей обратил он в рабство и со скарбом и живностью привел из-за южных границ, определив на местожительство в район Ташауза.

Тысячу семей захватил хан, но потерял в походе более двух тысяч убитыми и ранеными. Кроме того, победители завезли в Хиву болезнь, которая начиналась жаром и поносом, а через неделю-другую приводила к смерти. Впрочем, умирали не все заболевшие, и это не должно было мешать празднику.

Если хан не ходил на войну, он не имеет права чеканить монету своим именем, и, значит, не останется оно в истории, не будет запечатлено на медных, серебряных и золотых кружочках. Аллакули должен был отметить победу, ибо отныне он становился полноправной фигурой в ряду других государей Хорезма и мог быть уверен, что место ему в истории человечества навсегда обеспечено. Хан дал приказ с сего дня чеканить монеты со своим полным титулом и немедля предложить на рассмотрение план строительства крупнейших медресе и мечетей.

Кроме того, что Аллакули вошел в историю, он еще и сподобился быть причисленным к сонму святых, ибо — и это тоже известно каждому — если хан не ходил на войну, то за него нельзя молиться в мечети всенародно. Теперь же молиться можно и нужно.

Во всех мечетях хивинского ханства возносились славословия и молитвы. Глава местных дервишей из братства накшбенди шейх Мавлян получил от хана подарок, и на улицах Хивы орали, завывали и танцевали бесноватые в лоскутных плащах и остроконечных шапках с бахромой, заслоняющей глаза. Они возглашали славу аллаху, выкрикивали стихи из Корана, и люди собирались вокруг них. Не часто увидишь такое, ведь праздник для всех праздник, хан стал падишахом.

Правители Хивинского ханства и их приближенные занимались в этот праздничный день мужественными играми. Сначала были скачки, стрельба из лука, борьба, потом козлодранье.

Это занятие для верховых, и смотреть, как джигиты остервенело носятся по степи, как выхватывают друг у друга мертвого козла, как секутся тяжелыми плетями за измолоченную пыльную тушу, лучше всего с лошади. За городом в этот день оказались люди богатые и еще мальчишки, а внутри городских стен — беднота и не-

вольники. Им не до развлечений, главное — не нужно работать и потому можно сидеть на солнечной стороне зданий, смотреть на богатых и еще на большие котлы, в которых варят похлебку для горожан. Даровую похлебку в честь победы. Специально к празднику на площадях построено несколько тандыров — печей для изготовления лепешек. И уже дымят тандыры, и пекари приготовили тесто.

Николай Федорович, в старом, но довольно чистом халате, в совершенно выгоревшей тюбетейке и босой, сидел возле полуразрушенной глинобитной сторожевой башни. Солнце в этот час грело хорошо, ветра не было.

Из устья кривой улочки к башне в окружении мальчишек выбежал дервиш, обладавший столь противным голосом, что все уставились на него.

— Нет бога, кроме Аллаха! — кричал дервиш. — Нет хана сильнее Аллакули-хана! Не считай мертвыми тех, кто погиб за веру. Наш хан обессмертил более двух тысяч человек!

Ораторский трюк Ельцов легко разгадал: первая часть фразы была цитатой из Корана, вторая к ней приделана наспех, а получилось, будто все это из священной книги.

Отречение от жизни, от ее реальных благ, от славы и успеха — вот что составляет основу дервишской жизни. Однако за деньги, оказывается, можно отказаться от этих принципов и, более того, подправлять священное писание и даже дополнять его. Здесь, как везде.

— Вонстину, человек всегда оказывается в убытке, — выкрикнул дервиш стих из Корана и сам же опроверг его, добавив от себя: — А наш Аллакули-хан всегда оказывается в прибыли.

Николай Федорович с интересом наблюдал за дервишем и потому не обернулся, когда почувствовал, что кто-то остановился совсем близко за его спиной.

— Неужели вы думаете, что человек может достигнуть желаемого? — воскликнул дервиш.

Человек за спиной Ельцова засмеялся.

Николай Федорович обернулся на этот смех и увидел страшного нищего, из тех, кого в обычные дни не впускают в город. Они живут за крепостными стенами шагах в трехстах от ворот, спят в норах, пещерах и ка-

навах, питаются отбросами, и люди отгоняют их от жилища камнями, как шелудивых собак.

Человек, оказавшийся рядом с Ельцовым, был настолько уродлив, что Николай Федорович отодвинулся. К счастью, тот ничего не мог заметить: он был слеп. На красно-кирпичной морщинистой голове не было ушей, не было глаз, и нос был обрезан до самого хряща.

— О, эта восточная, ленивая мудрость! — произнесла обкромсанная голова, — о, эта восточная мудрость! Если бы я раньше понял это! Неужели вы думаете, что человек может достигнуть желаемого?

Слова слепого нищего поразили Ельцова. Чем? Он не мог сразу понять.

«О, эта восточная, ленивая мудрость! Если бы я раньше понял это! О, эта восточная, ленивая мудрость!».

Так может сказать человек с далекого Запада. Но не только это обращало на себя внимание Николая Федоровича, а еще и то, что нищий говорил не по-узбекски и не по-русски. Ельцов между тем понял сказанное.

«О, эта восточная, ленивая мудрость!..».

Эта часть фразы, без сомнения, сказана по-английски, а последняя, цитата из Корана, — на местном арабском.

Такое могло и померещиться. Нищий сидел неподвижно, подняв голову к солнцу. Больше он не говорил ни слова.

Если то, что Ельцов видел перед собой, можно еще было считать лицом или остатками лица, то ничего указывающего на определенный этнический тип различить, конечно, не удавалось. Почерневшая, иссушенная солнцем кожа скорее всего принадлежала азиату. И поза нищего тоже была позой азиата: он сидел, поджав под себя ноги.

Отметив это, Николай Федорович вспомнил, что и сам сидит по-азнатски, а лица своего давно не видел в зеркале. Что касается цвета кожи и характерных для жителей юга морщин, то давно уже замечено, что лица людей способны менять какие-то свои, даже основные, черты в сильной зависимости от среды. Тут имеет значение и то, что люди невольно перенимают у окружающих манеру смеяться или сердиться, выражать удовольствие или гнев, и что же удивляться, если морщины располагаются одинаково.

Наверное, поэтому люди, долго прожившие вместе, например муж и жена, бывают похожи. По крайней мере, с точки зрения посторонних.

Дервиш прокричал еще несколько изречений из Корана и, сопровождаемый мальчишками, направился к городским воротам. Дымок, который тянулся оттуда, долетел до Николая Федоровича, а нищий, почуввав запах вкусной еды, болезненно замер.

— Вечером будут давать похлебку, — по-узбекски сказал Николай Федорович, — и завтра тоже. Завтра с утра. Только утром надо встать пораньше, это будет последнее угощение, постарайтесь не прозевать.

— Знаю, — ответил нищий, — я каждый раз наедаюсь на таких праздниках. Я, как удав, наедаюсь. Я помню, в каком году сколько раз побеждал хан и сколько раз устраивал такой праздник: память желудка.

Нищий говорил на хорошем узбекском языке, и Николаю Федоровичу показалось, что услышанная им английская речь — галлюцинация. Чтобы окончательно убедиться в этом, Ельцов произнес самые, пожалуй, знаменитые слова английского языка:

— Быть или не быть, вот в чем вопрос.

Николай Федорович не мог предполагать, что слова из монолога Гамлета, слова, затертые от частого и суетного употребления, могут произвести такое действие. Он увидел ужас на безглазом, безносом, обезображенном черепе. На мгновение он даже увидел само лицо.

— Кто вы такой?! — крикнул нищий по-английски. — Немедленно отвечайте, кто вы такой? Немедленно!

— Значит, я не ошибся, — почти про себя сказал Ельцов и, тщательно подбирая английские слова, запинаясь, потому что давно не говорил на этом языке, начал рассказывать незнакомцу, что он — русский офицер, дворянин, что с раннего детства говорил по-английски, что покойный отец и вся родня его были убежденными англоманами. Николай Федорович рассказал, что он сам мечтал побывать в Великобритании, но это ему не удалось.

— Вы дворянин? — спросил нищий.

— Да, — сказал Ельцов.

— Я тоже дворянин, — сказал нищий, — я лорд Райткрафт. Лорд Вильям Райткрафт.

Станным был этот разговор двух несчастных, при-

гревшихся на осеннем солнышке возле крепостной башни во время празднования первой победы хивинского хана над кочевыми племенами.

— Я лорд Райткрафт, Вильям Райткрафт.

— Весьма рад, сэр, капитан Ельцов, — заученной фразой представился Николай Федорович.

— Я понял, что вы пленник, — нервно глотая слова, продолжал Райткрафт, — и я знаю, что вы русский. И догадываюсь, как вы попали сюда. Видимо, так же, как и я.

Несмотря на всю чудовищность ситуации, Ельцов улыбнулся поспешности, с которой лорд Райткрафт говорил и делал умозаключения.

— Признайтесь, как вы оказались здесь? — Англичанин еще раз повторил свой вопрос.

— Это длинная история, — начал Ельцов, — дело в том, что...

— Правильно, — прервал его Райткрафт, — правильно! Это только кажется, что нас подводит один случай, что мы оказываемся жертвой одной неудачи. На самом деле это фатум, предопределение, судьба...

Ельцов смотрел на своего собеседника со смешанным чувством сожаления и удивления.

— Я тоже разведчик. Правда, я решил действовать на свой страх и риск...

— Но я не разведчик, — вставил Ельцов.

— Ерунда, все так говорят, — возразил англичанин. — Сколько времени вы в Хиве?

— Скоро два года, — сказал Ельцов.

Нищий быстро протянул руку и стремительным движением пальцев ошупал лицо Николая Федоровича.

— Ну, конечно, конечно, — засмеялся он, — первые пять-семь лет я тоже скрывал многое, но теперь мне нечего скрывать. Надеюсь, и для вас наступит то счастливое время.

Смех лорда Райткрафта не понравился Ельцову, и он сказал:

— Я слышал, будто английская корона интересуется прилегающими к России владениями, и что ее агенты достигли Хивы...

Нищий перестал смеяться.

— Вы злой человек, — сказал он, — ваша ирония

неуместна, я действительно достиг Хивы, я сделал это на страх и риск и не от имени короны, а лишь на благо Ост-Индской компании. Не надо иронизировать над тем, чего я достиг, достигнув Хивы. Не надо! Посмотрим, как будете выглядеть вы через тридцать лет. Быть может, другие будут смотреть на вас с бóльшим удивлением, чем вы на меня.

Искалеченный англичанин, несмотря на жуткую свою судьбу, не вызывал у Ельцова симпатии. Говорил нищий почти без умолку.

— Я был богатым человеком, одним из тех сорока, кому принадлежат доходы — правда, одна сороковая часть — от всей ост-индской торговли. Вы знаете, что такое Ост-Индская компания?

— В общих чертах, — ответил Ельцов.

— В общих чертах?! — повторил нищий. — Ост-индская торговля — это лицо современной Европы. Ост-Индская компания — это суть всей мировой политики! Войны, революции, дворцовые перевороты и великие географические открытия работают на нее.

— Мне кажется, вы преувеличиваете, — заметил Ельцов, — но это не очень существенно для нас.

— Я преувеличиваю? Чем была история Европы за последнее столетие, если не борьбой за Индию? Вспомните. До открытия морского пути в Индию караваны с драгоценностями и драгоценными пряностями шли из Индии, Персии и Аравии к городам Леванта. Представьте себе этот путь. Здесь их покупали итальянские, французские или каталонские купцы и через Венецию и Марсель привозили в Европу. Вы знаете, что такое накладные расходы? Русские, находясь ближе всего к Индии, не могли наладить связей через эти пустыни. Не могли, не умели, не получилось. Увы, это так.

Ельцов мог бы возразить, что такие связи были, однако, по существу, англичанин говорил справедливо. Регулярной торговли Россия с Востоком не имела довольно долго.

— Наша планета будто бы создана для ост-индской проблемы. Все в жизни зависит от связей Европы и Азии, и вначале этим пользовались те, кто был ближе. Поверьте, не было случайности в том, что монополистами этой торговли стали португальцы.

Лорд Райткрафт был явно не в себе. Встреча с чело-

веком, знающим его родной язык, разрушила плотину в сознании, и слова, копившиеся в его памяти десятки лет, хлынули неудержимо:

— Это португальские корабли, португальские купчихи и пираты владели морской тропинкой вокруг Африки. Это им служил мыс Доброй Надежды. Шестнадцатый век смело можно назвать веком португальской торговли. Однако Португалия ошиблась, сосредоточив торговлю в руках государства. Вы слушайте, слушайте! Этого вам не расскажет никто, кроме меня. Это моя гипотеза, моя теория. Торговля, даже самая крупная, не должна находиться в руках государства, ибо всякое государство — это регламент, рамки, путы, а торговля нуждается в полной, безграничной свободе.

Непонятно, почему Ельцов вдруг спросил нишего:

— Сколько лет вы в Хиве?

— Двадцать шесть. Двадцать шесть лет. С мая 1801 года.

«Двадцать шесть лет! — подумал Ельцов. — Он пришел сюда слепым. Нет, скорее всего, его ослепили здесь».

Словно чигая его мысли, англичанин сказал:

— Меня ослепили в 1808 году, а уши и нос обрезали на два года раньше. Они считали, что я подслушиваю и вынохиваю, и потому искалечили меня. Они отрезали уши и нос. Я тогда пытался бежать. Меня схватили недалеко от Хазараспа. Через два года меня схватили на полпути к Персии, привезли в Хиву и выдавили глаза... Да, на чем мы остановились? Я рассказывал вам об основной ошибке, которую допустили португальцы. Нелепо регламентировать торговлю. Товары они перевозили только на королевских судах, за пользование которыми взималась огромная плата. Поверьте мне, португальская торговля провалилась из-за высоких пошлин.

Лорд Райткрафт, как бы уступая праздному интересу русского, опять вернулся к своему несчастью.

— Они выдавили мне глаза, сначала один, потом второй. Вы не видели, как это делается? Вы мало потеряли. Есть специалисты, делающие это мгновенно.... Несколькими лучше обстояли дела в Нидерландской Ост-Индской компании, но вершиной, пиком, апофеозом стали мы. У нас тоже были сложности. Кромвель, например, ненавидел компанию. Нас обвиняли в том, что мы истребляем английские леса для постройки торговых судов.

Нас обвиняли в вывозе звонкой монеты в Индию... Плебейское скудоумие, пуританская скарденность!

Ельцова удивляла и чем-то даже восхищала та страсть, та кровная заинтересованность, с какой лорд Райткрафт говорил о делах Ост-Индской компании.

— Зато после реставрации Стюартов курс акций компании вновь поднялся. Кстати, — сам себя перебил англичанин, — какие новости о Наполеоне Бонапарте? На моей родине он был мало популярен, но я прочил ему большое будущее. Я считал, что он более достоин французской короны, нежели эти Бурбоны.

Последние сведения, которые несчастный представитель Ост-Индской компании имел о Наполеоне, относились ко времени брака молодого французского генерала с Жозефиной Богарне и к событиям его блестящего итальянского похода 1796—1797 годов.

Со странным чувством непричастности ко всему тому, в чем участвовал сам или чему был живым свидетелем, Ельцов рассказал лорду Райткрафту о дальнейшем. Он помнил времена, когда споры о Наполеоне были так же необходимы в обществе, как разговор о погоде между малознакомыми и равнодушными друг к другу людьми. Он и сам пережил когда-то увлечение Бонапартом, потом возмущался преступлениями Наполеона против народов, потом жалел его, как все великодушные люди должны жалеть поверженного. Теперь Ельцов рассказывал Райткрафту о том, как Бонапарт расправлялся с врагами, как подавил свободы, которым был обязан своим возвышением, как закрыл во Франции шестьдесят газет...

Нет, это было смешно, здесь, в Хиве, клеймить человека, закрывшего во Франции шестьдесят газет. Ведь тридцать еще оставалось. Кто, кроме этого человека без лица, поверит Ельцову, что в стране было девяносто газет? Кто поймет, для чего они нужны?

Странным выглядело теперь и то возмущение, какое вызвали в свете сообщения о казни герцога Энгиенского. Боже, сколько было разговоров, притворных и искренних слез, гневных филиппик и молчаливых разочарований!

Николай Федорович рассказывал сжато и бесстрастно, но история возвышения и гибели Бонапарта была длинна.

Англичанин слушал с интересом, в начале рассказа восклицая: «Я это предвидел!» и «Я так и говорил!». Потом стал спрашивать: «А что же Англия?».

Не отвлекаясь на ответы, Ельцов рассказал, как папа Пий VII освятил восшествие на престол этого бывшего революционера и что церемония состоялась в соборе Парижской богородицы.

Естественно, что несчастный лорд Райткрафт вовсе ничего не знал ни о русском походе Наполеона, ни об ужасах московской зимы, ни о трагедии Ватерлоо, когда окончательно закатилась звезда великого полководца и восторжествовал Альбион.

Дальнейшая судьба человека, которому лорд предсказал великое будущее, сразу же перестала его занимать.

— Странно, странно, — только сказал Райткрафт. — Этот финал противоречит моим представлениям об истории.

В интонации, с которой были сказаны эти слова, Ельцов услышал осуждение самого исторического процесса.

— Видите ли, я не патриот Англии, ибо моя мать была француженкой. Я патриот Ост-Индской компании. Англичанам не хватает честолюбия и темперамента.

— На мой взгляд, — любезно возразил Ельцов, — англичане — великая нация. Мне близок их скрытый темперамент, чувство собственного достоинства и верность благородным традициям. У нас в России много англоманов. Однако, — Ельцов помедлил, стараясь выразиться мягче, — об Ост-Индской компании у нас говорят мало.

— Странно, — продолжал удивляться Райткрафт, — очень странно, что вы, русский офицер, посланный в Хиву, чтобы противостоять Великобритании, ничего не знаете об Ост-Индской компании.

— Я не послан сюда, — начал Ельцов, — я оказался...

— Это не меняет дела, — перебил Райткрафт, — меня, в конце концов, тоже никто не посылал, ни английское правительство, как таковое, ни даже правление Ост-Индской компании. Строго говоря, я шел сюда на свой страх и риск. По собственной инициативе. Поверьте мне, — он взял Ельцова за руку, — что это не меняет

дела. Я не раскаиваюсь в своем намерении покорить Хиву, я страдаю от того, что не сумел осуществить это намерение.

С приближением вечера становилось все холодней и холодней, но возле городских ворот, затем на площади у дворца в больших котлах вовсю кипела даровая похлебка в честь праздника, и запах варева наполнил город. Слепой нищий устал от ожидания еды, слюна заполняла рот, он говорил все быстрее, вместе со слюной глотая слова и перескакивая с одного на другое.

— В первые годы, когда они ослепили меня, я утешал себя тем, что не буду видеть этой выжженной солнцем земли, этого бесцветного раскаленного неба и бесцветного солнца. Вы северянин, как и я, скажите, что может быть отвратительнее бесцветного солнца?! А вот теперь, представьте, я почему-то стал опять видеть и это гнусное солнце, и это жалкое небо. Я его не только вижу, но и слышу. Оно звенит в моих ушах. Наверное, я схожу с ума. Это небо и это солнце звенят в моих ушах и наполняют голову черной желчью. Самое страшное, что я никогда не увижу пасмурный день моей родины, серое небо, густую сочную зелень, глубокую, как бархат. Я не увижу замшелых камней моего родового замка. Вы знаете, какой мох покрывает северные стены ограды? Нет слов, чтобы рассказать вам о том, как я люблю свой родовой замок. Я люблю каждый из одиннадцати каминов, они сложены из мрамора, гранита, из дикого камня и из простого жженого кирпича. В моем замке шесть дубовых лестниц, рыцарский зал и своя маленькая домашняя церковь...

Первое потрясение от встречи с нищим и от его необычайного рассказа стало проходить, и Николай Федорович уже подумывал о том, в какой форме лучше предложить англичанину поесть.

В последнее время Николаю Федоровичу не приходилось голодать, иногда он позволял себе не ходить за очередной порцией супа-шурпы или плова, которая полагалась ему ежедневно. Анна Васильевна кое-что присылала с Васькой, а ученики приносили и жареное мясо, и плов, и чебуреки. Вот и на завтра предстояло Ельцову пиршество в доме ханской стряпцы, справлявшей нечто вроде именин. Хорошо бы позвать несчастного лорда Райткрафта к Анне Васильевне, но Ельцов и сам был

там на птичьих правах. Англичанин продолжал свой рассказ.

— Простите, — решительно перебил его Николай Федорович, — но мы оба находимся в таком бедственном положении, вы... в еще более бедственном, чем я... Я хочу предложить вам кусок лепешки, потому что хлебку будут раздавать только перед пятой молитвой.

Ельцов вынул из-за пазухи халата половину патыра, сдобной, узорчагой, как пряник, пшеничной лепешки. В честь праздника Васька Европкин спер ее для Николая Федоровича со стола своего благодетеля Федора Федоровича Грушина.

Лорд Райткрафт принял лепешку спокойно, с достоинством. Несмотря на многонедельный сильный голод, он не стал ее кусать, а лишь отломил крошку и восхитился.

— Это самый лучший помол! И к тому же с гмином! Я вижу, что русским в Хиве удастся много больше, чем англичанам.

— Ешьте, прошу вас, — сказал Ельцов, — я рад помочь вам, ведь мы оба пленники и европейцы.

Англичанин отломил еще кусочек, долго-долго жевал лепешку: он закидывал голову от наслаждения, судорожно двигался кадык.

— Вы не заметили, — опять заговорил лорд Райткрафт, — что люди, попавшие в несчастье, низринутые с высоты своего положения в бездну страдания, имеют склонность несколько приукрашивать свое прошлое. Вот, например, вы. Вы действительно капитан русской армии?

— Да, — сказал Ельцов, — я капитан, хотя среди моих ровесников и товарищей есть два полковника.

Ельцов вспомнил еще и третьего полковника. Это был полковник Пестель. Он не был дружен с Пестелем, просто знаком. Тем не менее сейчас ярче вспомнились не два близких товарища, а именно Пестель.

Англичанин по-своему понял паузу.

— Да, да, со мной тоже бывает такое. Я могу вот так же замолчать и молчать долго, потому что вдруг вспоминаю, как все было на самом деле.

Ельцов, уже привыкнув к остаткам лица этого человека, увидел там гримасу боли.

— На самом деле все было не так, как я сказал вам

вначале, а много хуже. Я врал о себе, я столько раз проигрывал про себя разные варианты красивых и романтических историй, что сам уже точно не знаю, где правда, а где ложь.

Англичанин молчал, молчал и Ельцов.

— Я назвал себя лордом Райткрафтом. Это — ложь.

Англичанин опять помолчал.

— Меня почему-то перестала устраивать моя настоящая фамилия... Даже понятно почему. Я не любил ее с детства, со школы. Итак, знайте: я никакой не Райткрафт, не лорд. Я просто Хоп! Хоп — три буквы! Вы знаете, что такое «хоп».

Николай Федорович знал это слово. Ничего особенного в нем не было. Хоп — значит «скакать на одной ноге», «подпрыгивать», «приплясывать», в некоторых случаях еще и «удирать».

— Я никогда не был в настоящем замке и наврал вам про семь каминов, — продолжал несчастный. — про семь мраморных каминов...

— Про одиннадцать, — уточнил Ельцов.

— Нет, нет, — хохотнул англичанин. — Семь, мраморных семь. Из гранита, дикого камня и кирпича остальные четыре. Мой отец был булочником. Я был смышленным сыном булочника. Я хорошо учился, потому что мало играл со сверстниками. Я мало играл со сверстниками, потому что хромал. Я родился с хромой ногой. Я вырастал с ощущением собственного уродства. Мне казалось, что все смотрят на меня, что все смются надо мной, что деревенские собаки лают на меня, потому что я хром. Поэтому я сидел за книгами, поэтому я был прилежен в занятиях, потому хотел разбогатеть. О, вы не знаете, что значит хромать с детства. Отец отвез меня в пансион, и я никогда не забуду унижений, которые мне пришлось вынести из-за своего врожденного уродства.

Нищий встал и начал ходить вдоль стены.

— Вы скажете, что моя хромота незаметна. Смотрите внимательней. Я специально вырабатывал походку, такую походку, при которой хромота была бы менее заметна. Может быть, я и добился своего, но в результате стал подпрыгивать или приплясывать. Неизвестно, что хуже для человека с такой фамилией.

Человек без глаз, без носа и без ушей говорил о своей действительно едва заметной хромоте с такой болью

и страстью, что Ельцов понял, какие унижения — действительные или кажущиеся, что в конце концов все равно, — перенес Вильям Хоп в детстве.

— К двадцати годам, — продолжал англичанин, — я был достаточно образован, чтобы занять место учителя или старшего клерка. Именно тогда мне предложили поехать в Индию. Можно проклинать тот день, когда я дал согласие. Можно. Посудите сами, я не мог поступить иначе. Индия обещала богатство, при котором хромота не имела значения. Подумайте сами, хромой учитель! С той идиотской нарочитой походкой, которую я порой ненавидел больше, чем свою хромоту. Представляете, хромой учитель входит в класс?

— Я понимаю, — сказал Николай Федорович. — Однако Байрон тоже был хром, и это не мешало ему...

— Джон Байрон, вице-адмирал и губернатор Ньюфаундленда? — спросил англичанин.

— Нет. Его внук. Джордж Ноэль.

— Джордж Байрон? — переспросил англичанин. — Я не слышал о таком.

— Ну как же? — в свою очередь удивился Ельцов, не сразу сообразив, что почти вся блистательная трагическая жизнь знаменитого английского поэта пришлась на годы, когда этот несчастный клерк провел в качестве пленника в Хивинском ханстве. — Джордж Ноэль Гордон Байрон — его полное имя. Лорд Байрон, великий поэт, человек поразительной дерзости и благородства. Он умер в 1824 году, совсем молодым, но успел побывать во многих странах: в Испании, Албании, Греции, Турции... — Ельцов улыбнулся, пользуясь тем, что англичанин не видит его улыбки, и добавил: — Правда, с несколько иными целями, чем вы.

— Вот видите! — закричал нищий. — Вы же сами сказали! Лорд Байрон! Один или другой, губернатор или поэт — какая разница! Лорд! Лорд может себе позволить быть хромым или косым, а я — сын пекаря и прилежный ученик притом. Лорд! Если б он не был хромым, он скорее всего не стал бы поэтом. Вы думаете, люди становятся поэтами оттого, что у них все в порядке? Нет! Они хотят перепрыгнуть через себя. Таков и этот Байрон, который мне абсолютно неинтересен, ибо хром я, следовательно, таков, как я.

Ельцов слегка рассердился.

— Если уж вы так настойчивы в поисках сходства по этому недостатку, то я сравнил бы вас с Тимуром, Тамерланом, Железным Хромцом.

Англичанин обрадовался, увидев в этом еще одно подтверждение своей теории, и долго рассуждал о том, к чему приводит физическая ущербность, а также о судьбе. О роке. О фатуме!

Из длинного, путаного и нервного рассказа Ельцов узнал, что молодой клерк Ост-Индской компании решил проникнуть в Среднюю Азию, чтобы основать здесь фактории и выдвинуться из служащих в хозяева. Клерк пришел сюда через Кабул. Под видом индийского купца он попал в благородную Бухару. Но по дороге в Хиву на караван напали туркменские разбойники, и остальную часть пути в Хиву Хоп проделал с петлей на шее.

— Меня продали на базаре дешевле других, потому что я хром. Они говорили: он хромой и к тому же злой. Я понимаю их. Раб должен быть здоровым и добрым. Я подождал, чтобы меня сбыли хивинцу. Важно было освободиться от неграмотных разбойников. Новому хозяину я объяснил, кто я такой. У меня сохранились мои документы, письмо компании, которым я заручился. Но никто не хотел меня слушать, до меня никому не было дела, и, самое страшное, мне не верили, что я англичанин. Мне говорили: «Ты слишком хорошо говоришь по-нашему. Ни один иностранец не говорит так по-нашему. Если даже ты и френги, то родился здесь. Можно обмануть глаз, но нельзя обмануть ухо». Разве я знал, что моя способность к языкам погубит меня... Вы были женаты? — вдруг спросил Вильям Хоп.

— Нет, — ответил Ельцов. — Когда-то сделал предложение, мне отказали, больше я не сватался.

— У нас много общего, — сказал англичанин. — Я тоже решил не жениться, пока не разбогатею.

Удивительно, до чего хотелось этому человеку во всех находить сходство с собой. Видимо, его это утешало, хотя на самом деле должно было бы огорчать.

Из загородных садов, с поля состязаний, к воротам потянулись всадники. Пыль, поднятая копытами коней, поднималась лениво и недвижно застывала над дорогой и тропинками, а в городе всю бурлили котлы с похлебкой в честь победы хана.

Два молодых всадника в огромных бараньих шапках

на прекрасных аргамаках скакали по узкой улочке близ сторожевой башни. Вдруг они увидели Ельцова, беседовавшего с нищим, у которого не было лица. Они подъехали и спешились. Первым поздоровался Шерали. Он чувствовал себя старшим в паре с Юсуфом, говорил решительно:

— Мы бы очень хотели завтра встретиться с вами. Приходите к Юсуфу утром. Можете с самого утра.

Юсуф добавил:

— Если вам удобно, домла. Если вам удобно, вы можете прийти утром. Если хотите, мы придем к вам, назначьте час, мы будем вас ждать. Или придем.

— Хорошо, --- сказал Ельцов. — Приходите ко мне в любое время. Я буду рад.

Молодые люди вскочили на коней и умчались. Англичанин спросил:

— Кто эти молодые невежды, называющие вас учителем?

— Я раб одного из них, — ответил Ельцов. — Отец этого юноши, мой покойный хозяин, временно уступил меня хану. Я был очень слаб после наказания плетью.

— Эти двое, жаль, я не видел их глазами, вели себя, как наследные принцы. Боюсь, что русская разведка преуспеет в Хиве больше, чем одинокий энтузиаст из Ост-Индской компании.

Глава одиннадцатая

ЗЕМЛЯКИ

Нагнулись надо мной родимых вязов своды,
Прохлада тихая развесистых берез!

В. Кюхельбекер

I

Анна Васильевна Костина жила в двух невысоких комнатах с глиняными полами и стенами, аккуратно к этому дню выбеленными. Это была пристройка к кладовой и кухне, но с отдельным двориком. Дворик ханской стряпки отличался от других хивинских дворов. Тут было что-то вроде завалинки и несколько огородных грядок. Под окошками летом росли подсолнухи. Однако

главной достопримечательностью была настоящая русская печь, стоявшая, к тому же, не в доме, а прямо посреди двора под дырявым камышовым навесом. Анна Васильевна с не свойственным ей сердитым лицом хлопотала возле печи. Не часто приходилось ей в здешних местах затевать такое угощение. Пироги начинать, как замуж идти, заранее не скажешь, что в конце получится. Пироги готовились разные: с мясом, с рыбой, с рисом и яйцами, с яблоками и курагой. Вдобавок к русской еде поспевал и плов, к которому здесь все очень пристрастились

Гости сошлись вовремя, как приглашали, пироги же слегка задерживались. Анне Васильевне развлекать гостей было не с руки, однако и гости не очень обращали внимание на хозяйку, потому что на завалочке сидел старик и, положив руки на колени, пел.

Седая его голова была опущена вниз, глаза прикрыты.

Старик пел протяжную народную песню, слушая которую, Николай Федорович остро, как детское одиночество, ощутил щемящую близость России. Он понял, вернее вспомнил, что первый раз по-настоящему испытал силу русской песни не дома, не в детстве, а здесь, в неволе, в Хивинском ханстве, а еще точнее — в курганче «Добро пожаловать». Да, именно здесь, а никак не на родине, не у себя в имении под Тулой. Но ведь пели же и там, пели! Почему же он не вслушивался, не понимал?

Старик певец показался Ельцову знакомым. Да это был и не старик вовсе. Это был тот самый парень, которого впервые слышал он здесь на пасху перед побегом.

Как во славном городе Астрахани
Появился добрый молодец,
Добрый молодец Емельян Пугач;
Обряженный он в кафтанчик сто рублей,
Шефорочек на нем в пятьдесят рублей,
Шапочку набекрень держит;
Во правой ли руке тросточка серебряная,
На тросточке ленточка букетовая.
Хорошо он по городу погуливает,
А тросточкой упирается, ленточкой похвывается.

Николай Федорович вспомнил Акима Туликова, вспомнил, как вместе с ним слушал того же певца и похожую песню, вспомнил, наверное, еще и потому, что бедолага Аким был из Астрахани. Кажется, из Астрахани или из Сызрани. Как странно, однако, на всю жизнь Аким был потрясен предательством соседа-рыбака Пети Кирпечая, продавшего его в хивинскую неволю. Но ведь и сам Аким не возмутился, узнавши от самозванного попа про то, как по возвращении на родину предадут они Ельцова российским властям.

Соленое болото, соленая вода, лошади, облепленные мухами и слепнями. Арал.

Певец пел, его слушали, как, наверное, древние греки слушали Гомера. Казалось, что слушателям важен лишь сюжет, но на самом деле завораживал ритм, вобравший в себя и отношение рассказчика к героям, и динамическое развитие сюжета, и поражающие наивностью детали.

...А тросточкой упирается, ленточкой похваляется.
Со князьями, со боярами не кланяется,
К астраханскому губернатору и под лад не идет,
Астраханский губернатор призадумался —
Он увидел из хрустального стекла;
Посылает за ним слуг верных
Допросить его словесным допросом.

— Небось не по душе тебе песня? — тихо спросил Ельцова Тихон Рязанов, плотник ханского конюшенного двора. — Не про то поет?

— Хорошая песня, — возразил Николай Федорович. — Складная, и поет хорошо. Только очень постарел певец, болел, что ли?

Тихон усмехнулся:

— Заболеешь.

Допрашивали его словесным допросом:
— Какого ты рода-племени,
Царь ли ты или царский сын?
А он им на то молвил:
— Я не царь и не царский сынок,
Я родом — Емельян Пугач,
Много я вешал господ и князей,
По России вешал я неправедных людей..

— Он постарел, да и ты не молодеешь, — дослушав песню, опять заговорил с Ельцовым Рязанов. — Ты раз в побег ходил, он два разá. Он в песках сорок дней блуждал один. Сусликов ел ящериц, змей ядовитых. Он придурочный у нас, блаженный. Кто за волей бежит, а он за травой да за березой.

— Как это? — не понял Николай Федорович.

— Очень даже просто. Неужто, говорит, не увижу я ни березу белую, ни траву шелкóвую, ни речку чистую, ни мать родную. От своей тоски поседел, постарел, зубов решил, а все поет.

Васька Европкин, слушавший этот разговор, вдруг встрепенулся, вскочил и с радушной улыбкой двинулся к калитке. Во двор входил Андрей Иванов.

— Входи, отец Андрей, входи, батюшко, — поклонился ему Васька. — Давно тебя ожидаем.

Иванов был в красной выгоревшей рубахе, подпоясанной плетеным кушаком, в грязно-белых шароварах, пошитых по местному фасону, в стоптанных сапогах. На волосатой груди висел большой деревянный крест на лохматом веревочном гайтане.

Андрей Иванов знал, что нигде ему не рады, не верил и в радушие Васьки Европкина. Лицо у Андрея было злое, на Васькино лебезенье он ответил сквозь зубы, всем видом говоря, что плевать ему на косые взгляды и на то, что потом скажут за его спиной. Он хотел думать, что не стыдится палаческой службы хану и красной рубахи, что служение господу все искупает ему в глазах земляков. На самом же деле совесть ела его, глодала. Только не все люди делаются лучше от угрызений совести, многие становятся еще хуже, опаснее и беспощаднее, ибо знают про себя такое, чего самые добрые люди простить им не сумеют.

Николай Федорович не ожидал, что ему придется сидеть за одним столом с палачом и предателем. Если бы знал, не пришел бы, отказался просто или бы причину нашел. «Могли бы и предупредить, — с обидой подумал он, — хотя что я за птица такая, чтобы думать обо мне. Просто я сам потихоньку уйдú, незаметно выйду за калитку, никто и не спохватится». Он простил бы Андрею Иванову тот подлый умысел, ведь простил он Акиму, полностью простил, но не мог Ельцов забыть того, как спокойно ушел Андрюха с площади, как подмигнул:

обреченному на пытку Ельцову, как ухмылялся, полблрая с земли свои вещички, как шагал, ни разу не оглянувшись.

— Здорово, барин! — сказал поп Андрей, и во взгляде его не было ни виноватости, ни осторожности.— Кого только не встретишь на именинах у Анны Васильевны!

Ельцов не ответил. Жаль, что не смог уйти незаметно, но разговаривать с предателем он не будет. Глядя мимо Иванова, Николай Федорович направился к калитке, перешагнув через высокий порог. Но остановился. Долгий этот вечер должен был скоро кончиться, и Ельцов был рад, что не останется здесь, не будет мараг себя.

Он сделал всего несколько шагов, когда его окликнула Анна Васильевна.

— За стол садиться, а ты со двора? — повариха стояла в калитке с полотенцем в руке.

— Устал я, — сказал Ельцов, — уволь, Анна Васильевна!

Бесшабашный Васька, уже не раз и не два приложившийся к чарке, заговорил одновременно подобострастно и панибратски:

— Обижаете нас, Николай Федорович, обижаете, что гребуете нами, то есть брезговаете. Мы ж понимаем, кто вы, а кто мы. Однако ж в неволе все должны вместе...

От этого фальшивого тона Николай Федорович почувствовал почти физическую боль. Странное дело. Раньше Ельцов, видимо, не замечал Васькиного холуйства, а теперь стал замечать. Почему это? Обращаясь только к ханской стряпке, он сказал:

— Не могу я за одним столом с Андреем, уволь, Анна Васильевна.

Та серьезно и строго поглядела на Николая Федоровича и сказала Ваське:

— Скажи попу, чтоб уходил, никто его не звал.

— Как же, Анна Васильевна, — растерялся Васька. — Надо было сразу упредить.

— Скажи Федьке, — приказала Анна Васильевна. — Федька выгонит.

Васька скрылся за калиткой. Ельцов стоял, понунив голову. Анна Васильевна вдруг, протянув к нему руку, коснулась щеки.

— Жалкий ты какой... прямо сердце разрывается —
И добавила — Жалконький...

От тона ее и ласки, от слова длинного и странного «жалконький» Николай Федорович ослабел и почувствовал себя ребенком рядом с мудрой и взрослой нянькой.

А ханская повариха взяла его за руку и повела. В дверях они столкнулись с Андреем Ивановым. Он спешил, а вслед ему неслошь:

— Проваливай святой отец! Незванный гость хуже татарина! У нас, чай, не свадьба и не похороны. Без попа обойдемся. Иди, иди!

Это шумел Федька Грушин. С ним не поспоришь.

Анна Васильевна хлопотала с удовольствием. Она все ставила и ставила на стол какие-то горшочки и тарелочки, чугульки и судки, из которых пахло забытыми русскими разносолами. Разместив всех удобно, Анна Васильевна примостилась на краю грубо сколоченной лавки и радостно вздохнула.

— Ох, лавочка дубовочка... Хоть в праздник по-христиански посидишь.

Пока Васька наливал в пиалы мутный самогон, Ельцов оглядел присутствующих. Хорошо знакомыми были, пожалуй, только Федька Грушин, неунывающий Европкин, певец, Тихон Рязанов и сама хозяйка. Остальных — двух немолодых мужиков и стеснительную бабу неопределенного возраста — Николай Федорович знал только издали, хотя встречал, так как и они были не из простых невольников — работали при ханском дворе. Гости, принаряженные, причесанные, сидели, по русскому застольному обычаю, чинно, не разглядывая поставленного на стол. Анна Васильевна подняла пиалу с самогоном, оглядела всех, улыбнулась.

— Ну, потревожу я вас. Ишь молчуны собрались. Давайте-ка, мужики... Не каждый день мы вот так-то, рядом да ладком, промеж русских глаз.

Выпили.

— Хорош первачок, — сказал Федька Грушин.

— Угадали, Федор Федорович, — улыбнулся Васька, — именно первачок. Самые, можно сказать, вершки для вас, ваше благородие. А что похуже — ханскому отродю.

Николай Федорович смотрел на Ваську с удивлением.

Бывший его камердинер, типично дворовый человек, презиравший все деревенское — деревенскую речь и прибаутки, — сейчас изо всех сил старался подладиться к Анне Васильевне и Федьке. Видимо, прежде он так же ловко прилаживался к Ельцову. Вообще Васька процветал. Даже несмотря на то, что новую винокуренную машину к возвращению хана так и не построил. Сошло. Быстро наладили старую бандуру, заквасили бражку, затопили печку, закапал из змеевика спирт.

Выпили по второй. Навалились на закуску.

Николай Федорович откусил крепкий соленый огурец. Расстаралась Анна Васильевна, насолила огурчиков с чесноком и укропом.

Зорким взглядом хозяйки глядела Анна Васильевна и поняла, что Ельцову понравилось.

— А ты яблочков моченых отведай.

Васька разливал самогон.

Всякий раз, когда судьба близко сводила Николая Федоровича с его соотечественниками здесь, в Хиве, он против воли задавался вопросом, какими были эти люди в России и как попали сюда. Слушать их рассказы он любил и умел.

За столом царил Грушин. Он — в который, видимо, уж раз — рассказывал историю своего пленения и первых лет житья в Хиве. Эта тема, как давно заметил Ельцов, чаще всего повторялась в рассказах русских невольников. Об этом не уставали вспоминать, про это не надоедало слушать.

— Пригнали, значит, нас в Хиву. На третий день купил меня сам хан Мухаммед-Рахим и заплатил за меня пятьдесят голландских червонцев. Мой трухменец продал меня Худайбергену тоже за пятьдесят, так что никто не нажился. С хана своего ни барышей, ни магарычей здесь взята не смеют. Ну, сперва нарядили меня в работу в пригородном доме ханском. Так прошел год. И вздумал я с товарищем Дмитрием, да с другим пленным, Платоном, крестьянином казанского помещика Киселева, бежать. Хан был о ту пору на охоте. Мы благополучно ушли и хотели пробраться песками через Усть-Урт. На четвертый день захватили нас в песках трухменцы и представили снова в Хиву. Кушбегн — не этот был кушбегн, а другой тогда — велел дать каждому из нас двести нагаек. На том все и кончилось.

Федор Федорович знал, что его не перебьют. Он успевал и выпивать, и закусывать, и рассказ вести. Слушали его хорошо.

— Опять жил я там в черной работе два года. И опять сбежал. С Осипом рябым, помните? На несчастье наше, пошли прямо к Персии. Десять дней шли ночами. И опять поймали нас трухменцы. На этот раз Осипа до смерти заporоли. А я отживел, на своих ногах после порки пошел.

Этимн словами Федор как бы укорил Ельцова.

— Про меня тут всякое болтают, — продолжал Грушин, — что я басурманом сделался, что проданся. Однако я ведь своих не забижаю без дела, а за дело — сам бог велел. Хан меня, однако, за силу любит, а не за холуйство.

Все тут знали историю Грушина, и свой сегодняшний рассказ Федька адресовал Николаю Федоровичу. То ли поучал его, как надо жить, то ли хотел узнать, правильно ли сам живет.

— Случай выпал мне особый. Поднял я однажды, как заставили меня во дворе ханском таскать пшеницу, мешок в тринадцать пудов и свалил его где следовало, на чердак. Хану зараз об этом доложили. Он пришел, на мешок посмотрел и велел с той поры хивинцам звать меня Палванкулом, богатырь-раб по-ихнему. Другого прозвания мне не было. Упокойный хан искал и любил силачей. Заставил он поклясться меня, что больше не сбегу, дал мне ружье, копье и определил в войско. А потом еще пуще полюбил меня. Столкнул он меня с другим палваном, природным хивинцем, который за силу свою был в большой чести у хана и которого боялись за силу во всей Хиве, как сатаны. «Погоди,—подумал я,—нешто не собою я с тебя спеси!». Сперва хан заставил и его поднять мешок пшеницы, и он его приподнял. «Ступайте же, меряйтесь, — сказал хан, — пытайте силу. Хочу знать, кому из вас быть палваном». Тот пошел, подполз под арбу с дынями, надулся, понатужился и приподнял ее на хребте. Полез и я в свой черед. Тяжелая была, правда, а приподнял-таки и я арбу. Приподнял, тряхнул и опустил опять на место.

Гости теперь плохо слушали рассказ Грушина и говорили между собой все громче и громче. Только Васька

Европкии, оторвавшись от какого-го интересного ему разговора, подобострастно спрашивал:

— Дальше-то, Федор Федорович, дальше-то что было?

Грушин вроде бы и не заметил Ваську. Он продолжал рассказывать одному Ельцову.

— «А теперь, — сказал я, — спину ломагь да надсаживаться по-пустому нечего. Пусть-ка хан ваш прикажет нам выйти по-нашему, по-русски, вдвоем на кулачки. Тут-то уж фальши не будет никакой». Хан, покойник, сам до этого додуматься не мог, как услышал, обрадовался, ровно дитё, приказал нам драться зараз. Послали за тем палваном, а он отказался. Хан приказал меня вызвать, а его силком привести. Говорит ему: «Дерись на кулачки, по-русски, при мне, сейчас». Хивинец ему в ноги: «Хоть режь, хоть секи, говорит, а драться не стану. Непривычный я драться без обиды, не за что, у меня на него злобы нет. Без причин драться аллах не велит».

— Гляди-ко, струсил, значит, — подобострастно удивился Европкии.

Грушин только скосил на него глаза и продолжал:

— Хан говорит мне: «Побей его, обидь, пусть рассердится». А меня чего просить! Меня и дома всю жизнь зазря обижали, и я не хуже других. У нас хоть обидеть, хоть ударить всякий обучен. Я ударил было раз, другой — легонько. А он выскочил в дверь, через ворота вылетел и забился промеж народа на базаре. Хан едва не заплакал с досады, мне его аж жалко стало. Этот Мухаммед-Рахим, уж на что зверь, а огорчился, как дитё малое. «Поди, — говорит он мне, — найди его на базаре, и коли он и там драться не станет, так избежь его, чтоб больше не грусил...». Тоже ведь понимать его надо. Обидно ему за своих. Пошел я. Поймал его за ворот, привел ко дворцу. Он опять свое говорит: «Непривычен я драться просто так. У меня человека бить рука не подымется». Что ж! У него, к примеру, совесть живая еще, не потерянная, не мятая, не жеваная, не может он без зла глаз выбить. А я-то ведь давно все могу. Он говорит: «Когда другне дерутся, мне и то больно». И давай от меня рваться вбок, в толпу. Мне тоже хана ожиданием гневать нельзя. Я, недолго думая, отвесил ему заушин добрых, избил всего в кровь. И зубов дочелся ль он, не знаю. Там я его и кинул. Народу было — вся Хива! Хан

веселился, очень меня расхваливал да подзуживал. С той поры стал я первым, не стало мне ни ровни, ни супротивника, и никто по целому ханству геперича не смеет мне слова поперек сказать...

Это Ельцов знал. Однако рассказ Федьки ему не понравился и сам Федька тоже. Нашел чем бахвалиться!

— Много меня судьба катала и за удаль, и по глупости, а чаще за хмельное, — продолжал Федька. — Бырает, с горяхватишь, и уж тут я виноват, чего греха таить: чуть за ворот попало, так и сам черт мне не брат. Не останется скоро у хивинского хана придворного человека, которому я зубы не считал. Я, барин, и при нынешнем хивинском хане навроде как Добрыня Никитич при князе Владимире Красно Солнышко.

— Верно, Федор, — сказал Ельцов, глядя в голубые глаза Федьки, и поднял свою пиалу. Он хлебнул противного теплого самогону и опять поглядел Грушину в глаза. — Значит, ты — Добрыня Никитич, а хан наш — Владимир Красное Солнышко? — Ельцов спросил с усмешкой, но, сказав фразу до конца, подумал, что не так уж нелепо это сравнение, и спросил еще: — А поп Андрей при хане кто? Палач ведь. В твоей он дружине?

— Не-ет! — возразил Федор. — Андрюха при хане, как Малюта при Грозном.

Ханский телохранитель не хотел стоять рядом с палачом, он резко проводил границу, но Ельцову казалось, что разница не так велика.

...Застолье распалось. Кто-то уже храпел под лавкой, кто-то вышел в соседнюю комнату. Федор предложил Ваське выпить. Николай Федорович встал из-за стола и направился к Анне Васильевне. Та была трезва, спокойна, складывала в большую лохань грязную посуду.

— Анна Васильевна, — заговорил Ельцов, — вы-то как в плен попали? Ну, мужики, ладно: кто по рыболовству на Каспии, кого с Эмбы взяли, солдат в плен попал, каторжник, вроде попа Андрея, сам прибежал. А вы-то ведь женщина!

— Как попала? — переспросила Анна Васильевна. — По колдовству... Кто как попадает. Кто по глупости, кто по судьбе, а я по колдовству. Ворожейка у нас была. Иван дочку ее обидел, а женился на мне. Иван — это мужик мой, а она — ворожейкина дочка. Ворожейка-то

все и подстроила... Угнали Ваню в киргизские степи, я за ним помахала. А за неделю до Ильи-пророка нас на сенокосе киргизцы и взяли. И то, почитай, повезло мне. Ивана-то убили, зато я жива осталась. А ведь ворожейка пуше всего меня хотела извести.

— А ты, Анна Васильевна, веришь в колдовство?

— Господи! — удивилась стряпка, — во что же еще верить, как не в колдовство! Вот ты сам, барин, подумай. Это все началось у нас в деревне после свадьбы на девятый день.

Она сидела над лоханью с грязной посудой и рассказывала:

— Спали мы с Иваном на выходе. Выходом у нас в деревне называют землянку, возле избы сделанную, — туда на лето сундуки да и другое добро вытаскивают, чтоб не погорело. Избы-то в покосную пору часто горят. Вот мы с Иваном пристроились в такой земляночке спать: хорошо, не жарко... Раз утром выходим мы с ним — рано еще было, солнышко только поднялось, — гляжу я, прямо у двери валяется мешочек красенький, аккурат такой, как мы с собой в страду брали с хлебцем. Вот лежит этот мешочек завязанный — есть в нем что-то значит. Я как-то не подумала даже и прямо нагибаюсь его поднять. А Иван меня под руку: «Будет тебе незнамо чего руками хватать». Я и не подняла мешочек-то, а так просто ногой его отпихнула. Да и забыла. Только вечером сели мы за стол, чувствую — ноги мои огнем горят. Дальше — больше. К ночи глянула: пошли по ногам нарывы страшные. Боль — света не видишь! Утром на работу — не могу, лежу как без памяти. Свекровь моя за бабушкой Агашей побежала, была у нас в деревне добренькая такая ворожейка. Бывало, у кого зубы или живот прихватит, сейчас к ней. Помогала, никому не отказывала. Вот пришла Агаша, глянула на мои ноги да и говорит: «Ну, девка, тебе смерть готовили, видно, мешаешь ты в деревне кому-то. Сделано это дело крепким заговором, и я тебе не помогу. А вот есть в соседней деревне дедок один, он этот заговор снимет». Ушла Агаша, а мы с Иваном враз и вспомнили: вот он, мешочек-то красенький, для чего подкинут был! Хорошо — ногой отмахнула, взяла бы в руки — нипочем живой не быть бы. На нем смертный заговор сделан был... Ну, свезли меня к дедку тому, про которого Агаша

говорила. Он помог. Правда, не сразу... И пленение это хивинское она подстроила, ворожейка.

Ельцов слушал рассказ Анны Васильевны, не споря, зря не переспрашивая. Он привык к тому, что у разных людей существуют и разные объяснения для того, чтобы уяснить себе причины сложных или даже не слишком сложных событий. У него не было никакого желания доказывать Анне Васильевне невозможность колдовства. Достаточно ее слов: «Господи! Во что же еще верить, как не в колдовство?»

В соседней комнате все спали вповалку, а ханская стряпка подробно и тщательно убиралась, мыла, перетирала посуду. Ельцов не мешал ей заниматься делами, не отвлекал: слушал и слушал. Господам все интересно, зато Анна Васильевна по России еще помнила.

Спать Ельцов лег рядом с Васькой, устроился на краю тощего тюфячка. Было душно, от пола слегка веяло земляной свежестью и прохладой. Ельцов закрыл глаза, и поплыл перед ним знакомый проселок: крестьянская рожь пополам с васильками, бугристый выгон, мальчишка-подпасок лет восьми, заморенный и сопливый. За спиной пастушонка пастух стоял, тоже заморенный. А Ельцов будто ехал в коляске мимо, не быстро ехал, дорога мягкая, пыль недавняя, дождем прибитая, поодаль большие березы, развесистые...

Нагнулись надо мной родимых вязов своды,
Прохлада тихая развесистых берез...

Чьи стихи, Николай Федорович вспомнить не мог.

— Шапку сыми! — вдруг испуганно гаркнул пастух подпаску и дал мальчонке подзатыльник. Сильно ударил, нерасчетливо. Мальчик упал как подкошенный, а Ельцов проснулся с сердцебиением.

Опять уснуть удалось не скоро. Он страдал от того, что сегодня среди земляков лишний раз убедился в своем одиночестве и в том, что одиночество это непобедимо. Когда-то он как барин мог любить своего камердинера Ваську, как офицер мог бы быть расположен к бравому Федору Грушину, как помещик — к сноровистой поварихе Анне Васильевне. Теперь же, оказавшись рядом с ними, Николай Федорович понимал, что любви в нем нет. А то, что раньше казалось ему любовью, было всего-навсего снисходительностью.

Он думал о странной покорности судьбе, о вековой привычке к беде и к отсутствию справедливости. О том, что способность к сравнению заменяет людям потребность мыслить. Сравнил — и объяснять не надо. Очень у них просто выходит: я, мол, Добрыня Никитич при Владимире Красное Солнышко, а он, как Малюта при Грозном. Ельцов подумал о молодых хивинцах, окружавших его, о чтении «Истории Государства Российского», подумал, что сам он вполне, если идти по пути сравнений, мог бы претендовать на то, чтобы стать Лефортом при каком-нибудь здешнем Петре Первом. Лефорт — пожалуйста, Петра только нету.

Глава двенадцатая

УЧЕНИКИ

Наш ум — не раб чужих умов.
И чувства наши благородны.

Н. Языков

I

Молодые люди поступили неразумно, если не сказать — опрометчиво. Не стоило без предварительного согласия Ельцова приводить к нему новых учеников. Тем более таких.

Один был сыном кушбеги, другой — тура, по местному: принц правящей династии. Николай Федорович не имел ничего против новых слушателей, но теперь ему приходилось следить за каждым своим словом, проверять, правильно ли поняли его Матнияз и Хамид.

Кто знает, может быть, в лице Хамида-туры судьба посылает ему случай помочь формированию такой фигуры, как Петр Первый? Вряд ли. Хамид-тура не был в числе возможных претендентов на престол, да и Аллакули только еще начинал царствовать. Сын первого министра, пожалуй, значил не меньше, чем принц, и другой бы учитель возгордился, заполучив двух таких учеников. Честь! Однако в первое время Николай Федорович сбивался с тона, лишился той свободы мысли, легкости рассуждений, приподнятости, которые необходимы любому властителю дум. Да, именно властителем дум со-

знавал себя Ельцов, именно так все и получалось в действительности. Следует при этом пояснить, что он был властителем дум, но не поступков. Слишком далеко находились факты и мысли, которые сообщал он ученикам, от действительности и среды, в которой эти люди жили.

Вот ввиду сложности и мрачности жизни не следовало приводить новеньких без всякого предупреждения. Это, конечно, сделал самоуверенный Шерали. Он и представил их Николаю Федоровичу, сказав, что молодые люди все знают о системе занятий, сами хотели бы немного изучить русский, интересуются жизнью России и других стран Запада.

В первый день знакомства было принесено обильное угощение. Десяток сдобных лепешек, пирожки с мясом и луком, фунтов десять сушеной дыни, изюм и — самое восхитительное — целая плитка чая. Все это было кстати, потому что прикорм, который Николай Федорович получал от ханскойстряпки, выглядел подачкой, а приносимое учениками — честно заработанной платой.

В тот день, когда за дастарханом в каморке Ельцова впервые сидело не четверо, а шестеро, разговор тек медленно, и Николай Федорович был благодарен Азиму, взявшему на себя труд вести беседу. Азим делал это со свойственной ему деликатностью; он стал рассказывать Ельцову о том, что узнал об устройстве паровой машины, что понял и что хотел бы выяснить.

Оказалось, что медник уже сделал цилиндр, в котором движется поршень, соединенный с шатуном Шагун, в свою очередь, прикреплен к одной из спиц тяжелого колеса, и если пар толкнет поршень, шатун крутанет колесо, а уж сила вращения вернет поршень в исходное положение. Сложность в том, чтобы колесо не оказалось слишком тяжелым для силы пара, но достаточно тяжелым, чтобы заставить поршень после сделанной работы вернуться на свое место.

Пока Азим рассказывал, Ельцов вспомнил, что именно так и устроена паровая машина. Он читал про это, ему это объясняли. Именно тяжелое колесо и возвращает поршень на место, и шатун крепится к нему. Маховик, так, кажется, называют это тяжелое колесо. «Почему же я не запомнил всего этого раньше, почему мы, русские, образованные люди, так пренебрегаем до-

стижениями техники? — думал Николай Федорович. — Неужели так будет всегда?» Ельцов не мог вспомнить никого из людей своего круга, кто знал и любил бы точные науки, кто интересовался бы достижениями в этих областях. Вот и сейчас Николай Федорович поймал себя на том, что не следит за рассказом Азима, отвлекся.

— У меня теперь такой вопрос,—продолжал Азим,— как сделать, чтобы пар из котла то поступал в цилиндр, а то не поступал бы. Можно, конечно, сделать это при помощи крана, но настоящая машина наверняка устроена иначе.

И тут Николай Федорович вслед за словом «маховик» радостно вспомнил еще одно: «золотник». Бесспорно, что он слышал это слово в связи с устройством паровой машины. Однако радость Ельцова сразу угасла: каков он, этот золотник, вспомнить не удавалось. «Золотник, — вертелось в мозгу у Ельцова, — золотник... Мал золотник, да дорог». Какая обида, какой позор! Видел же он паровую машину, но ничего не понял и не запомнил!

Досадуя на себя, Николай Федорович смог все же оценить деликатность Азима, который, не желая ставить учителя в неловкое положение, скомкал свой рассказ о паровой машине, вопросов не задавал, извинился, что отнял много времени, замолчав, слегка отодвинулся от дастархана, оказался в тени.

Разговор продолжил Юсуф, он попросил Ельцова рассказать о том, кто таков автор «Истории Государства Российского» и за что он пользуется уважением русского царя и образованной части народа.

Постепенно восстанавливалась атмосфера, которая всегда царила во время бесед учителя с учениками. Вся разница в том, что теперь учеников было не трое, а пятеро.

Двое новых слушали внимательно, ни о чем не спрашивали, но, когда Ельцов собирался уже заканчивать занятие, сын кушбеги, в упор глянув на Николая Федоровича, сказал:

— Темные, невежественные люди из числа ваших соотечественников говорили, будто вы замыслили убить русского падишаха. Потом вы были вынуждены бежать к казахам и оказались в Хиве. Так ли это?

Вопрос был поставлен в лоб, прямо, без всякой уч-

тивности. Никто из его постоянных учеников не спросил бы так. Воспитание не позволило бы.

Ельцов хмуро встретил любопытствующий взгляд Матнияза, и молодой человек опустил глаза.

— Это не так, — сказал Николай Федорович. — В этом нет правды. Я никогда не принадлежал к числу заговорщиков и даже осуждал их замыслы...

Ельцов понимал, что не может ограничиться ответом такого рода. Ему попросту не поверят.

— Я осуждал их замыслы, хотя в них было много благородства, отваги и самоотречения. Это были великодушные люди, и хотели они хорошего...

Нет, и этого было мало для объяснения того, что случилось 14 декабря. Он должен был бы рассказать о Петре I, о Екатерине, о надеждах, связанных с личностью императора Александра I, об идеях Французской революции, о войне с Наполеоном, о двенадцатом годе, о том, что увидели русские люди, пройдя всю Европу до Парижа. Он должен был бы рассказать обо всем, он пытался делать это, то вдаваясь в излишние подробности, то опуская важнейшие объяснения вовсе не понятных хивинцам явлений.

Кое-как Ельцов перешел, наконец, к рассказу о создании тайного общества, о том, что, разуверившись в государе императоре, многие начали думать о том, чтобы силой ввести конституцию и установить в России если не республику, то, во всяком случае, такую монархию, где главную роль играл бы парламент наподобие английского. (Боже, сколько здесь пришлось объяснять: «конституция», «республика», «парламент»!). Николай Федорович объяснил, что многие участники этих проектов вовсе и не думали всерьез приступить к насильственным действиям, что разговоры о политике — род недуга, которым заражены образованные слои русского общества, и что даже те из участников тайного общества, кто рассуждал о цареубийстве, вряд ли были способны на такое. Совсем вскользь он рассказал о событиях на Петровской площади, о попытке возвести на трон великого князя Константина и о том, чем это кончилось для тех, кто был непосредственно связан с участниками заговора. О себе Николай Федорович повторил сказанное вначале и добавил, что он в принципе против любого насильственного акта, хотя устройство русского го-

сударства, бесспорно, нуждается в улучшении. Пусть только занимаются этим те, кому это вменено историей.

Слушали Ельцова внимательно, верили в искренность его слов, понимали главное.

— Вы сказали, что изменять государственное устройство должны те, кому это поручено историей. Как следует понимать ваши слова?

Вопрос задал Юсуф, и Ельцов сказал, что об этом нужно говорить слишком долго, а все устали. На этот вопрос никто не имеет ответа.

Была уже глубокая ночь, очень холодная и лунная, тихая. Когда, распахнув двери каморки, молодые люди вышли во двор, они были ослеплены холодным белым светом — выпал снег. Он лежал тонким слоем и мерцал в безжизненном белом свете луны. В городе было тихо. Бесшумно скрылись за сараями молодые люди, никто не окликнул их. И собаки не лаяли, наверное, потому, что холодно было просыпаться. Только где-то далеко за городскими стенами слышался женский плач, жалобный и бесконечный. Николай Федорович знал, что это кричат шакалы.

Даже тогда, когда мы беседуем с самыми близкими друзьями, нам не дано знать, какая часть рассказа, какая мысль или жест покажутся самыми значительными и самыми важными для собеседников.

Николай Федорович не знал в эту ночь, что его слушателей заинтересовал больше всего не рассказ о расцвете русского дворянства во времена Екатерины, не история Наполеона и не война двенадцатого года. Больше всего они были потрясены тем, что какие-то совсем молодые люди, куря трубки и попивая вино, говорили о переустройстве государства, о цареубийстве и потом попытались сделать это. Сегодняшние его слушатели не пожелали заметить скепсиса и иронии, которых достаточно было в рассказе Николая Федоровича. Они усвоили что-то другое, то, что им было нужнее.

Пока молодые люди шли вместе, они говорили о том, почему заговорщики в России не сумели победить. Сошлись на том, что их кто-то предал или проболтался.

Сын кушбеги сказал, что читал об этом в одной мудрой книге: «Каждый, кто держал язык за зубами, тот спасся. Тот, кто не держал язык за зубами, — попался».

— Знаю, — сказал Хамид-тура. — Это сказка про царевича, про сокола и про гусей, которые летели достаточно высоко, но кричали, на свое горе, слишком громко.

Первым отделился Азим, он неслышно перескочил через дувал, и там, в проулке, шаги его не услышат никто. Потом отделились Матнияз и Хамид-тура, они ночевали в доме кушбеги.

Когда Шерали и Юсуф оказались наконец дома, Юсуф сказал:

— В России заговорщики могли верить в победу. У нас — нет.

— Почему? — спросил Шерали. — У нас стражи меньше, а продажности больше. Можно подкупить нескольких человек... Да и вообще, надо подкупить просто одного человека, Федьку-палвана.

Понимая, что в своих предположениях он зашел слишком далеко, Шерали испытующе посмотрел на Юсуфа.

— Я не об этом, — поморщился Юсуф, — как ты не понимаешь! Конечно, можно подкупить стражу, устроить заговор и вместо хана Аллакули поставить его младшего брата Рахманкула. Но, во-первых, где те люди в нашей стране, которые пошли бы на такой заговор не ради собственной выгоды, а ради государства и народа. В России, судя по всему, их было много, а многие, кроме них, понимали и сочувствовали тому, что хотели сделать эти несчастные.

— Я знаю, куда ты клонишь, — сказал Шерали, — и спорить с тобой трудно, но твои рассуждения можно расценить как недостаток доблести.

— Мне и самому так кажется, я и сам думаю, что более смелый человек рассуждал бы иначе. — Юсуф помолчал. — Но только глупец поступает вопреки собственным намерениям.

Он еще помолчал, подумал и добавил:

— Вопреки собственным намерениям поступает или глупец, или еще больший трус, чем я.

Друзья говорили на эту тему раньше, и Шерали знал, что Юсуф любил рассуждать о том, что человек должен четко соразмерять свои силы, не переоценивать их и что, наверное, существуют люди, которые становягся храбрецами из трусости. Рассуждения эти казались Шерали слишком заумными. Он сказал:

— Значит, ты считаешь, что все дело только в просвещении? В том, чтобы все умели читать, писать и считать? И тогда все решится само собой?

— Я уже говорил тебе, — возразил Юсуф, — умение читать и писать само по себе не делает людей лучше, этому есть много примеров. У нас в Хиве среди грамотных людей грязных и низких больше, чем среди неграмотных, так уж получилось. Для меня бесспорно другое: после того как люди станут грамотными, им легче объяснить разницу между добром и злом. А я уверен, что стоит человеку понять разницу между добром и злом, и он обязательно выберет добро.

— Почему же тогда, — спросил Шерали, — среди наших грамотеев так много льстецов, взяточников и предателей?

— Потому, — ответил Юсуф, — что они читают только ханские указы, а пишут только доносы.

— Вот видишь, — сказал Шерали, — ты сам себе противоречишь.

Укладываясь спать, Азим думал о том, что цилиндр должен быть точеным. И поршень должен быть точеным, тогда пар не будет уходить в щели. И еще он думал о том, как должен распределяться пар. Что, если клапан должен открываться и закрываться в зависимости от вращения того же колеса, к которому ведет шатун?

Ему и ночью снилось колесо с шатуном,

ИНТЕРМЕДИЯ

— Ну и ворона, прости господи! Ворона, да и только!

Швейцар в новой ливрее с наждачной твердости галунами смотрел сквозь зеркальное венецианское стекло парадной двери. За стеклом была сырая петербургская зима с сырым ветром, несущим сырой снег.

Швейцар смотрел без сожаления, он не был злым человеком, но чувства жалости в нем до сих пор не пробуждал никто — ни человек, ни животное, ни птица.

«Воррона!» Только удивление было в его словах, сказанных для себя. Не думал он, что здесь, в доме графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, увидит таких вот нелепых и несчастных, как эта тощая и глупая просительница.

Третий день она приходила под двери с просьбой пропустить наверх, третий день швейцар не пускал ее в дом и даже отогнал от подъезда на другую сторону улицы.

— Ну и ворона, прости господи!

Швейцар не испытывал к ней никаких чувств, хотя слышал, что просительница не из простых — вдова ротмистра и сама дворянка. Муж ее будто растратил казенные деньги, данные на поимку изменников, и потом по пьянке был убит бутылкой. Надо же! А эта ворона просит назначить ей пенсион. Плачет, в ноги кидается, одежду на себе рвет, на жалость давит. Дураки, прости господи, люди! Какая уж тут жалость, коли все по закону. Ворона и есть ворона!

Вдова ротмистра Мельникова и впрямь очень похо-

дила на эту мрачную птицу. Она стояла на противоположном тротуаре спиной к ветру, дующему с холодного серого моря. Черный салоп, сбитый ветром черный платок и почерневшее от горя острое лицо.

Уж кто-кто, а она-то могла рассчитывать на жалость в этом мире, где никому не причинила зла, где всю жизнь от всех терпела. Все в своей жизни она делала, как хотели другие. И замуж вышла не потому, что любила или решила сделать партию, а только по желанию родителей. Не была счастлива в браке, детей не имела, а теперь осталась одна со стариками родителями вовсе без средств к жизни.

В пенсии решительно ей отказали. Причин, мол, много. Во-первых, потому, что обстоятельства гибели ее кормильца не столь ясны, как хотелось бы начальству. Во-вторых, потому, что у вдовы не было детей. В-третьих, потому, что вдова очень не понравилась государю императору Николаю I, когда она по недосмотру была допущена к нему в Москве во время коронационных торжеств.

Больше того. Сейчас жизнь выкинула новый презент: было заведено дело о взыскании с вдовы казенных сумм, проигранных ротмистром Мельниковым в карты во время нахождения в Ильинской крепости.

Показания об этом проигрыше дал поручик Мышьяков. Если бы поручик знал, чем это обернется для вдовы, он бы наверняка утаил правду: женщин поручик жалел. Но кто мог думать? Это он еще в крепости показал про ротмистра, а через полгода после всей этой истории поручик вышел в отставку, ибо получил по завещанию наследство от умершего отца и жил в Петербурге весело и беззаботно.

Кто знает, может, он проезжал в легких своих санках мимо женщины, похожей на больную ворону, может, и пожалел ее, стоящую на ветру. А может, он и не проезжал по тем улицам в тот час, а просто еще спал, потому что какой дурак без особой надобности зимой в Петербурге выйдет на улицу раньше полудня.

В Ташкенте тоже было холодно в этот день, тоже выпал снег, и улицы были совсем пустые. В доме муллы Вахаба на улице Воров вокруг сандала сидело несколько паломников, возвращавшихся из паломничества в

святую Мекку. Среди них внимание хозяина привлекали однорукий татарин и худой казах с редкой бородкой и добрыми-добрыми глазами.

Мулла Вахаб всегда рад был принять паломников, идущих к святым местам или возвращающихся из святых мест домой. Каждый мусульманин, помогающий паломникам, творит божие дело, и на него падает сень святых. Кроме того, мулла Вахаб был человечески любопытен, держал торговлю коврами и потому радовался случаю узнать о ценах на товар в Бухаре, Коканде, в Северном Китае, в Персии и на границах России. Кроме того, мулла Вахаб был ушами бухарского эмира и сообщал ему все, что могло быть интересно в Бухаре.

Мулла Вахаб молчал и слушал, что говорили гости. По правде сказать, терпение слушать все время одно и то же надо иметь огромное, и мулла Вахаб это терпение в себе вырабатывал. Мулла был молодой еще человек, невысокого роста, но стройный. У него были правильные черты лица и красивые персидские глаза с длинными девичьими ресницами. Иногда он прикрывал глаза, и тень ресниц красиво падала на бледные щеки. Это значило, что он сейчас запоминает услышанное, повторяет про себя, чтобы потом занести на бумагу для донесения.

Итак, эти двое — татарин и казах, — совершив хадж и выполнив обет, данный аллаху в весну несчастий, постигших их в великой казахской степи, сейчас идут в Хиву, потому что там находится великий русский военачальник, которого они должны спасти. Об этом они просили всевышнего у могилы пророка и верят теперь, что молитва их услышана. Потом татарин вернется с этим русским в Россию.

Мулла Вахаб сразу сделал скидку на вранье, к которому привык, зная паломников. Получалось, что какой-то русский, не великий начальник, но все же начальник, находится в плену в Хиве. А может быть, не в плену. А может быть, он там лазутчик, а татарин с казахом лазутчики здесь, и все это для того, чтобы выведать для России дела азиатские и в союзе с Хивой причинить вред эмиру. Эта последняя мысль не казалась молодому мулле особенно убедительной. Но как основа для донесения эмиру имела значение. Сейчас мулле нуж-

но было послать интересное донесение. Он собирался в Бухару за коврами, и хорошо составленный доклад мог освободить его от пошлины. Однако, решил про себя мулла, не надо спешить отсылать доклад. Пусть татарин уедет. Он возьмет его адрес и адрес его русского начальника, потому что давней мечтой муллы Вахаба было наладить торговлю с Россией без посредников. Татарин Ахмет мог ему пригодиться в будущем. Значит, надо задержать донесение и помочь этим двум добраться до Хивы.

Кузина Вера отчаялась. Она уже не ждала своего милого Николая, она молилась за упокой его души, ставила свечу Николаю-угоднику и решила, что кузен замерз в степи. Почему-то именно замерз. Она видела это во сне, всем рассказывала, как он лежит, и пальцы его прозрачны, словно сосульки. «Верите, прямо, как сосульки. И светятся».

Чем чаще кузина Вера рассказывала о своих снах, тем чаще видела своего брата в новых подробностях все той же смерти от холода. Рассказы об одном и том же надоедали, и однукую кузину Веру в обществе стали избегать. Однажды она встретила знаменитую красавицу, с которой, как слышала кузина Вера, у Николая Федоровича был бурный роман.

— Я так рада видеть вас, Аннет! — сказала ей кузина Вера. — Простите, что называю вас, как родную, по имени. Я ведь старше вас...

Испытывая неловкость от фамильярности, на которую, казалось, кузина Вера в данном случае имела право, она завела разговор о Николае Федоровиче, о тревогах и сновидениях:

— Я вижу дурные, очень дурные сны...

— Надеюсь, милая, это все обойдется. Ваш братец господин на редкость осторожный и рассудительный, — ответила красавица по-французски. Она помнила и не простила Ельцову отказ от дуэли. Это неблагородно.

Письмо Николая Федоровича к участникам Союза благоденствия, письмо, о котором он тревожился накануне ареста и ночью, когда ротмистр Мельников читал его бумаги, так и не попало в поле зрения следственной комиссии по делу 14 декабря. То ли его сожгли, опасаясь обысков, то ли потеряли задолго до них.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

НАДЕЖДЫ

Глава первая

ДВА ДОНОСА

Я был в стране, где слушать считается бесстыдством, где спрашивать — преступление, а записывать — смертный грех.

А. Вамбери

Мысль о том, что надо донести, пришла сразу двум людям.

Для Вильяма Хопа это был шанс, может быть последний. Если он докажет, что в Хиве есть тайные сторонники тесных связей с северным соседом, то это само по себе должно толкнуть хорезмских политиков к союзу с Ост-Индской компанией. Такова логика дипломатии на всех ее уровнях. Когда грозит опасность с одной стороны, не худо заручиться поддержкой другой. Равновесие сил, как на простейшем безмене.

Хоп не имел четкого представления о том, что будет, когда его донос достигнет адресата. Ну, прежде всего сразу казнят всех участников заговора (он не собирался клеветать, он был уверен, что заговор существует). Итак, их казнят. В Хиве это самое легкое. Затем — и тут не было твердой уверенности — захотят связаться с Ост-Индской компанией. И тогда понадобится Хоп... А если не понадобится? О такой возможности англичанину не хотелось думать. Легко жить мыслями о большой политике и дипломатии, рассуждать об интересах держав в бурном и меняющемся мире. Невыносимо трудно было думать о себе самом. Конечно, он понадобится. Доносчиков здесь ценят, иначе их не было бы столь много.

Ну хорошо! Казнят участников заговора, казнят и этого русского... Может быть, его вышлют? Нет, здесь такого не знают. Жаль европейца, но его казнят или

ослепят и отрежут уши. Потом пригласят Хопа и предложат ему с соответствующим эскортом двинуться в Индию на связь с сильными мира сего.

До этого места Вильям Хоп доходил не раз. Именно здесь он останавливался. Он начинал ощупывать свою обкромсанную голову, круглую, как кочан капусты. Без ушей, без глаз. Без носа. Только рубцы.

В таком виде он появится перед своими? Там наверняка остались люди, которые помнят поджарого темнущего клерка, его насмешливый взгляд и пружинящую походку, его вспыльчивость и гордость. За эти годы самые мелкие чиновники, его сотоварищи, стали богатыми людьми. Они протерли десятки штанов, насидели геморрой и подагру, но достигли относительного почета и видимого уважения. Чего достиг он?

Хоп привезет им письмо хивинского хана. Он объяснит, что хан жаждет покровительства и готов дасть особые привилегии Ост-Индской компании.

Хоп представил, как будут водить носами хозяева, как старательно будут взвешивать «за» и «против»... Хоп страшился, что вдруг никому не понадобится его старание, что никому не понадобится и он сам. Вдруг баланс дальней торговли с Хорезмом, караванных расходов и риска ограблений сложится против его идеи? Кто это знает? По правилам, установленным компанией, он права на пенсию не имеет. Ведь на свой страх и риск пошел он в Среднюю Азию.

Пенсию, однако, дадут. Маленькую, но вполне приличную. Они щедры на милостыню. С этой пенсией отправят домой...

Этого Хоп не хотел больше всего. Он согласен был жить в страшном мире, где есть только сухая земля и пыльное солнце, где он питается вместе с собаками, которых не пускают в черту города; пусть подохнет здесь, но он никогда не согласится, чтобы его школьные приятели жалели его, чтобы они, гуляя с женами и дочерьми, показывали на него и говорили:

— Боже, как не повезло человеку. Ему всегда не везло. А был неплохой, в сущности, парень, способный к языкам и арифметике, хотя из простой семьи. Он хотел прыгнуть выше головы. Хромые не должны высоко залетать.

И все-таки Хоп решил донести. Такова была инерция

его страсти. И кто знает, может быть, только эта инерция не давала ему умереть.

В одно утро, в час, когда кушбеги принимал просителей, Вильям Хоп — человек без лица — медленно приблизился к воротам дворца и, помедлив немного, ибо понимал, что нищему переступить порог ханской резиденции запрещено, решительно шагнул внутрь.

Стражник растерялся, и нищему удалось сделать несколько шагов по узкому коридору. Хоп двигался быстро, едва касаясь палкой правой стены.

— Эй, безглазая собака, вернись! — крикнул стражник. — Тут не подают милостыню!

Хоп сделал вид, что не слышит. Его разглядывал стражник, стоящий в другом конце кирпичного коридора, и, увидев, кто перед ним, остановил, уперев в грудь англичанина древко копья.

— Вон! — сказал стражник.

— У меня важное дело, — выкрикнул Вильям Хоп. — Государственная измена!

Если бы он сказал любые другие слова, самые страшные, самые предостерегающие, если бы он говорил спокойнее или, наоборот, взволнованнее — в любом случае реакция стражника была бы одинаковой. Стражник знал: перед ним нищий из тех, что живут в норах за стеной и питаются вместе с бродячими собаками. Таких и к стенам дворца нельзя подпускать, не то что внутрь.

Хоп начал было объяснять, что дело, которое привело его во дворец, не терпит отлагательства, что речь идет об измене, о том, что пленный русский агент вербует шпионов из молодых хивинцев, что они, без сомнения, собираются, связавшись с русскими...

Человек без лица говорил быстро, но не успел сказать и половины того, что хотел. Стражник, не желая мараить руки, древком развернул нищего спиной к себе и дал пинка. Другой, тот, что стоял снаружи, наподдал еще.

Хоп вылетел на площадь и упал в пыль. Палочку свою он потерял. Стражник наступил на нее, переломил пополам и оба куса швырнул в нищего. Еще один стражник, верховой, ожег нищего плетью и погнал к воротам. Охрана у городских ворот получила нагоняй, что таких страшилищ пускают в город.

Никто не хотел слушать несчастного, никому не было нужно то, что он мог сказать.

Избитый и голодный, Хоп лежал в своей норе и с ужасом думал о том, что он не может написать донос. Он слеп, он не писал много лет. Пожалуй, по-английски несколько слов мог бы нацарапать и вслепую. По-английски здесь не поймет никто. Арабскими буквами на узбекском языке вслепую он писать не может. Совсем не может. Тут нужны глаза.

В ближайшие недели Вильям Хоп еще несколько раз пытался разоблачить русского агента. Даже простые стражники не хотели ничего слушать. В город человека без лица больше не пускали, а кто будет долго слушать нищего возле ворот? Много развелось попрошайек.

Через месяц после первой неудачной попытки англичанин предпринял еще одну, ставшую последней. В ряду других нищих он стоял у дороги, по которой проезжал хан. Аллакули возвращался с соколиной охоты; настроение у хана было хорошее, верилось в счастливую судьбу и в свои силы. Когда кавалькада с царственным всадником во главе приблизилась, Хоп стал подпрыгивать, махать руками и выкрикивать заранее приготовленные фразы про измену, про угрозу гибели великого Хорезма и про то, что только он может всех спасти.

Вид нищего поразил Аллакули, а неистовость урода очень его позабавила. Не спрашивая, кто это, не вслушиваясь в слова, хан повернулся в седле и сказал начальнику стражи:

— Это очень интересный человек. Это чудо! Он хочет жить, как все, не имея совсем ничего из того, что имеют все... Ах! У него еще есть язык!

Хан понял, как следует поступить, чтобы было еще интересней, и приказал:

— Отрежьте ему язык. Что будет, если ему отрезать язык? Интересно! Человек живуч, как земляной червь.

В Хиве не было обычая отрезать язык. Палач, которому это поручили, слишком сильно надавил Хопу коленом на горло и сломал шейный позвонок. Несчастный умер раньше, чем лишился языка.

Никто не расслышал и не понял того, что он хотел сообщить.

Второй донос замыслил русский человек Андрей Иванов. Этому было куда проще, чем англичанину.

Примерно раз в месяц Иванова тайно принимал у себя дома имам Раджаб — настоятель соборной мечети. Русский поп докладывал мусульманскому обо всем, что говорят между собой его соотечественники, на что жалуются, на что надеются, что замышляют.

Главным источником сведений для православного священника является исповедь. Недаром тайна исповеди — одно из ее обязательных условий, и недаром это обязательное условие чаще всего нарушается. Настоятель соборной мечети в Хиве, спасший самозванного попа от верной смерти на площади, часто завидовал русским священникам. В мусульманстве нет исповеди, и сведений о людях таким легким и верным путем не получишь. Андрею Иванову имам Раджаб доверял; сведения, от него полученные, обычно вскоре подтверждались. На этот раз самозванный русский поп пришел на свидание в тяжелом настроении. Он был зол на своих: не мог забыть, как выгнали его с праздника у Анны Васильевны, как гогогал вслед Федька Грушин. Это только звание высокое — русский поп, это только слава великая быть заплечных дел мастером, а с приварком часто было худо. На праздничное угощение у Анны Васильевны Андрюха тогда надеялся, предвкушал русскую пищу: пироги, кулебяки, студень, огурчики, капустку. И выпивка небось тоже была хорошая!

Выгнал Андрея Федька, выгнал по слову Анны Васильевны, а озлился он больше всего на Ельцова и Европкина. На Федьку и злиться без пользы, хан его не выдаст, а барина давно пора к ногтю, как вшу. И Европкина пора укоротить. Под рукой Федьки обнаглел. То звал в гости, в пояс кланялся, а как погнали попа со двора, так и не вступился. Через недельку зашел Иванов к Ваське Европкину на винокурню, стыдил, грозил, просил выпить.

Васька страха не показал и выпить не дал. Говорил, что своя шкура ему дороже, боится, чтоб не узнал хан, что раб водку его базарит.

Вообще многое изменилось в тот вечер, когда Андрея Иванова выгнали с праздника, многое изменилось и перекосилось. Раньше никто и не вспоминал вслух, что он палач и своих же братьев, русских людей, пытал.

Не забывали люди, но молчали. Теперь перестали бояться. говорят что хошь. За спиной, правда, но так, чтобы ему было слышно.

Все это, вместе взятое, да еще то, что время очередного доклада близилось, а материала для имама Раджаба понабралось мало, толкнуло Андрея на донос по догадкам. Сочинил он так складно, что сам поверил.

В назначенный день и час в слепой хибарке возле мечети он сообщал имаму следующее: с тех пор как появился русский пленный офицер по имени Николай, с тех самых пор в Хиве готовится заговор против его величества хана и веры мусульманской.

В изложении Андрея Иванова заговор состоял в том, что русские рабы, объединенные тем самым рабом Николаем, обкрадывают хана, выпивают самую лучшую водку, а вредные остатки, от которых даже русская голова болит, отдают к ханскому столу. Было в словах попа Андрея много всякой несусветницы, но было и такое, что казалось правдоподобным.

Еще Андрей говорил, что русские хотят подвести подкоп под дворец ханский, что для этой цели уже начали готовить мину, только он, Андрей Иванов, не знает, где ее прячут. В заговоре участвуют не только православные, но и мусульмане. В частности, какой-то молодой медник — узбек.

В заключение Андрей Иванов попросил немного денег, ибо совсем отошал. Враги хана и мусульманского бога во главе с рабом Николаем отговаривают православных от помощи своему единственному священнику, всячески поносят его. Поэтому Андрей и вынужден просить денег, пусть всего десять таньга.

Имам денег не дал, но отсыпал немного табаку и дал гашшша закурки на три. И то хорошо. К гашишу Андрей стал привыкать и ценить его.

2

Комиссия для проверки доноса была создана во главе с имамом Раджабом. В состав ее вошли помощник начальника канцелярии Юсуф, в качестве писаря, и Федор Грушин, телохранитель хана, в качестве эксперта по качеству готовой продукции, если таковая окажется.

Имам Раджаб был довольно складный и благообразный человек лет сорока. Внешность его была бы весьма заурядной, если бы не большие, развернутые вперед уши. Мало кто острил по поводу этих ушей. Слишком очевидно было, что бог не зря так отметил имама. Слушать он умел.

Вначале имаму казалось неудобным, что настоятель соборной мечети, важное духовное лицо, будет проверять устройство для приготовления зелья, проклятого аллахом. Что скажут люди? Однако уклоняться от такого поручения — глупость. Ведь он сам первым принес весть, что здесь не все в порядке. Ведь он сам докладывал это кушбеги. Ведь он сам за пиалой чая, вроде бы между прочим, подчеркнул, что заботится не только о делах веры, но и об удовольствиях его величества.

Юсуф, не знавший существа доноса, огнесся к поручению, которое ему передал Хубб-Ходжа, с равнодушием. Он всегда отлынивал от своих прямых писарских обязанностей и огорчался, когда уклониться от них ему не удавалось.

Федор Грушин вызвался сам. Кроме корыстного интереса, Федор понимал, что при случае может сгодиться на то, чтобы смягчить вину своего подопечного Васьки.

Вот эта комиссия, как и положено, без всякого предупреждения ввалилась в тот незавидный закут, где находилась винокурня.

Васька Европкин, несмотря на все несчастья своей жизни, среди людей слыл счастливым, считалось, что ему везет. И сам Васька говорил, что он везучий. Повезло ему и в этот час. Он, недавно сам все разрушивший в целях реконструкции, сейчас обмазывал глиной жестяной трубопровод, который только что приладил к большому котлу. Под котлом уже горел огонь; нагретое сусли воняло на весь двор, скоро оно должно закипеть, и тогда с другого конца трубы в подставленную чашку начнет капать сначала выпаренный и затем охлажденный спирт. Конденсат.

Пусть все видят, что Васька при деле, что заботится, не ленится. Это хорошо. Однако Андрей Иванов сообщил о том, что Васька нарочно разломал старое устройство, чтобы ухудшить качество водки, что самую луч-

шую свою продукцию он спивает друзьям, а худшее достается хану и его приближенным, что у Васьки уже есть новый винокуренный куб, но он его хитро припрятал.

Помня это, имам Раджаб начал строгий допрос. Юсуф записывал вопросы и ответы, Федька слушал и хмурился: получалось, что Васька вахлак вахлаком. Его обманул какой-то местный умелец из узбеков. Васька не жаловался, он объяснял, как все получилось.

Федор начал беспокоиться за Ваську. Долгая писанина хорошего не сулит. Федька досадливо вслух ругнулся на Васькину глупость: чего языком-то молотить, ведь каждое слово на бумагу заносится и против человека стоять будет. Однако не зря Европкин болтал. Может, и выскочило что лишнее, только не это главное. Дождался винокур, когда в топке разгорится, в котле забурлит, из трубки холодильника закапают в глиняную обливную миску прозрачные слезинки. Это зрелище всякого угешит и утишит.

Имам Раджаб тоже с интересом смотрел на первые капли, на струйку, которая вдруг побежала из трубки. Однако он спросил:

— А новое устройство где? Выдано много материалов, времени ушло порядочно, где же новый перегонный куб?

— Это верно! — подхватил Васька. — Это верно! Новой машины не дождусь никак. Медник дурака валляет! Хожу, прошу, тороплю — все без проку. Ваш ведь мастер, мусульманский.. С него сами спрашивайте. Он тут недалеко живет.

Имам и без Васькиного совета собирался зайти к меднику. Он встал и сказал членам комиссии:

— Мы сюда еще вернемся, а сейчас пойдем в мастерскую. Не нравится мне эта история.

Он хотел приказать Ваське, чтобы тот залил огонь и отправился с ними, но Федька глянул на имама прозрачными своими глазами, будто наперед угадал его мысли.

— Я должен опробовать, какая получается водка и похоже ли зелье на астраханскую с наклейкой. Без этого не уйду.

Юсуф тоже не изъявлял желания немедленно идти к меднику. Он только сейчас догадался, что мастер, ко-

тому поручено строительство новой винокурни, это его друг Азим.

Больше часа имам Раджаб с Юсуфом ждали Грушина и Европкина в чайхане. Те не спешили.

Глава вторая

ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЕТСЯ ПАР

Его спросили, из чего делается пар?

— Из воды и огня!

Андрей Платонов

I

Горит огонь, кипит вода, дым смешивается с паром. Можно ли сделать машину, которая работала бы на дыме? Не на паре, а на дыме?

Многие люди убеждены, что изобретатель паровой машины в пугный момент увидел, как прыгает крышка чайника, и его осенило. Будто бы этим человеком был Джеймс Уатт. Здесь не место заново рассказывать историю изобретения паровой машины. Хотя стоит еще раз напомнить, что миллионы людей видели, как подпрыгивает крышка чайника, и ничего не изобрели. Более того, многие и сейчас, когда произошел закат классической паровой машины, не смогут объяснить, как устроены паровоз или локомобиль. Если вы тоже этого не знаете, пойдите на кухню, посмотрите на чайник и поймите, что решает дело все-таки Уатт, а не крышка от чайника.

Впервые за много лет хивинского плена Матвею стало интересно работать. Он даже про божеское говорил меньше, чем раньше, и спрашивал Азима го ли в шутку, то ли всерьез, не стоит ли перейти из христианства в ислам.

Азим — золотые руки! Ножницы ли в руках у парня, киянка ли, паяльник или еще что—любо смотреть, как он дело делает. С первого дня понравился узбекский медник русскому кузнецу, с того момента, как глянул он на отличный инструмент, на верстак, на порядок возле горна. Оценил Матвей и башковитость Азима. Узбекский мастер заставлял Матвея думать о том, что раньше и в

голову не приходило. Матвей знал, к примеру, что есть на свете паровые машины, даже видал одну или же две, а как устроены — не любопытствовал. А теперь, когда отослали его с литейного двора в распоряжение медника, изготавливающего хану самогонный аппарат, Матвей вместе с молодым своим хозяином тайком от всех мастеровил паровую машину.

Сначала сделали большой котел, хорошо пропаяли все швы, трубки сворачивали из медного листа, потом соорудили цилиндр и поршень. На это много ушло времени, а когда пустили пар, он весь прошел в щели мимо поршня.

Тогда решили все сделать маленькое, вроде бы игрушечное. Поршень выточили на станке из чугуна, воткнули его в точеный же цилиндр. Маховик с шатуном Азим еще раньше сделал. Пар подвели так, чтобы краником можно было то открывать его, то закрывать...

Удивляло Матвея не то, как смело думает Азимка, а то, что и сам осмелел думать. Вот окна, к примеру, придумали в цилиндре сделать. В одно окно пар входит, давит на поршень, а когда поршень отодвигается назад, второе окно открывается, и из него пар выходит.

От роду не ждал Матвей, что вдвоем с узбечонком соорудит такое чудо, какое из Англии в Пермь для удивления привозили. Без узбекского парня и пробовать не стал бы, а тут заело. Не захотелось быть глупее, чем Азимка.

Азим, однако, рассудил иначе:

— Это благодаря вам, Матбай-ака, набрался я смелости. Очень важно знать, что другим это удалось. Если где-то удалось, то почему у нас не получится?

— Все умные дела начинаются с умного хотения, — подтвердил Матвей. — Гуляючи, только корова пасется, да ее и доят цельный год.

День, к концу которого в мастерскую медника Азима должна была пожаловать комиссия, начался хорошо. Опробовали новую систему распределения пара. Теперь не было нужды рукой перекрывать краники. Делала это сама машина при помощи дополнительного маленького шатуна, который крепился к маховику вблизи ступицы. Механизм парораспределения требовал новых переделок и уточнений, но решение казалось очень удачным и неожиданным.

Авторитетную комиссию мастера встретили безо всякой опаски, радушно.

Имам Раджаб был сух и суров. С бесстрастным лицом оглядывая мастерскую, он начал:

— Поступила жалоба, что медник Азим нарочно задерживает изготовление винокурного аппарата для его величества падишаха Аллакули. Мы располагаем неопровержимыми данными, что медь, олово, свинец, другие высокоценные материалы украдены, а работа не делается. Мы знаем, что медник Азим сознательно ввел в заблуждение нашего кушбеги, обещаясь выполнить заказ, на который у него умения заведомо не хватает. Мы знаем также, что из государственных материалов медник Азим изготавливает кувшины и чайники на продажу.

Юсуф понимал, что имам Раджаб постарается закончить дело наказанием виновных. Мнимых или настоящих виновных, ему безразлично. Должность настоятеля мечети не устраивала муллу, ему хотелось стать верховным судьей ханства. К этому он готовил и себя, и окружающих. Положение Азима осложнилось еще и тем, что Васька Европкин всю вину за отсутствие очищенного самогона валил на узбекского мастера, а влиятельный Федька хмыканьем за спиной имама поддерживал своего подопечного.

Азим не пугался происходящего, слишком хорошее было у него настроение. Сегодня он верил в себя. Юсуф подумал вдруг, что имам Раджаб может вспомнить об отце Азима, казненном в праздничную ночь. Только этого не хватало! Тогда зацепку найдут обязательно. Юсуф испугался, что мысль об отце Азима может как-то передаться имаму, и постарался отогнать ее от себя.

Васька закончил свои показания хитро и подобострастно:

— У нас в России по совести не судят, а бьют, кто бесправнее да бессильнее, кто кричит тише. А мусульмане народ справедливый, неуж накажут раба бессловесного за бессловесность его? Да и то скажу, запороть меня насмерть — дело легкое, но второго такого винокура уж не сыскать. Я ведь и французскую водку знаю, и английскую, и немецкую...

Азима обвиняли в краже материалов для изготовления кувшинов и чайников на продажу. К счастью, все материалы на месте. Из них сооружено нечто, чего в

Хиве до сих пор не видели, а в винокурении ни сам винокур, ни имам Раджаб ничего не смыслят. Когда пришел его черед говорить, Азим начал спокойно и важно:

— Нет задачи почетнее, чем угождать сильным мира сего, нет радости больше, чем удостоиться похвалы падишаха...

Имам Раджаб сказал Юсуфу:

— Этого не записывай, записывай только то, что по делу говорит.

Однако Юсуф тщательно записал первую льстивую фразу мастера и вторую, еще более льстивую. «Молодец Азим, не растерялся», — подумал Юсуф.

Азим продолжал. Он рассказывал, с каким вниманием и тщанием принялись они вместе с русским мастером Матбаем-акой собирать сведения об устройстве новой винокурни. Как трудно это было делать без чертежей, по рассказам. Потом он перечислил все материалы, полученные от казны: три листа желтой меди, два бруска олова и три бруска свинца; заверил, что все пошло в дело, и он сейчас это докажет.

Юсуф никогда не предполагал, что Азим может держаться так уверенно и даже свободно. Видимо, у него все в порядке, не стоило и беспокоиться. Молодец. Сложное задание, а ни разу словом о нем не обмолвился.

— Посмотрите, пожалуйста! — Азим сдернул цинкову и показал на сверкающий медный котел с аккуратными швами пайки, трубками и кранами. — Это тот самый перегонный куб, о котором говорит старший винокур его величества хана. Разве кто-нибудь в Хиве делал или видел такое?

Васька сказал искренно:

— Сработано отлично, но не больно ли сложно?

— Молчи, дурак, — сказал ему Матвей по-русски. — Ты отвечай только одно: так, и все.

Имам Раджаб спросил у Федьки Грушина:

— Что они говорят?

Федька посмотрел на имама тяжелым взглядом и сказал опять же по-русски:

— Об чем говорят? Выпить хотя.

У Федьки был такой вид, что имам Раджаб переспросить еще раз не решился.

— По этой трубке пар кипящей барды идет сюда, — Азим показал на цилиндр. — Эту часть называют ци-

линдр, и служит он для того, чтобы очищать пары самогона при помощи давления на него чугуном же поршнем. Чугун мы от хана не получили, а добыли сами в долг. Поршень же давит на пары самогона, если поворачивать вот это маховое колесо.

Азим стал рукой крутить колесо, шатун потащил поршень сначала в одну сторону, потом в другую. Члены комиссии с интересом смотрели на сложный механизм.

— Вот так, сжатием, мы будем очищать водку для его величества! — заключил Азим, продолжая крутить колесо-маховик.

Матвей смотрел на Азима с восторгом. Это же надо так лихо обернуть! И складно. Наоборот все объяснил. Паровую машину за самогонный аппарат выдал, и все поверили.

— Ты что смеешься? — вдруг спросил Матвея по-узбекски имам Раджаб.

Матвей, не переставая улыбаться, ответил по-узбекски:

— Как же мне не радоваться, если у вашего великого хана будет такая славная машина для делания водки!

Что-то подозрительное было в этой улыбке раба, в бойкости Азима.

— А кто тебе показал, как это нужно делать? Правильно ли сделано все?

Азим посмотрел на Грушина и попросил:

— Палван-ака, подтвердите, что все так. Мне ведь многие русские подсказывали, как делать. Я ведь и у раба Николая спрашивал.

Имя русского раба Николая напомнило имаму Раджабу другую часть доноса, и тут же, наконец, выявилось смутное до сих пор воспоминание о ночи, когда был казнен другой медник.

— Скажи-ка, мастер,—прищурился имам Раджаб,— а не сын ли ты того отступника, которого не так давно в ночное время всенародно казнили на площади перед дворцом?

Имам Раджаб смотрел на Азима так, будто поймал его с поличным. Азим побледнел.

— Святой отец, — решительно вступил в разговор Юсуф.—Мне не надо, наверно, записывать ваш вопрос? Дело в том, что и падишах. и кушбеги очень не любят,

когда вспоминают про ту ночь. И в историю ханства ту ночь не велели вписывать.

— Ты прав, юноша, — согласился имам Раджаб. — О таких вещах не надо говорить слишком громко.

В акте, который составил Юсуф, было сказано, что главный винокур работает удовлетворительно и в скором времени он получит новое устройство, позволяющее увеличить выпуск продукции и улучшить ее качество. Было также отмечено, что медник Азим при содействии русских умельцев и по русскому образцу заканчивает сложную машину для винокурни. Работа задерживается из-за отсутствия чугуна для очистки паров самогона под давлением. Необходимы дополнительные средства, помощь материалами и деньгами.

Имам Раджаб доложил обо всем виденном начальству, а про себя решил, что вокруг этого дела много неясного. Поп Андрей, конечно, кое в чем ошибся, но кое в чем, видимо, прав. Роль русского пленного Николая вызывает подозрения. Окольными путями имам выяснил, что у русского собираются молодые мусульмане, иногда пренебрегая ради этого вечерней молитвой. Бывает у русского и медник Азим, сын казненного вероотступника. Имам Раджаб боялся тех, с кем когда-нибудь поступили несправедливо. Тот, кто захочет восстановить справедливость, может разрушить многое, очень многое. Вера в справедливость — утешение слабых. Сильным нужна сила.

Глава третья

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЛЮДИ

Владеть казною пьющий не сумеет:

Он и самим собою не владеет.

Казну он разбазарит, наградив

И тех, кто плох, и тех, кто нерадив.

Юсуф Хас-Хаджиб.

Наука быть счастливым.

I

Шерали не удивился, когда Юсуф рассказал ему о визите специальной комиссии в медницкую мастерскую. И то, как Азим обманул имама соборной мечети, выдав паровую машину за самогонный аппарат, не рассмешило

его. Молодой придворный был озабочен собственными делами. Он оказался вовлеченным в интриги, о которых прежде только слышал от отца, но не верил, что это так важно и так опасно. Иш-Назар любил повторять, что служба царям имеет две стороны: одна — надежда на власть, другая — страх за жизнь. Без риска не живет ни один царедворец.

При дворе Аллакули все знали, что сегодня у власти кушбеги, но кто знает, что будет завтра. Любая власть временна, а прихотям властелина нет преград. Хан уединился с начальником стражи — не предстоит ли его повышение? Хан не принял верховного судью! Грядет новое назначение! Придворные слишком внимательно следили за выражением лица повелителя, сами распускали слухи, сами им верили, сами порой оказывались их жертвой. Не сделаешь карьеру вдали от интриг, но плохо тому, кто окажется между молотом и наковальней.

С некоторых пор Шерали стал замечать, что кушбеги нарочито выделяет его среди других. Несколько раз он назвал сотника по имени, в присутствии хана похлопал по плечу, как младшего родственника, а недавно позвал к себе.

Разговор был многозначительный. Шерали понял, что кушбеги хочет заручиться обещанием помощника мехрема сообщать ему обо всем, что так или иначе связано с интересами кушбеги.

Шерали понял это не сразу, а лишь придя домой. Не в тот же вечер, а лишь на следующее утро.

Боже, как ловчил, извивался, к каким околичностям прибегал кушбеги, чтобы Шерали не поймал его на слове, не смог бы «продать» его, чтобы впредь не козырял этим разговором! Но и Шерали напрягался изо всех сил, чтобы выглядеть спокойным, чтобы внушить кушбеги уважение к себе.

Вспоминая длинные речи первого министра, Шерали выловил на другое утро и тему, которая особенно волновала кушбеги, вернее, не тему, а слова, два-три слова, сказанные невпопад, кстати и не вполне кстати. Слова были такие: «курить», «табак», «гашиш» и еще «дервиши».

Казалось, что кушбеги произносил эти слова только для того, чтобы натолкнуть Шерали на что-то, заставить его вспомнить нечто, связанное с этими словами. Шера-

ли тогда ничего не вспомнил, вернее, вспомнил только то, что в последнее время табак, гашиш и опиум вздорожали, а число курильщиков почему-то не уменьшалось. Об этом в Хиве все говорили, и, конечно же, кушбеги не мог интересоваться такими общими сведениями. Ему было нужно что-то другое, чего Шерали, к счастью для себя или к сожалению, не знал.

2

Айгуль принимала мужа. Он пришел к ней впервые за несколько месяцев.

В комнатухе было холодно и дымно. Сандал сегодня приготовили неудачно. Наступал вечер, горела плочка с жиром, и в сумраке первая жена выглядела совсем девочкой.

«Хорошая у меня была бы первая жена, если бы не такая злая и умная, — думал Аллакули. — Красивая, а меня не любит, потому что зла».

Мухаммед-Рахим женил сына на казашке для того, чтобы породниться с теми, кто кочевал севернее Арала, чтобы взять их под свою руку. Из этого ничего путного не получилось. Казахи, по существу, никакой власти не признавали все равно, подати хивинцы отбирали у них с таким трудом, что выходило себе дороже.

У сына с казахской женой отношения сразу стали плохими. К тому же у Айгуль родился не мальчик, не наследник, что могло поправить отношения, а девочка. Отец вскоре женил сына еще раз. Через год еще. Потом Мухаммед-Рахим умер, и молодой хан женился в четвертый раз. По Корану, он имел право на четырех жен, поэтому остальных держал в качестве наложниц. Для него разницы не было никакой, но наложницы в отличие от законных жен не имели имущественных прав, и дети их никогда не становились наследниками.

Айгуль, оказавшаяся старшей женой, но, увы, не матерью наследника, все же сохранила свое положение, и произошло это не только потому, что остальные жены были слишком забиты, напуганны и безвольны, а потому, что Айгуль была смела, своенравна и умна. Кроме того, все знали, что к другим женам хан ходит еще реже, чем к Айгуль.

Улегшись на свою любимую цветастую кошму, Аллакули сказал:

— Год назад вы упрекали меня в том, что мои люди пытали служанку младшей жены моего отца. Вы знаете, чем кончилось дело?

— Знаю, повелитель, — потупя взор, ответила Айгуль. — Служанка, которую пытали, умерла, а жену вашего отца вы отправили в ссылку.

— Значит, вы не знаете, что все подтвердилось? — спросил Аллакули. — Насчет того, что она похитила ценности моего отца?

— Ах, вы об этом перстне с рубином? — вроде бы спохватившись, что сразу не поняла, о чем речь, спросила Айгуль. — И о семи червонцах, которые нашли в стенке ее сундучка?

— Перстень с изумрудом, — хмуро сказал хан. — И не семь червонцев, а девятнадцать.

— Девятнадцать червонцев — это, конечно, большие деньги для нашей державы, но говорят, что у нас бóльшие суммы летят мимо казны.

Аллакули понял, что не зря зашел к старшей жене. Она будет говорить на интересующую его тему, она знает что-то и хочет, чтобы он знал. Любит эта женщина политику! Ей бы родиться мальчиком — стала бы кушбеги.

Впрочем, усмехнувшись про себя, подумал хан, такой кушбеги мне не нужен. Мой теперешний и то больно умен.

В дверь кто-то начал скрестись, и Айгуль резко сказала:

— Войди.

Вошла согнутая пополам рабыня-персиянка и внесла на подносе гору тарелок и тарелочек, блюдец и пиал.

— Поклон от ваших верных жен, — сказала рабыня хану и поклонилась до самой земли.

— Иди-иди, — отмахнулся Аллакули. — Скажи, что некогда.

Сласти, которые принесла персиянка, были красноречивым посланием трех остальных жен, мольбой не забывать их и одновременно рабским, напуганным и безмолвным укором.

Прошло несколько минут, пока хан поборол в себе раздражение и отогнал ненужные мысли о женах, детях и наследниках. Он приподнялся на кошме и сказал Айгуль фразу, которую она привыкла слышать:

— Может, найдется?

— Конечно, ваше величество.— Айгуль приподняла занавеску одной из ниш и достала хрустальный графин и стакан, подарок свекра, которому этот графин и стаканы незадолго до того подарил русский посланник. Там же в нише, за посудой, в специальном тайничке лежали часы, приготовленные первой женой для своего царственного супруга. Родичи привезли их с просьбой похлопотать перед мужем об их тяжбе с каракалпаками из-за пастбищ. Айгуль знала, что кушбеги как-то заинтересован в этом деле и, кажется, не в пользу казахов. «Подожду,— решила Айгуль— Подожду, посмотрю, стоит ли отдавать? Стоит ли?» Она знала, что муж лишен чувства благодарности, а часы ей и самой очень нравились. Они не ходили, и стрелка у них оставалась только одна. Зато какие узоры вились по серебру тяжелого корпуса, какая эмаль сверкала под передней крышкой! Но еще красивее они, если открыть две задние крышки, первую серебряную и вторую золотую с надписью на непонятном языке или, кто знает, с узором вроде надписи. За золотой крышкой — самое главное: там множество колесиков, винтиков, пластинок, и везде по сверканию золота лепесточки вьются, на каждой поверхности свободно лежит рисунок. Полмесяца у нее часы, а она каждый день вынимала их из тайничка и любовалась механизмом, иногда иголкой осторожно трогала колесики, и они дрожали, как живые.

«Подожду отдавать»,— еще раз решила Айгуль.

Тихо взвизгнула притертая пробка хрустального графина. Хан потянул носом. Водка была отменная, настоящая на полыни и еще на других десяти степных травах.

— С каждым разом вы все лучше настаиваете водку,— сказал Аллакули жене.— Аромат казахской степи.

Айгуль не сочла нужным поддержать разговор о ее родных степях.

— Я готовлю следующую порцию вашего любимого напитка после того, как вы выпиваете предыдущую. Вы приходите все реже и реже, поэтому водка успевает лучше настояться.

Вроде бы и она упрекала хана, но он знал, что это не так. Ей он был вовсе не нужен. Только долг женщины, предписанная Кораном покорность мужу и судьбе и еще в какой-то степени желание влиять на жизнь: помогать кому-то, кому-то мешать -- только это создавало между

ханом и его первой женой видимость супружеских отношений.

Хан выпил полстакана, закусил сушеной дыней и откинулся на кошме.

— Ну,—сказал он самодовольно,—вы хотите сплетничать. Не стесняйтесь. Сплетня нужна женщине, как хвост собаке. Для красоты.

Хан считал необходимым заранее принизить значение того, что скажет ему жена.

— Говорят, повелитель, что в результате похода ваша казна совсем опустела. Если бы с наступлением зимы не прекратились болезни наших подданных, мы вынуждены были бы прекратить всякую торговлю, к нам перестали бы ходить караваны. Слухи о холере страшны.

Хан еще раз налил в стакан, выпил и поглядел на жену.

— Да,—повторила жена,—всякую торговлю, кроме торговли табаком и гашишем. Вы дали распоряжение не преследовать курильщиков табака, гашиша и опиума? Вы запретили проклинать их в мечетях? Так вот, знайте то, что знает любой хивинец: сейчас в каждой чайхане обязательно есть кальян, есть специальные ночные заведения, где пьют и курят, есть люди, приучающие к этому молодежь. Купцам, торгующим в других городах нашего ханства, теперь вменяют в обязанность продавать там вместе со своим товаром табак и гашиш.

Хан и вправду не знал того, что знал каждый хивинец. Размеры торговли гашишем и табаком выросли за год в два-три раза. И все это произошло несмотря на рост цен. Таким образом — и это тоже не было секретом, — кушбеги через своих подставных лиц получал доход, превышающий многие законные поступления в казну.

Айгуль рассказывала, хан слушал и еще раз благодарил судьбу за то, что она послала ему эту казашку, эту гордую и умную женщину, и что эта женщина в его власти, ее можно выгнать, можно выпороть или убить.

— Поймите,—продолжала Айгуль,—поймите, что это не просто воровство, а государственная измена. Тот, кто станет богаче вас, будет сильнее вас. Он вас может свергнуть или убить. В Хиве за деньги можно сделать все.

Имя того, кто станет богаче и сильнее хана, не было названо, но ясно, что речь шла о кушбеги. Айгуль не на-

звала его по двум причинам: во-первых, боялась, что ее могут подслушать, во-вторых, не хотела, чтобы ее муж, напившись, сказал бы своему другу и собутыльнику: «А знаешь, что говорит про тебя моя жена Айгуль...»

Аллакули мог бы это сказать. Он и сейчас, конечно, может на нее сослаться, но все-таки лучше без уточнений.

— При дворе говорят,—продолжала Айгуль,—что дервиши, которых теперь в Хиве как ни в одном святом месте, тоже не в стороне от торговли табаком. И еще говорят, что владетель Бухары и владетель Коканда пересылают свои письма не вам, мой повелитель, а кому-то еще.

Пожалуй, тут первая жена хана сделала ошибку. Хан потемнел лицом и поднялся с кошмы.

— Не желаю слушать бабские сплетни!—сказал он сопя и запахнул халат.—Владетели государств не будут писать писем никому, кроме князей и государей. Знай это, баба!

Вот что значит не удержаться и сказать лишнее. Айгуль замолчала и склонилась над шитьем.

— Вы правы, мой повелитель. Конечно, все это сплетни. Лживые, подлые сплетни, но ведь и о сплетнях должен знать мудрый государь. Сплетни и слухи знать важнее, чем факты. Из сплетен и слухов можно понять многое: не только то, что есть, но то, о чем люди думают, о чем мечтают и на что надеются.

Хан сел на кошму. Много раз в жизни удивляла его эта женщина, удивила она его и сейчас. Начала каяться и уничтожая значение своих же слов, а кончила тем, что опять доказала всю их важность.

Теперь обоим лучше было помолчать. Они и молчали. Аллакули налил себе еще полынной настойки, закусил соленым усачом.

«Не отдам,—твердо решила Айгуль о часах.—Никогда!» Она глядела на мужа и повелителя с открытым, злым презрением, ибо знала, что он не видит ее лица и глаз, не до нее ему. «Не отдам. Разве это мужчина? От него в холодной комнате пар не идет». Часы английской фирмы «Тобиас», такие же, как у А. С. Пушкина, остались лежать в тайничке Айгуль. Часы без ключа.

— Русские сладким не закусывают,—сказал хан жене.—Я приказал, чтобы у нас водку делали, как русские делают. Как с наклейками бутылки.

Хан раздирает огромного усача, жир стекает на халат. Айгуль смотрела на него изредка. В комнате становилось совсем темно, и приходилось все ниже склоняться над шитьем.

— Новая водка будет совсем хорошая. Мне кушбеги обещал, — опять сказал хан. Он хотел перевести разговор на другую тему, но почему-то вновь сбился на своего первого министра.

Айгуль будто и не слышала про водку и про кушбеги.

— Теперь, когда вы, повелитель мира и мой повелитель, имеете право чеканить монету своим благородным именем, теперь, когда за вас молятся во всех мечетях, можно подумать о строительстве. Вы всегда правы: золото, серебро и медь стираются от времени, а построенное стоит вечно, у всех на виду. Слава истории принадлежит тем, кто оставил после себя минареты, усыпальницы и медресе.

Казашка целила точно. Совершенно равнодушный к людям, ничуть не заботящийся о благе своих подданных, безразличный к добру и злу, Аллакули-хан был тщеславен. Именно поэтому он сразу стал приучать царедворцев, чтобы его называли падишахом, как древних властелинов великого Хорезма. Даже отцу, больше всех сделавшему для династии, это казалось слишком смелым, он приучал к этому исподволь, постепенно, ссылаясь на предков. Самое замечательное, что придворным очень легко далось освоить это обращение, никого оно не корбило.

— Вы повторяете мои мысли о строительстве, — сказал Аллакули жене. — Вы бы хоть из вежливости вспомнили, что я это сам говорил вам, когда заходил чаще, чем теперь. Ваш ум — лишь тень моего.

Айгуль решила больше не дразнить мужа. Слишком важное дело было у нее, чтобы рисковать. Чаще всего старшая жена в разговорах с мужем только тешила самолюбие, говоря ему в лицо то, что никто не говорил, а сегодня имела конкретную цель. Ей надо было свалить кушбеги. С его падением у казахских племен возникала надежда вновь захватить пастбища каракалпакского бия. Бия поддерживал кушбеги. Земли эти веками переходили из рук в руки. Айгуль была дочерью своего народа и думала только об одном: «Пастбища надо вернуть казахам. Пока кушбеги у власти, каракалпакский

бий не отдаст пастбища. Если кушбеги попадет в опалу, бий уступит».

— Тот, кто провинился перед государем, должен быть наказан. Чем выше пост, который занимает преступник, тем ниже должна склоняться его голова.—Айгуль говорила общеизвестные вещи, но хан слушал ее внимательно. Это соответствовало ходу его собственных мыслей.—Имущество преступника, как положено,—добавила жена, — переходит в казну государя и может быть использовано на благо народа.

Это было сказано открыто и ясно. Тут никаких намеков не требовалось. Хан оценил эту откровенность.

— Он сильный человек. У него много сторонников. Как раз теперь убрать его сложнее, чем раньше.

— Знаю, повелитель. Кто имеет много денег, может купить много сторонников. Если бы вы проявили решительность...—Айгуль хотела сказать про случай с калмычкой, служанкой молодой жены Мухаммед-Рахима, но вовремя удержалась и продолжала так:—Если бы вы проявили решительность, которая подобает сыну Мухаммед-Рахима, сторонники преступника замолчали бы, как котята, самые близкие его друзья кричали бы «ура», глядя, как его сажают на кол.

Посадить кушбеги на кол? Это слишком! Хан понимал, что это Айгуль перебрала. Так с великими мира не поступают. Великих мира сего режут во внутреннем дворе, ночью. Или кинжал в спину днем. Или удавить прямо в тронном зале, как отец удавил одного из своих двоюродных братьев. Кушбеги будет легко удавить. Ничтожное его тело едва держалось на костях.

Имя кушбеги ни разу не было упомянуто на прогоне длинного разговора, но в этом не было нужды.

Повелитель Хорезма падишах Аллакули верил, что настанет время, когда он избавится от своего первого министра и конфискует его имущество. Впервые мысль о том, чтобы разделаться с ним, пришла в голову хана тогда, когда он узнал о попытке кушбеги утаить золотого болвана из разграбленной могилы. К счастью для кушбеги, болван оказался бронзовым.

— Чай!—сказал хан.—Прикажите, чтобы подали чай, и перестаньте вышивать. Не делайте вид, что вам самой приходится зарабатывать себе на хлеб. Я вас неплохо содержу! Каждый день вы кушаете плов с мясом.

— Спаси вас бог, повелитель, от таких мыслей. Вы хорошо кормите ваших жен и детей, но казна не может выдержать непомерных расходов, когда не все вокруг честно трудятся. Не ругайте ваших жен, повелитель. Мы трудимся для детей... Жаль только, что чай у меня кончился. Я сама его не пью, но в тот раз вы изволили выпить три чайника.

Аллакули приказал, чтобы чай принесли из его личных запасов.

— В конце концов,—продолжала гнуть свою линию старшая жена,—надо помнить, что ислам запрещает употребление вина, табака и других одурманивающих средств, и если кое-кто из мусульман, имеющих особые заслуги, может иногда побаловаться...

Хан перебил ее, строго заметив, что женщине не к лицу толковать установления религии и поступки мужчин. Главное для верующей женщины — звать свое место.

— Конечно,—согласилась Айгуль.— Я только хотела сказать, что имущество преступника и средства от незаконной торговли могли бы послужить богоугодному делу — строительству мечетей и медресе.

Хан пил чай и ел сушеный инжир. Хорошо ей говорить, хорошо ей советовать. А как быть ему, на кого опереться?

Айгуль всегда давала ему заряд для каких-то новых поступков. В прошлый раз торопила с походом в Хорасан. Теперь призывала к тому, чтобы строить величественные здания. Эта женщина умела вселять тревогу за сегодняшний день и вместе с тем надежды на будущее.

Хан оставил своей старшей жене в подарок початую плитку чая.

Два евнуха проклинали своего повелителя, который так долго сидит у жены. Одно дело летом, когда тепло. Сейчас они заоченели, сморкались на кирпичный пол внутреннего дворика и беспокоились, что им говорить о визите хана, если начнет спрашивать кушбеги. Угорбатой персиянки много не попытаешь, а кушбеги будет тянуть жилы.

Зачем приходил хан? О чем они говорили с женой? Когда обещал прийти еще раз? Вот такие вопросы кушбеги будет им задавать, это уж точно.

Кое-что евнухи пронюхали. Кое-что!
Наконец хан вышел и, не обратив на евнухов никакого внимания, прошел на свою половину.

Настоящий политик ни в коем случае не должен торопить события, но тут был особый случай. У кушбеги были основания спешить. Впрочем, спешка делу не повредила.

Когда Шерали пригласили к мехрему, он не удивился, что речь зашла о табаке и гашише. Сначала министр двора пытался выяснить отношение Шерали к курению, а выяснив, что тот не курит и не пьет, удивился, подумав про себя, что парень быстро сопыется, потому что такие вот чистенькие и спиваются вчистую. Потом мехрем интересовался, что молодой человек знает вообще о курении и продаже табака, потом о ночных курильнях, потом о дервишах...

Разговор продолжался долго, и Шерали ловко уклонялся от слов, которые могли бы повредить кушбеги. Впрочем, и для кушбеги он узнал немного.

Уйдя от мехрема, Шерали понял, что разговор был бы интересен кушбеги и о нем следует тому рассказать. Но сегодня была назначена очередная встреча у Ельцова. Опаздывать Шерали не хотел, а с утра решил уехать на неделю в курганчу: давно не навещал жену и сына.

Глава четвертая

ВРЕМЯ ОЖИДАНИИ

Что ожидает нас: позор или слава?

При жизни сделать выбор — наше право.

*Юсуф Хас-Хаджиб.
Наука быть счастливым*

I

Зима — время одиноких раздумий, дружеских бесед, сказок и заговоров. Зима — время долгих ожиданий, а значит — надежд.

Николай Федорович ждал весну, потому что решил

во что бы то ни стало возвращаться в Россию. Дорога через Персию и Турцию или через Китай и Индию его теперь не привлекала.

Только в Россию! Его перестали ждать и друзья, и враги. Его наверняка считают погибшим.

Совсем недавно появилась слабая надежда поехать туда почти легально. Кажется, он понадобился местным политиканам и самому кушбегу. Ведь не без умысла Матнияз обещал Ельцову познакомить его с отцом. Юноша якобы говорил с ним о Ельцове, и тот проявил интерес.

В конце концов, если все сложится именно так, можно надеяться на легальный отъезд из Хивы с одним из транзитных караванов. О том, как сложится дальнейшее, думать не хотелось. Будет видно! Мысль о свободе вызывала сладкое головокружение, и радости порой мешало только чувство вины перед учениками. Может быть, Николай Федорович, как каждый увлеченный педагог, несколько преувеличивал свою роль в жизни учеников, но относительно себя он знал точно: никогда до сих пор его ум, знания, его чувства и весь он не были никому так сильно нужны, как нужен он этим молодым людям. Как это дорого быть нужным!

Николай Федорович все яснее видел перед собой трагедию государства, когда-то бывшего великим: народа, создавшего высочайшую культуру задолго до Европы и в кратчайший срок почти полностью лишившегося всего, что было достигнуто за века. Государство и подданные тонули теперь в пучине невежества, тупого фанатизма, безжалостного угнетения слабых. Видя эту стихию продажности и предательства, насилия, взяточничества и произвола, Николай Федорович задавал себе вопрос, что есть первопричина, а что есть следствие.

Можно ли считать, что продажность чиновников и произвол властей — следствие темноты и неграмотности? Или же эта темнота сама есть следствие тирании, засилья религии и произвола? Порой он думал, что причиной всему темнота, но чаще склонялся к другому выводу. Тогда он страдал за Россию. Неужели падение нравов среди власть имущих может привести к исчезновению русской культуры, к полному забвению ее достижений? Ведь так и произошло здесь, в Хиве, в бывшем

великом Хорезме. В прежней своей жизни Николай Федорович имел весьма приукрашенные представления о Востоке, они были условными, оперными, смешными. В те поры Ельцов увлекался еще идеями уединения и самоуглубления. Здесь, где люди были насильственно разобщены страхом и невежеством, где они нуждались в постоянном обмене знаниями, мыслями и чувствами, идеи опрощения и самосозерцания выглядели кощунственно.

Тут было яснее ясного, что одно голько самоуглубление, которым так прославлена Азия в Европе, ни к чему хорошему привести не может. Во всяком случае, здесь не привело. Что же есть культура вообще? Может быть, это регулярное выполнение каких-то очень важных правил? Может быть, культура — это сделанность, искусственность? Недаром же расения делятся на дикие и культурные. А может быть, культурность — это прирученность, дрессированность, потеря самобытности?

Эти мысли вновь пугали Николая Федоровича. Чем внимательней он всматривался в жизнь простых людей в Хивинском ханстве, тем больше убеждался, что простым хивинцам не хватает того же, чего не хватает и русскому крестьянину: хлеба насущного, хоть какой-нибудь личной свободы и, конечно же, образования. Характерно, что это сходство, это единство проявляется при всем том, что условия жизни, ландшафт, история, религия и хозяйство столь непохожи на первый взгляд. Но чего же он ждал, как не схождения?

Национальные различия далеко не так существенны, как казалось ранее. Это не главный водораздел, если даже внутри одной семьи отпрыски диаметрально расходятся в своих жизненных путях. Получалось также, что люди одного общественного слоя двух разных стран лучше поймут друг друга, нежели представителей разных слоев внутри одной страны. Мысль эта была уже не новой для Николая Федоровича, однако он возвращался к ней, всякий раз находя новые тому подтверждения. Отлично понимают друг друга узбекский медник Асим и русский кузнец Матвей. И ротмистр Мельников очень мог бы пригодиться хивинским властителям, организовал бы сыск, командовал бы здешними заплечных дел мастерами. Мельникова Николай Федорович вспо-

минал редко, но чаще, чем хотел. Он лез в сновидения то вместе с Кюхельбекером, с Катонем Младшим, а однажды с французским поэтом Андреем Шенье, кому Пушкин посвятил крамольные стихи. Кому пришло в голову считать, что эти стихи прославляют революцию? Андрей Шенье сам стал жертвой революции, одной из ее напрасных и трагических жертв. Как далеко это было от Хивы! Робеспьер, Дантон, Марат и Шарлотта Корде.

Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластную бестрепетный ответ.

Разве важна Третьему отделению окончательная идея стихотворения? Строки страшны сами по себе. Интересно, есть ли в здешней поэзии что-либо в этом духе?

2

Дни летели быстро. Иногда ночью выпадал снежок. Солнце к полудню успевало не только растопить его, но и подсушить землю. На базаре появилось много дешевого винограда и дынь. Хозяева сбывали то, что начинало портиться и могло не дотянуть до навруза — праздника весны. А весна-то была совсем рядом. Однажды начальник канцелярии Хубб-Ходжа сказал Юсуфу:

— Я все забываю, как зовут этого русского раба, который приводит в порядок архивы нашего падишаха, переписку с западными странами. Как его зовут?

— Николай.

— Скажи ему, чтобы завтра пришел ко мне.

Юсуф не спросил, зачем впервые за столько времени русский невольник попал добился начальству. Он подумал лишь о том, что в последнее время оживились спо-

ры о России, которые они вели с Хубб-Ходжой. И дома у себя Юсуф все чаще говорил об этом с отцом. Недавно, например, мулла Карим сказал сыну:

— Не думай, что я не знаю каждого твоего шага с тех пор, как ты родился. Даже те шаги, которых я не видел, которых не слышал, мне известны, ибо я знаю, откуда ты идешь, и, значит, знаю, куда сегодня пришел...

По смыслу разговора выходило, что отец хорошо осведомлен о занятиях с русским рабом. Конечно, знает! Раньше Юсуф думал, что удастся скрыть это, потом привык к мысли, что это никого не интересует. В конце концов можно сослаться на то, что русские в ханстве занимают видное место, и если они могут узбеков учить гнать водку и сверлить пушку, то могут, видимо, обучать и вещам более благородным и уж во всяком случае не таким богопротивным, как пьянство.

Юсуф давно приготовил эти аргументы, но отец против ожидания не нуждался в них. Он не осуждал сына, не ругал даже и христианство, что обычно любил делать. Он сказал так:

— Каждый садовник знает, что одно дерево растет лучше на горке, а другое — в ложбинке, что хлопок нужно больше солнца, а арбузу больше воды. Да что там! Разный сорт дыни требует разной земли. Неужели же ты думаешь, что такое сложное божье создание, как человек, менее прихотлив, чем арбуз? Неужели ты думаешь, что тебе подойдет русская почва?

В узбекских семьях не принято вслух возражать старшим. Правда, старшие понимают и безмолвные возражения. Надо отдать должное мулле Кариму, он понял возражения сына.

— Хорошо, — сказал отец. — Пусть пока все останется по-старому. Только помни, сын мой. Вас мало, и вы уже сейчас думаете не как все. Это опасно. Но еще опасней, что постепенно вы перестанете понимать и то, что другие люди думают совсем иначе, чем вы. Вы будете думать, что все любят то, что любите вы, презирают то, что презираете вы... Этим, сын мой, в первую очередь опасны занятия с чужеземцами. Они делают учеников гостями в их собственной стране.

Разговор Юсуфа с Хубб-Ходжой походил на беседу с отцом. Будто сговорились они. Только речь шла о дру-

гом. О том, что как история России и Хорезма не были похожи прежде, так не может быть ничего общего и в будущем этих великих государств. И еще Хубб-Ходжа сказал:

— История учит нас, что и наследный принц, если он получил образование на чужбине, редко царствует счастливо и редко умирает своей смертью.

Предостережение начальника канцелярии вроде бы не касалось Юсуфа впрямую, ибо он не был наследным принцем и не покидал родину, чтобы получить образование, тем не менее старый книжник именно о судьбе своего помощника сейчас и заботился.

Вскоре после этого разговора он и попросил Юсуфа передать Ельцову приглашение.

— Мне тоже прийти? — спросил Юсуф.

— Нет. Мне нужно поговорить с ним наедине. Я ведь ни разу не говорил с ним. Только тогда, когда отдал ему весь этот канцелярский хлам, я передал ему, чтобы он не торопился.

Хубб-Ходжа действительно не испытывал интереса к пленнику. Он не стал бы тратить время на разговоры с каким-то, пусть важным в прошлом, русским офицером. Зачем тратить силы ума на знание новых историй, когда старые истории еще недостаточно изучены и люди не хотят делать никаких выводов из прошлого? Нет! Хубб-Ходжа берег покой и не меньше покоя — свою голову. Он хотел, чтобы мыслей в ней не становилось слишком много. Мысли рождаются от впечатлений. Значит, нужно ограничивать впечатления.

Встреча с Ельцовым была вынужденной, и в качестве дисциплинированного чиновника Хубб-Ходжа хорошо готовился к ней. Кушбеги приказал:

— Поговори с ним, расположи к себе. Может быть, он нам понадобится. Для славы нашего падишаха и всей нашей державы. Может быть, и я захочу с ним поговорить.

Об этом Хубб-Ходжа не сказал Юсуфу, и, когда тот передал приглашение своему учителю, Николай Федорович всерьез задумался. Он понимал, что это неспроста.

Глава пятая

ПЕРЕГОВОРЫ

Пусть каждый гость — простой иль именитый —
Идет домой, довольный всем и сытый.

*Юсуф Хас-Хаджиб.
Наука быть счастливым*

I

Хубб-Ходжа углубился в приготовление плова, изредка поглядывал в сторону гостя и говорил с большими паузами:

— Я много слышал о вас. Наш северный сосед потерял одного из уважаемых военачальников... Вы хорошо меня понимаете?

— Вполне, — ответил Ельцов. — Не затрудняйтесь в подборе слов. И не следует преувеличивать мою роль в России.

Хубб-Ходжа не торопился возражать. Он подложил несколько кусков саксаула под большой чугунный котел и сидел на корточках, не оборачиваясь. Огонь на время притих, и сало перестало стрелять.

— Я хочу, чтобы вы поняли, где вы живете, — сказал Хубб-Ходжа. — Вы человек благородной крови и широкого образования...

Ельцов слушал, не понимая, куда клонит хозяин.

— Для того чтобы узнать народ и страну, надо знать историю. История развивается от великого к малому, и, может быть, только Хорезм составит исключение. Есть люди, которые в это верят.

Хубб-Ходжа заходил издалека. Он говорил о былом величии Хорезма и о том, как одиннадцать веков назад сюда пришел ислам. Иногда Хубб-Ходжа прерывал свое эпическое повествование, для того чтобы объяс-

нить, почему он делает такой плов и как вообще надо делать плов.

— Это ферганский плов, потому что моя мать была из Коканда. Я всю жизнь прожил в Хиве, я потомственный хорезмиец, но привык к ферганской острой еде. Конечно, чревоугодие—порок, но не самый страшный... Сало должно в котле гореть,—говорил Хубб-Ходжа,—чтобы шел белый-белый дым. А чтобы рис в плове стал красноватым и светился, как янтарь, я кладу небольшую косточку, вот эту. Она не должна сгореть, она должна стать красно-бурого цвета... Не думайте, что я собираюсь превратить вас в повара, но есть вещи, которые мужчина всегда должен делать сам. В частности, плов.

Хубб-Ходжа положил в котел мясо, нашинкованный кольцами лук и продолжил свой рассказ об истории Хорезма.

— Потом наступили тяжелые годы. Не осталось ни одного рода, способного возглавить страну,— все перерезали друг друга. Не может такой страной, как Хорезм, править человек безродный — так всем казалось. Поэтому хивинцы искали наследников Чингисхана. Не нами это было заведено. Так делал еще Тимур. Своих ханов мы привозили в Хиву, давали им лучшие дворцы, оказывали царские почести и говорили: «Правьте нами! Правьте нами, как мы хотим!» Жили потомки Чингисхана в покое и довольстве, если им не приходила мысль действительно править. Иногда от безделья им приходили такие мысли. — Хубб-Ходжа усмехнулся. — Вы умный человек и понимаете: хивинцы не могли допустить, чтобы чужие люди правили страной. Хану просто получали бесплатно четырех жён, двух аргамаков и хорошую стражу. Три раза в год, иногда четыре раза в год хан ездил по Хиве как хозяин. Это было красивое зрелище. Два мингбаши впереди, два есаулбаши держат его коня под уздцы, по сотнику у каждого стремени. Народ видел, что закон и традиции торжествуют. Иногда такого хана убивали. Иногда повелителю удавалось бежать. Тогда мы привозили нового хана.

Когда мясо в котле покрылось корочкой, а лук стал красным, Хубб-Ходжа положил в котел нарезанную соломкой желтую морковь.

— Такой порядок, — продолжал он, — долго всех устраивал. Все считали, что народ доволен, — насколько народ вообще может быть доволен. Настало наконец время, и мы имеем, как каждая уважающая себя страна, законную династию из рода Кунграт.

Хубб-Ходжа снова прервал свой рассказ, чтобы положить в котел рис. Он долил воды, разровнял под котлом угли.

— Сегодня, — сказал он, — придет человек, мечтающий о будущем величии Хорезма. Он мудр и будет спрашивать вас о многом и важном. Приготовьтесь помочь ему. Видимо, аллах не зря послал вас в Хиву во времена, когда нами правит великий Аллакули.

Начальник канцелярии волновался, нервничал. Он не глядел Ельцову в глаза, суетился, хопотал. Он не зря избавился от слуг и домочадцев, он явно не хотел свидетелей.

Долгий свой монолог Хубб-Ходжа произносил в холодной кухне. Николай Федорович сидел неподвижно и напряженно. У него зябла спина. Наконец Хубб-Ходжа выгреб огонь из-под казана, накрыл плов тяжелой глиняным блюдом. Потом хозяин предложил гостю пройти в парадную комнату. Он расстелил на ковре цветастую скатерть, набросал вокруг подушек, стал расставлять на дастархане вазочки, блюда со сладостями, орехами, сушеными фруктами, фарфоровые пиалы. В это время в соседней комнате слышались шаги и приглушенная речь. Хубб-Ходжа поспешил туда и надолго задержался.

Николай Федорович пытался угадать, кого увидит перед собой, что сейчас произойдет.

Дверь распахнулась, и в комнату вошел первый человек ханства — всесильный кушбеги. Ельцов впервые видел его так близко, но сразу узнал. Следом за кушбеги шел один из его телохранителей — круглоплечий монгольского вида верзила. Третьим просеменил в дверь хозяин.

Четко помня, кто он здесь, Николай Федорович остался стоять в углу, когда государственные мужи, будто не замечая его, уселись вокруг угощения.

Затем кушбеги сделал знак хозяину дома, и тот жестом пригласил Николая Федоровича.

Никто не притронулся к еде, и кушбеги начал говорить.

Он сказал, что давно слышал о Ельцове и никогда не забывал о нем. Давно хотел познакомиться, ждал удобного случая, рад, что этот случай ему, наконец, представился. Его сердце всегда было открыто России, ибо это великая страна, где живут умные люди. А что на свете можно ценить выше ума? Только верность слову стоит выше ума, ибо верность вообще не имеет цены. Так вот, кушбеги дает слово, что никому не расскажет о встрече с русским пленником и о том, что они говорили друг другу. Если расскажет — позор ему! Но и русский должен помнить, что если он кому-нибудь что-нибудь расскажет, то поплатится за это головой. Более того, кушбеги обещает, что казнь, которой умрет русский, будет самой ужасной, что те, кого посадили на кол, и те, с кого содрали кожу, с того света посмотрят на казнь русского и обрадуются, что они в свое время отделались так легко.

Ельцов слушал внимательно и спокойно. Трудно себе представить, что же готовится сказать этот сатрап, если необходимо такое предисловие, такие предосторожности. И еще: забавную он установил ответственность. Если Ельцов нарушит уговор, он умрет под пыткой, а если кушбеги нарушит — позор на голову.

Кончив говорить о пытке, которой удивятся все ранее казненные, кушбеги сказал, что установление подлинно добрососедских отношений с Россией — его давняя мечта. Это, бесспорно, послужит укреплению страны, поможет в борьбе с южными соседями, которые обнаглели, грозят войной.

Интересы государства, продолжал первый министр, требуют ответа на один вопрос: может ли Россия дать войска и снаряжение для борьбы с южными соседями? И может ли пленник гарантировать заключение такого соглашения, если кушбеги отпустит его в Россию в качестве парламентаря?

Кушбеги говорил, а Ельцов думал о том, как плохо осведомлен этот важный господин, если не знает, что возвращение Ельцова в Россию — вещь не такая простая. Триумфальным это возвращение не будет... Хотя, как знать, может быть, у кушбеги другие сведения. Может ведь быть и такое, что весть о просьбе хивинско-

го ханства стать под руку российского императора будет столь радостной, что вестнику спишут его грехи...

Кушбеги говорил о том, что он лично берется уговорить хана заключить союз с Россией. Хан — мудрый человек и в конце концов должен понять, что с Россией дружить выгодно.

Это «в конце концов» выдало кушбеги. Ельцов утвердился в подозрении, что становится участником заговора первого министра против монарха. И еще одну очень для себя важную вещь понял он: кушбеги в панике. Именно паникой объясняется эта спешка, угрозы, риск и, главное, полная неподготовленность к серьезному разговору — отсутствие конкретных предложений.

Когда пришла его очередь говорить, Николай Федорович начал выпренно и многозначительно:

— Государственные интересы для людей чести — превыше всего! Хива, то есть Хорезмское государство, и Россия — великие соседи и давно стремились к установлению истинно добрососедских отношений, которые предполагают полное взаимное доверие, понимание и верность достигнутому соглашению.

Пока Николай Федорович нес эту галиматью, голова его была занята другим, более важным. Он вспомнил письмо генерала А. П. Ермолова к хану Мухаммед-Рахиму. Память некстати, но услужливо подсказала первую фразу письма: «Высокославный могущественный и пресчастливейший Российской Империи Главнокомандующий в Астрахани, в Грузии и над всеми народами, обитающими от берегов Черного моря...»

«Нет! Там было что-то о торговле, но что именно?» — напряженно вспоминал Ельцов, но, так и не вспомнив, заговорил о Муравьеве.

— Посланный в Хиву русский генерал (он умышленно произвел Муравьева в генералы) был очень обнадужен бывшим ханом. А подарки, которые он сделал тогда, были только первым знаком внимания. Россия никогда не скупилась на щедрые подарки своим верным друзьям...

Николай Федорович без предварительного намерения вдруг сбился на подарки. Получилось это само собой, однако интуиция подсказывала, что он на верном пути. Тему подарков стоило развивать. Николай Федо-

рович говорил далее об английских ружьях, о хрустале, о сукне на верхние халаты, о бархате для женских нарядов... В документах Муравьева Николай Федорович прочел и о подарках, которые получил от него кушбеги. Ельцов стал говорить, что кушбеги может получить много больше, если по своей собственной инициативе вступит в контакт с государем императором Николаем I. Николай Федорович не удержался и с улыбкой сказал, что русскому царю должна понравится хивинская система управления страной.

Кушбеги перебил его.

— Вы перепутали, — строго сказал он. — Перечисленных подарков я не получил. Их получил другой кушбеги, который был при прежнем хане. Он умер не своей смертью.

Николай Федорович вовсе упустил это из виду. Впрочем, ничего страшного не произошло, наоборот: лишний раз подтвердилось, что все идет правильно.

Николай Федорович вспомнил, что среди подарков, присланных покойному хану генералом Ермоловым, был поднос с десятью фунтами свинца, таким же количеством пороха, десятью кремнями и двумя головами сахара. Ельцову рассказывали, что хан, подняв тяжелый поднос, решил, что там золото, но, распечатав холстину, в которую все было обернуто, понял, что русский падишах не столь богат, как говорили, и если даже богат, то чрезмерно скуп. Подарок белого падишаха был истолкован символически: две головы сахару, увязанные вместе с порохом и свинцом, означают предложение мира и сладкой дружбы, на которую ежели не согласиться, то будет между царями двух стран большая война. Конечно, Ермолов ничего подобного в виду не имел, но Николай Федорович подтвердил это хивинское истолкование давних подношений, сказал, что новый русский царь щедр на богатые подарки и гневен против нарушающих мир. Он сказал, что русское правительство может наградить кушбеги орденом с брильянтами и что начнет хлопотать об этом, как только вернется. Наговорив еще всякого, Николай Федорович сказал и главное, что продумал за время своей долгой и безответственной речи.

— Прежде чем я обращусь к моему правительству, я хотел бы знать, что со своей стороны обещает правительство его величества падишаха Хорезма?

Если бы бедняга Вильям Хоп знал, что случится такой разговор между русским, которого он принимал за агента, и самим кушбеги, к которому безносый и безглазый нищий так и не был допущен, он сошел бы с ума еще раньше.

Кушбеги слушал условия Ельцова внимательно. Иногда его тяжелая челюсть отвисала — это означало, что он думает о себе, о своих выгодах или убытках. Иногда по лицу кушбеги начинала расплзаться медленная гягучая улыбка. Это значило, что он думает, что собеседник глупее его самого.

Во время речи Ельцова кушбеги все чаще и чаще улыбался.

О плове, казалось, забыли. Ельцов подумал об этом, когда кончил излагать условия соглашения между двумя странами от имени самого Николая I.

Присутствующие молчали. Здесь вообще говорили только двое: кушбеги и Ельцов.

— Хорошо,— сказал кушбеги,— я подумаю.

— И я подумаю,— вставил Ельцов, чтобы не продешевить.

— Только помните, что я сказал о соблюдении тайны. Нет качества выше, чем верность слову. Я свое слово сдержу.

Опять наступило молчание, и кушбеги сказал хозяину дома:

— Проводите гостя, Хубб-Ходжа. Он должен вернуться до того, как стража выйдет в ночной дозор.

На дворе сгустился вечер, стало очень холодно, и Николай Федорович с горечью усмехнулся своей надежде на вкусный ферганский плов, который Хубб-Ходжа готовил на его глазах.

Однако он поспешил огорчиться. Хозяин вручил ему глубокую глиняную чашку, завернутую в бязевый платок.

— Тут ваш плов,— сказал Хубб-Ходжа.— Я надеялся, что мы поедем вместе.... Только очень прошу: никому не говорите, что в моем доме вы видели кушбеги. Даже ученикам не говорите... Умоляю!

Глава шестая

ПОЛИТИКА

Несправедливость хана, лживость власти —
Причина неудач и всех несчастий.

*Юсуф Хас-Хаджиб.
Наука быть счастливым*

I

Больше недели шли дожди. Они омыли дома, улицы, минареты и купола мавзолеев, проросшие зеленой травой. Редко в Хиве воздух бывает такой прозрачности — не затуманенный ни пылью, ни испарениями.

Николай Федорович сидел на небольшой кошке возле своей мазанки и пытался сосредоточиться над старинной книгой, написанной арабским шрифтом. Книга была интересная, и читал Николай Федорович уже сравнительно легко, но сосредоточиться мешало солнце. Он опустил книгу на колени, привалился к шершавой глине стены и смотрел на минарет, возвышавшийся за порталом ханского дворца.

Казалось, весна должна настраивать оптимистически: оживает природа, начинается молодость года, все, как говорится, впереди. Однако Ельцову было грустно. Тысячи раз любовавшийся восточными орнаментами, Николай Федорович сегодня вдруг подумал о полной безысходности, выраженной в них. Как ему раньше не приходило в голову, что завершенность и повторяемость любого орнамента — это прежде всего застывшая обреченность, каменный пессимизм? Как бы изобретательно ни развивалась линия, как бы ни переплетались узоры, все равно они сплетутся в заранее намеченном месте и расплетутся там, где им положено. Может быть, завершенность восточных орнаментов связана с религиозным фатализмом, которому столь привержен каждый истинный мусульманин?

И еще думал Николай Федорович о том, что он, все-

гда избегавший политики у себя на родине, здесь оказался вовлеченным в деятельность, куда менее реалистическую и куда более опасную, чем дело тех, кто восстал 14 декабря. А ведь произошло это без всякого умысла с его стороны. Просто влечение души, жажда общения, потребность думать и говорить то, что думаешь, необходимость отличать добро от зла и, самое опасное, — иметь во всем этом единомышленников.

Когда-то Николай Федорович не одобрял своих друзей на родине за их требовательность, за желание торопить перемены. Ему казалось, что нет нужды в спешке, что можно и подождать с демократическими институтами на иностранный манер. Здесь он тоже видел нетерпение юношей, и, хотя хивинские заботы должны были касаться его меньше, чем когда-то заботы русские, получалось наоборот. Он понимал молодых хивинцев. Это, видимо, можно объяснить величиной перепада между идеалом и действительностью. Да, дело, видимо, только в том, насколько действительность отличается от идеала. И может ли человек примириться с этой разницей?

Книга, лежащая у Николая Федоровича на коленях, повествовала об истории Индии. Автор ее — мудрый хорезмиец, живший за девять веков до Ельцова, — писал:

«Обычаи индийцев схожи с обычаями христиан, ибо строятся на принципах добра и воздержания от зла, а это полный отказ от убийства, наказ отдавать тому, кто отнял верхнюю одежду, рубаху, подставлять правую щеку тому, кто ударит по левой, благословлять врага и возносить молитвы за него. Клянусь жизнью, этот образ действия превосходит!»

Так рассуждал благородный Абу Райхан Бируни. Но Бируни мудрый и усталый поправлял Бируни благородного. Он тут же добавлял, что обитатели мира сего отнюдь не все философы и с тех пор, как император Константин сам принял христианство, «меч и бич не знали покоя».

«Возможно ли, — думал Николай Федорович, — что в Европе совсем не знают этого великого ученого, знатока истории, философии, математики, минералогии и многих других наук? Много ли найдется в мире гениев, могущих стать рядом с Бируни?» Ельцов видел, что хо-

резмиец был сыном своего времени, в его сочинениях встречались сведения наивные или спорные, но автор в таких случаях всегда ссылался на источник этих сомнительных сведений. То, что Бируни писал от своего имени, поражало Ельцова глубиной мысли и четкостью, с какой эта мысль была выражена. И еще удивляло Николая Федоровича, что для древнего хорезмийца, как и для Пушкина, понятия «избранные» и «чернь» вовсе не совпадали с происхождением, а определялись признаками чисто человеческими: умом, совестью, честью.

«У всякого народа,— писал Бируни,— вера избранных и толпы различается по той причине, что избранным от природы присуща способность бороться за рациональное постижение и стремиться к такому познанию общих начал, тогда же как толпе естественно ограничиваться ощущениями и довольствоваться частными положениями, не добиваясь уточнений, в особенности в вопросах, где обнаруживается расхождение мнений и несоответствие интересов».

2

Евнухи встревоженно ходили возле ворот. Один кто-то должен был идти подслушивать: они не могли договориться — кто. Шутка ли: вдруг хан заметит, что его подслушивают? С другой стороны, опасаться кушбеги нужно было ничуть не меньше, чем хана. Они кинули жребий. Младший евнух, по-бабьи причитая, направился за лестницей. безопаснее подслушивать с крыши.

Аллакули зачастил к первой жене. Не прошло и недели, как хан навещал ее, а сегодня пожаловал опять. Для Айгуль стало привычным, что ее нелюбимый повелитель лежит перед ней, полуприкрыв глаза, время от времени полнижается, чтобы выпить полынной настойки, и опять ложится, заботясь только о том, чтобы выражение лица не выдало его внимания к словам жены.

Айгуль вышивала камзол и говорила, будто бы заранее соглашаясь со всем, что думает хан.

— Конечно, мой повелитель, конечно. В каждом го-

сударстве должны быть недовольные, и, конечно, недовольных надо наказывать. Но есть способы мудрого правления. Они учат нас, что недовольных можно использовать: недовольными можно пугать, на недовольных можно опереться.

Хану эти общие соображения были мало интересны. Он рассказал жене, что у него имеются сведения о заговоре среди группы молодых хивинцев, что среди участников этого заговора находится сын кушбеги и даже один из его собственных родичей. Донос был анонимный, но казалось, что автор его — имам главной мечети. Хан ждал от жены конкретного совета, но та не торопилась.

Айгуль не была уверена в том, что муж поймет ее. Она тщательно готовила почву, разжигала нетерпение хана.

Наконец, она сказала:

— Вы рассказали мне о молодых людях из хороших семей. Вы рассказали, что они весьма образованны, но все еще продолжают учиться. Вы рассказали мне, что за ними пока нет никаких преступлений. Если все это действительно так, то я по своей женской глупости хочу спросить: а почему бы вам не опереться на этих молодых людей, почему бы не сделать их своими помощниками и советчиками? Нет, не сразу, конечно, не завтра и не послезавтра, но постепенно приблизить к себе, учить их уму-разуму, послушать, что говорят они. Они подберут себе помощников, и так постепенно вы окружите себя молодыми, преданными, умными и честными людьми.

Хан сел к дастархану, налил себе настойки, выпил и сказал:

— Никак не могут научиться делать хорошую водку. Специальную комиссию назначил проверять. Обещают скоро новую винокурню.

У хана проснулся аппетит. Он разодрал жареную курицу и, занявшись едой, надолго замолчал.

Нежелание отвечать напрямую и это молчание Айгуль поняла правильно: ее слова упали на подготовленную почву. Подождав, пока хан опять уляжется на кошму, старшая жена продолжала:

— Для этого вам прежде всего было бы хорошо избавиться от некоторых сановников, которые слиш-

ком часто, хотя и нечаянно, становятся между вами и солнцем.

Хан еще раз удивился изобретательности, с какой жена говорит о кушбеги. И ведь как сказала! Не заслуживает хана, а становится между ним и солнцем.

— Конечно,— продолжала Айгуль,— конечно, и вы, повелитель, знаете это лучше меня: хорошо опираться на умных и на честных. Но ведь никто из дураков добровольно место умным не уступит. Поэтому всякий государь, если он хочет опираться на умных и на честных, может оказаться в меньшинстве. Вы человек сильный... очень сильный... удивительно сильный... Но я, ваша покорная жена, не знаю, смогли бы вы опереться на умных и на честных. Ой, не знаю.. ой, боюсь...

— Я смогу,— хмуро сказал хан.— Сначала избавлюсь от жулика.

— Дай вам аллах сил и счастья!— сказала Айгуль.— Только я, ваша глупая жена, не могу быть уверенной, что все у вас получится так хорошо. Мне легко болтать. Каково же приходится тому, кто должен делать?

— Я смогу,— сказал хан. Он налил себе полынной настойки, но вдруг отставил пиалу.— Чай остался?— спросил он.— Пусть принесут чай. Чай проясняет мысли, мне нужно многое обдумать.

3

Разговор хана с женой стал известен первому министру на следующий день к вечеру. Не весь разговор, а лишь отдельные фразы, тема, направление. Разве смогут бестолковые разжиревшие евнухи передать подробности? Чуть сообразительнее оказалась горбатая старуха. Она слышала про умных, честных молодых, на кого следует опираться. Она слышала о ком-то, кто стоит между падишахом и солнцем. Кушбеги всегда понимал, что хан готов избавиться от него при первом удобном случае. Неужто сейчас такой случай? Кто же эти умные, честные, молодые? Уж не его ли собственный сын, не Матнияз ли, не Хамид-тура, не честолюбивый ли Шерали с сыном муллы Карима? Почему-то подумалось прежде всего про них. Сын, конечно, не будет интриго-

вать против отца, хотя кто это знает точно. Тайком от Матнияза кушбеги пригласил Шерали и Юсуфа. Эти двое казались главными.

Кушбеги принял их как равных, оказывал почести, слегка только подтрунивал над их удивлением по поводу такого приема, а потом, также добродушно посмеиваясь, сказал, что знает все.

— Я давно слежу за вами. Нет, мой сын ничего не говорил. Потому я и стал следить за вами, что боялся за сына. Простительное любопытство? Я все знаю и спокоен.

Кушбеги лгал. Все, что он знал, он знал от сына. Он не был лишь уверен, что сын рассказывал все, что знал сам.

— Мне близка ваша тяга к знаниям,— продолжал первый министр ханства.— И ваша любовь к справедливости. Только я вижу, какие опасности таит для молодых и то, и другое. Поверьте, друзья, то, что не нравится вам, давно не нравится и мне. Когда-нибудь вы узнаете, что я делаю в борьбе со злом. Иногда говорят: кушбеги такой-сякой, проходимец, выскочка без роду без племени, говорят, наверное, что я захватил власть для обогащения. А кто знает мою настоящую жизнь? Кто знает благородную бедность, в которой я был рожден, кто знает, сколько усилий нужно приложить сыну неграмотного сборщика въездной пошлины, чтобы стать правой рукой падишаха? Для чего я делал это? Исключительно для того, чтобы народ наш — и люди меча, и люди ремесла — жил в довольстве.

Шерали слушал кушбеги с интересом, по ходу рассказа пытаюсь отделить правду от лжи. Он не понимал, что в словах кушбеги вообще нет ни слова правды. Юсуф знал про кушбеги много плохого, но сейчас он пытался увидеть в нем доброе. Ведь не может быть человека без добрых чувств и намерений.

— Недавно наш падишах,— продолжал кушбеги,— сказал мне: «Подбери несколько образованных молодых людей хорошего происхождения, побеседуй с ними дружески и подробно. Пусть они, не страшась, расскажут тебе всю правду — что они думают о нашем государстве, чего они хотят. Ошибки их мы простим, потому что заранее верим в их честность...» Я выбрал вас двоих. Представьте себе, что вы уже сегодня члены Государ-

ственного совета, что вы сидите вместе с падишахом и ваше решение может отменить только он сам. Но он не отменит ваше решение, потому что он с вами заодно... Чего бы вы хотели для нашего славного государства? Говорите, говорите,— настанвал кушбеги.— Я знаю, дурных мыслей у таких чистых молодых людей быть не может. Говорите все, что думаете.

— Видите ли,— наконец сказал Юсуф,— положение нашей державы в настоящее время по сравнению с ее великим прошлым кажется нам столь бедственным....— Юсуф задумался,— столь бедственным,— повторил он,— что трудно решить, с чего начать. Я, например, думаю, что надо начать с образования. И одновременно развивать торговлю.

— Прекрасно! — сказал кушбеги. — Прекрасная мысль! Торговля и образование — тут залог успеха.

Юсуф почувствовал в словах кушбеги фальшь, но тут же забыл об этом, потому что заговорил Шерали. Шерали говорил о взяточничестве, о том, что продажность некоторых чиновников и забвение справедливости приводят к тому, что у простых людей пропадает желание трудиться. Шерали сказал, что первые средства для улучшения жизни ханство могло бы получить, став перевалочным пунктом в торговых отношениях между Европой и Азией. Для этого необходимо продолжать переговоры, которые в свое время его отец сотник Иш-Назар вел с генералом Ермоловым.

— Прекрасно,— сказал кушбеги.— Я вижу, вы деловые ребята. Ты, Шерали, согласился бы поехать в Россию как сын нашего славного Иш-Назара?

— Да, — сказал Шерали, — я согласился бы. Только я очень молод для такой почетной миссии.

— А ты знаешь язык?— спросил кушбеги.

— Немного знаю.

— Вас учит этот русский пленный?.. Он учит вас только языку или, может быть, еще чему-нибудь хорошему?

Вопрос насторожил молодых людей. Даже не столько вопрос, сколько построение последней фразы.

— Мудрецы считают,— заметил Юсуф,— что знания — золото: неважно, откуда они пришли, важно, кто ими владеет.

— Конечно, конечно! Это истина, не требующая доказательств. А этот русский пленный наверняка знает много таких истин, не правда ли?

Кушбеги легко и охотно соглашался с молодыми людьми, это их настораживало во время разговора, но по-настоящему обеспокоило только дома. Они стали проверять, не сказали ли чего лишнего, а если сказали, то к чему это может привести. Им почти удалось успокоить себя, и тогда они рассказали обо всем Азиму. Он рассердился.

— Вы рассуждаете, как молочные ягнята, которые уверены, что волк — их близкий и добрый родственник; слишком много у них общего: по два глаза, по два уха, по четыре ноги и одному хвосту на каждого. Ягнята забывают только, кто чем питается. Я боюсь их всех. Я знаю, что они волки. И хан, и кушбеги, и любой стражник... — Азим будто споткнулся, но потом тихо добавил: — И дети у волков — волчата. Я их тоже боюсь.

4

Аллакули назначил заседание Государственного совета на поздний вечер. Это было в обычаях его отца хана Мухаммед-Рахима, это вселяло тревогу в участников, это вызывало трепет у тех, кто не был допущен к хану. Совет собрался, а Аллакули не спешил выходить. Он знал, что ожидание размягчает волю, делает чиновников податливее. Сегодня он нуждался в податливости.

Падишах вышел в халате золотой парчи, при сабле, осыпанной рубинами и изумрудами. Скромно выслушав подобострастные приветствия, Аллакули уселся в ишше и сказал строго:

— Начинайте!

Мудро придумал Мухаммед-Рахим. Вы, мол, думайте, решайте, принимайте меры, высказывайтесь. Я буду смотреть на вас, буду знать, о чем вы хотите говорить, о чем предпочитаете молчать. Вы будете думать о государстве, я буду думать о вас самих.

Легко ли под взглядом повелителя принимать решения? Хуже всего, если падишах заранее не выражает

своих пожеланий. Сегодня Аллакули вел себя именно так.

Обсуждался обычный и самый неприятный вопрос: где взять денег? Налоги систематически повышались, а поступления в казну не увеличивались.

Кушбеги предложил высказываться всем по очереди. Дельных предложений ни от кого не поступало. Этого следовало ожидать, на это и рассчитывал кушбеги. Пусть падишах придет в уныние, пусть поймет, кто его советники, пусть еще раз убедится, что не сможет обойтись без кушбеги, недаром же первый министр насовал в Государственный совет самых бездарных и трусливых чиновников. И зря старается казашка Айгуль: не быть в совете никаким «умным, честным, молодым». Кушбеги чуть не сплюнул при мысли о том, как выглядели бы на Государственном совете те два птенца, что недавно излагали ему мечты о будущем Хорезма. «Образование, просвещение, торговля, справедливость, искоренение взяточничества...»

Аллакули думал несколько иначе. Приближенных надо время от времени менять местами. Это создает надежды у нижестоящих и опасения у вышестоящих. Все они одинаковы, но стараются по-разному. Менять надо с умом. Вновь назначенные поначалу оголтело мздоимствуют, удержу не знают, лишь бы обогатиться; потом мздоимствуют еще больше, но с умом, стараются соблюсти обоюдный интерес: себе накопить и казну подкормить. С этой точки зрения кушбеги не так плох. Новый может быть и не лучше. А кто будет этот новый? Может быть, сделать ставку на верховного судью: стар, хитер, осведомлен... На место верховного судьи назначить имама Раджаба: давно хлопочет. Кушбеги послать градоправителем подальше куда-нибудь, все, что у него награблено, без шума отобрать. Только где он хранит свое? В чем держит ценности: в золоте, в серебре, в товарах? Мало я знаю. И Раджаб ничего не знает, надо поручить, чтобы выяснил.

Хан с раздражением смотрел на своего первого министра. У того был насморк, он осгорожно дергал носом, стараясь реже сморкаться. Насморк усиливался с минуты на минуту, глаза у кушбеги покраснели и слезились.

«Бог с ним! — решил хан. — Я сейчас выкину его

на блюдо Государственному совету. Я им дам только повод, а они сожрут его с соплями. Кто будет усерднее и злее кусать, того и сделаю первым министром».

— Люди! — тихо сказал Аллакули. — Люди! Государство наше переживает светлые дни расцвета, враги внешние и внутренние трепещут ныне при одном слове «Хорезм», при одной мысли о нашем могуществе. Но не все нас удовлетворяет, не всем мы довольны. Вот здесь говорилось много умных вещей про доходы и налоги. Здесь говорилось, например, что подати за земли, орошаемые при помощи чигирей, удвоились. Говорили вы о том, что денежный налог, салгыт, увеличен на две трети. Мы со всем вниманием относимся к взиманию подушного налога, весового сбора и налога с богатых «бай-пули». Все это правильно, но все это общеизвестно.

Аллакули говорил длинно и складно. Это хорошо. Пусть такие же точно слова падишах говорил и месяц назад, и год. Длинное вступление необходимо.

— Обо всем я слышал сегодня, — продолжал Аллакули, зажав в руке изумрудные четки. — Не слышал я голько про пошлины от торговли табаком. Может быть, это слишком ничтожный вопрос? Может быть, он не имеет значения? Но ведь говорят, что торговля табаком, гашишем и опиумом, несмотря на все запреты, растет. А где же доходы от этой торговли? Мне хочется, чтобы члены Государственного совета сказали, что они думают про это, посоветовали бы, как нам следует поступить. Попутно я хотел бы знать ваше мнение о деятельности нашего кушбеги.

Аллакули хотел на этом кончить, но понял, что нужно точнее определить свое желание. Хан вытащил из-за пазухи заранее приготовленную бумагу, которую сам же и написал.

— Это донос, вызывающий определенное доверие. Тут про многое сказано, я прочту только самые последние строчки. «За последний год, таким образом, кушбег утаил от нашего милостивого падишаха около двадцати тысяч золотых».

Хан сунул бумагу за вырез парчового халата и ждал.

— Ну?— Аллакули сказал это короткое слово после длинной паузы, во время которой члены Государственного совета сидели, понуро опустив головы. Они не были готовы принимать решение, и хан был сам виноват. Нельзя без подготовки. Следовало бы заранее переговорить с верховным судьей, с начальником охраны. Но тоже ведь не знаешь, кому можно довериться.

«Они боятся кинуться на кушбеги, потому что не уверены, что я действительно решил от него избавиться, — догадался хан. — Они не так глупы».

— Мы должны все взвесить, все проверить, — спокойно сказал Аллакули и подумал, что власть падишаха не так безраздельна, как иногда думают. — Пусть наш уважаемый кушбег сам все расскажет Государственному совету. Правда всегда победит мрак.

Кушбег пережил тяжелые минуты. От волнения у него прекратился насморк и перестали слезиться глаза. Речь была приготовлена.

— Государственный совет должен с особым вниманием относиться к любым сведениям, поступающим от доброжелателей. Мы должны, склонив головы, повиноваться словам и невысказанным желаниям падишаха. Нет ничего тайного, что не стало бы в конце концов известно мудрым мужам нашего Государственного совета. Но я не считал возможным, о наше солнце, говорить о тех тайных доходах, которые получаем мы от торговли табаком... Великий падишах помнит, конечно, о разговоре, который был в присутствии почтенных и ныне здравствующих дервишей. Эти святые люди много делают для славы Хорезма и падишаха Аллакули. Их нет сейчас в Хиве, но они вездесущи, и к словам их прислушиваются везде, где живут правоверные мусульмане. Святые дервиши одобрили мое намерение все частные доходы отчислять в личную казну хана, минуя казначейство как таковое. Моя вина, о властелин мира, что я до сих пор не доложил вам обо всех операциях. У меня не все было сосчитано. Так, например, на строительство великого минарета предназначено шесть тысяч, а этого не хватит. На строительство медресе — четыре тысячи, на мавзолее Палван-ата — семь тысяч. Эти деньги, можно считать, в кармане. Еще три тысячи, о великий хан, о падишах, остаются на другие святые и славные дела... К сожалению, я не могу эти деньги вру-

чить сегодня, потому что они находятся в обороте у святых дервишей. В течение ближайших месяцев хан может получить все деньги, и поэтому уже сегодня можно дать приказ о начале строительства мечетей и медресе. Разве не этого хотел падишах?

Кушбеги, с благодарностью оценивший медлительность Государственного совета, когда хан выкинул его для съедения, теперь ждал поддержки. Советники, однако, не спешили поддержать первого министра. Только начальник стражи, дальний родственник кушбеги, не поднимая глаз, сказал:

— Это большие деньги, и падишах поблагодарил бы вас, если бы вы сказали об этом заранее.

Родственничек первым готов был предать. Верховный судья высказался благожелательнее:

— Большие доходы требуют сохранения тайны. Я лично нисколько не удивлен тем, что не знал об этом ранее.

В другой раз, успокоил себя Аллакули, не буду сразу кидаться из одной крайности в другую. Айгуль не так уж умна, кушбеги не так глуп, а я их обоих умнее. Чего бы я достиг конфискацией имущества? Он же ясно сказал, что наличных денег нет, все в обороте у дервишей. Добровольно кушбеги отдаст больше, чем можно взять силой.

— Я хотел бы просить прощения у членов Государственного совета, что и сейчас не могу сообщить все, что знаю, — продолжал кушбеги. — Я просил бы вас дать мне три тысячи золотых для награждения тайных соглядатаев. Мы допустили большую ошибку, сократив расходы на их оплату. Одной верности мало, нужно платить верным людям. Я прошу доверить мне эти три тысячи золотых и обещаю в ближайшее время доложить вам о заговоре, нити которого у меня в руках. Пока я назову этот заговор условно. Пусть он пока называется «заговор честных». Так они сами именуют себя, будучи по сути своей грязными шпионами неверных.

Кушбеги шаг за шагом возвращал себе власть над падишахом и Государственным советом. Заговоров они боятся. Нужно теперь улучшить настроение Аллакули. Пусть уснет с радостью, что у него такой кушбеги.

— Я позволю себе, великий падишах, высказать предположение, что строительство надо начинать с медресе вашего имени и мавзолея Палван-ата. Это понравится и простолюдинам и шейхам, хивинцам-горожанам и туркменам-воинам. Эта величественная гробница будет к тому же усыпальницей падишахов кунгратской династии, как Исмаил Самани в Бухаре, как Гур-Эмир в Самарканде...

До утра Государственный совет был занят вопросами градостроительства. О распределении доходов больше никто не говорил, опасная тема и неблагодарная. Куда приятнее беседовать об архитектуре и искусстве.

5

Дни установились сухие, солнечные, яркие. Весенние ветры волочили по улочкам Хивы длинные шлейфы пыли, перьев, камышинок, клочков шерсти, какого-то пуха и всякого другого легкого мусора.

Анна Васильевна тщательно огораживалась от ветра, в кухне блюла чистоту, но порой и у нее в каше оказывалось многовато лишнего. От крученого ветра нигде не спасешься, а раздача еды — долгая, часа по два котел открытым стоит; последним в очереди бог весть что достается.

Хубб-Ходжа получал приварок в числе первых, вне очереди. Он всегда являлся вовремя, положенным не пренебрегал. Рисовая каша с мясом, шавля, которую чаще всего готовила русская стряпка и которой начальнику канцелярии полагалось по первому разряду, была ему не по вкусу. Морковь нарезана крупно, лук не жареный, а вареный. Свой приварок начальник канцелярии отдавал домочадцам, младшим писарям, слугам. Члены Государственного совета питались лучше: им полагалось из ханского котла, и ели они поблизости от самого падишаха. Но Хубб-Ходжа не завидовал. Он предпочитал домашнюю еду и готовил себе сам.

В тот ветреный и теплый день Хубб-Ходжа, укрыв платком миску с казенной кашей, спешил домой. Он не был расположен к беседам на улице и, когда его окликнул верховный судья, слегка подосадовал.

Верховный не спешил к своему обеду, у хана кормили позже. Старый, благообразный, спокойный и доброжелательный, верховный судья с начальником канцелярии говорил не спеша, осторожно. Хубб-Ходжа и сам насторожился, понимая, как важно не пропускать слова. Сперва говорили об успехах в строительстве, о внешней политике, потом верховный спросил:

— Скажите, почтенный, у вас, кажется мне, работал какой-то грамотный русский невольник? Кажется, тот, который пытался бежать от Иш-Назара и был наказан плетью... если я что-нибудь не путаю.

Хубб-Ходжа не торопился отвечать, хотелось сообразить, для чего это нужно спрашивающему.

— Вы сказали про невольника Иш-Назара? Да, да. Его действительно наказывали плетью. Так чем я могу быть полезен вам, мой господин?

— Он еще у вас, тот русский, или вы вернули его хозяину?

— Не вернул, — вздохнул Хубб-Ходжа. — Работает. Правда, я крайне редко его вижу, он ленив, как все рабы. — На всякий случай начальник канцелярии добавил еще: — Он разбирал иностранные бумаги, но сейчас работу закончил...

Верховный спрашивал не для того, чтобы причинить вред — предостерегал.

— Присмотритесь к нему, почтенный. С ним у вас могут быть хлопоты. Говорят, он сеет смуту, подрывает основы нашей веры. Я не знаю, так ли это, но имам Раджаб утверждает, что все точно. Он считает себя хорошо осведомленным, потому что верит любым сплетням. Во всяком случае, слух надо проверить. Зайдите ко мне денька через два-три, побеседуем.

Хубб-Ходжа поблагодарил верховного за приглашение и добрый совет. Даже странно, почему тот решил предостеречь начальника канцелярии. Друзьями они никогда не были, в услугах Хубб-Ходжи верховный судья никогда не нуждался. Понятно, это он назло имаму Раджабу. Знает, что тот подкапывается.

С тех пор как Хубб-Ходжа отказался от мысли вести свою, независимую от достославного Муниса, историю ханства, с тех пор как понял всю опасность задуманной работы, он запустил и текущее письмоводительство. К чему все это? Кому нужно? Да и кому нужна

сама канцелярия? Население сплошь неграмотное, среди чиновников писать умеет едва ли каждый пятый, да и то с ужасающими ошибками; отношения с соседними державами тоже не обременяют почтой. Только самое необходимое делал Хубб-Ходжа по службе, только самые важные бумаги прочитывал сам. Большую часть дня он сидел дома и курил кальян.

Казалось, что такое времяпрепровождение и отсутствие серьезной умственной работы должно было повлиять на мыслительные способности начальника канцелярии. Однако это было не так, он обладал и умом, и чутьем. Вопросы верховного судьи показались ему многозначительными. Возможно, что русскому грозит опасность. А если его возьмут под пытку, он может рассказать о своем тайном визите в дом начальника канцелярии, об изменнических переговорах... Хубб-Ходжа соображал точно. Не имеет значения, что переговоры вел сам кушбеги, важно, что главным ответчиком мог стать начальник канцелярии. Такой была первая мысль. А вторая, надо отдать справедливость, была о том, что русский этот — человек симпатичный и ему следует помочь.

Вернувшись домой, успокоив сердце и еще раз все взвесив, Хубб-Ходжа вызвал Юсуфа.

Слова начальника канцелярии звучали как приказ:

— Сейчас меня встретил наш верховный судья, это мудрый человек. Он совершенно справедливо упрекнул меня в том, что русский раб Николай бездельничает и подает плохой пример другим рабам. Безделье разлагает. Насколько я помню, этот раб принадлежит не падишаху, а твоему другу и родственнику Шерали. Передай ему, пусть завтра забирает его куда хочет. Мой совет — отправить его в курганчу. Он многим здесь намозолил глаза.

Юсуф не стал возражать или переспрашивать. Он поклонился и вышел.

— Юсуфджан, — вернул его Хубб-Ходжа. — Совсем забыл, у меня в прихожей стоит каша. Хочешь, отдай младшим писарям, хочешь — этому русскому...

Глава седьмая

ДЕТИ, ДЕТИ...

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа.
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

К. Рылеев

I

Имам главной хивинской мечети пригласил в гости муллу Карима. Не на праздник, не в числе других — персонально!

— Почтенный наставник, окажите мне честь отобедать в моем доме. Вы ученый человек, вам ведомо прошлое, вы можете предугадать будущее. Пусть свет ваших знаний осветит мое убогое жилище. Я ведь только смиренный мусульманин и один из многих слуг падишаха Аллакули. Не откажите мне!

«Один из многих слуг падишаха...» Это имам Раджаб намекал на то, что недавно назначен первым заместителем верховного судьи.

— Спасибо, почтенный! — плохо скрывая неприязнь, буркнул мулла Карим. — Как-нибудь — обязательно.

— Ни в коем случае — как-нибудь! — запротестовал имам Раджаб. — Не как-нибудь, а завтра! Если, конечно, вы не захотите обидеть вашего раба...

Муллу Карим согласился: пусть неприятное скорее останется позади.

Угощение было обильным. Сначала подали охлажденную сухую лапшу с мясом, потом по большой миске горячей бараньей шурпы с ранней весенней зеленью, потом поставили поднос с большими пельменями, приготовленными на пару. Манты называются такие пельмени.

Манты остывали, покрываясь матовой пленкой бараньего сала, новые блюда ждали своей очереди. Вкус-

но готовили в доме имама Раджаба, но мулла Карим с молодых лет приучил себя к умеренности и не считал еду развлечением. Вот и сейчас он думал о том, как много невозвратимого времени сытые люди теряют на шумные застолья и чинные трапезы, как много говорят о еде. О еде имеют право говорить голодные.

Имам Раджаб пленял гостя не только угощением, но и ученой беседой, которая подобаает встрече таких двух мужей. Говорили о свойствах аллаха, выраженных словами: всевидящий, всемогущий, милостивый, справедливый, благодарный, скрытый, видимый, первый, последний... Мулла Карим знал все «самые прекрасные имена аллаха». Числом их ровно сто. Бого-слова много спорят относительно толкования каждого из эпитетов, но в сегодняшней беседе никаких разногласий быть не могло. Хозяин показывал гостю, что не лыком шит, а гость из вежливости не возражал.

Потом говорили о предопределении и свободе воли. «О вере в судьбу, написанной на лбу», о том, что верующий всегда должен добавлять «иншалла» — «если захочет аллах», о том, что «с нами сбывается только то, что предначертал для нас бог». Имам Раджаб считал, что тема божественного предопределения сегодня кстати, и слова эти в скором времени помогут мулле Кариму пережить то, что ему предстоит. Ведь сказано в Коране: «Мы указали прямой путь, но они свою слепоту возлюбили больше, чем правоту». И еще: «Кто хочет, уверует; кто хочет, будет неверным».

Имам Раджаб говорил монотонно, и язык его заплетался, как это часто бывает у людей, которые говорят не о том, о чем думают. Мулла Карим видел это, видел, что собеседник устал говорить о непонятном, его утомило притворство. Выдержав ровно столько, сколько нужно, чтобы не проявить очевидную невежливость, мулла Карим сделал жест «омин», означающий окончание трапезы, встал и, произнеся все необходимые любезности, заспешил домой.

На сердце почему-то было тревожно. Выходя на улицу, он обернулся на имама в последний раз и заметил на его будто салом смазанном лице улыбку, которая не предназначалась гостю. В улыбке хозяина

сквозило злое любопытство. Чему он так радуется? Мулла Карим ему не конкурент, не соперник. Да, они не любили друг друга, но никогда не ссорились.

А имам Раджаб действительно был рад. Он исходил из того, что любое несчастье с любым знакомым или с незнакомым человеком возвышает среди людей того, кого несчастье не коснулось.

Степенный и седобородый мулла Карим все убыстрял шаг. Он спешил домой в странном, но совершенно четком ожидании несчастья. Как же он сразу не понял, что имам Раджаб не зря говорил о предопределении и возмездии, о ком-то, кто свою слепоту возлюбил больше, чем правоту. А улыбочка имама чего стоила?

Встречные прохожие с тревогой поглядывали на него. От этих взглядов мулла еще больше тревожился, он почти бежал, и люди с почтительным страхом раступались перед ним.

У дома муллы Карима стояли соседи. Если бы кто-нибудь умер, соседи не стояли бы так, они не боялись бы смотреть в глаза друг другу. Они бы плакали.

На яблоне в углу двора развернулись прозрачные и клейкие листочки. Пыль почти не тронула их, и они светились, озаренные вечерним солнцем. Под деревом на глиняном возвышении сидела жена муллы Карима. Она тихо раскачивалась из стороны в сторону, седые волосы были распушены.

— Юсуфджан? — спросил мулла Карим. — Что о Юсуфом?

— Юсуфджан и Шерали, — ответила жена. — Оба. Пришли, забрали, руки связали, сразу увели, как рабов. Они их даже били при мне.

«Они!» Не требовалось пояснять, кто это. «Они» — так говорят только о врагах. «Они» — это те, кто силен и творит неправо дело.

Мулла Карим бросился во дворец. Аллакули не может не принять его! Внешняя стража пропустила старика, у покоев хана его остановили.

— Его величество вчера отбыли за город, а нынче отправились на охоту. Будут дня через три.

— А кушбеги?

— Уехал вместе с падишахом, но вернется завтра.

— Их надо топить, пока слепые. Как щенят!

У кушбеги было отличное настроение: он потребовал жизнь заговорщиков, хан согласился. Аллакули платил министру за ночное заседание Государственного совета. Пусть порадуется.

Они ходили по загородному весеннему саду. Пахло свежескопанной землей, паливались бутоны персидских роз, журчали арыки.

— Умные, честные, молодые! — не скрывая издевки, продолжал кушбег. — Некоторые полагают, что болтать языком — это и есть политика... По вечерам нашептывать падишаху всякие сплетни — это и есть политика. Нет! Политика, ваше величество, требует силы и власти, мужское дело политика.

Он намекал на Айгуль; не стесняясь, давал понять, что знает о разговорах Аллакули с первой женой. Ей в отместку он и решил казнить тех, на кого она предложила опереться хану.

— Были бы умные! — негодовал кушбег. — Были бы умные, не попались бы. Честные они, потому что воровать не умеют. А молодые... молодым-то умирать страшней, чем старикам.

Аллакули засмеялся:

— Верно сказано. Умные не попадают даже в известном всем воровстве, а?

Кушбег не хотел никаких двусмысленностей.

— Мы сейчас говорим не об умных, ваше величество. Только дураки думают, что смертный может затмить падишаха... — Он хотел намекнуть на слова Айгуль о человеке, стоящем между солнцем и ханом.

«Он не скрывает, что шпионит за мной. — Аллакули понял это и разозлился. — Я уберу его обязательно. Сделаю все загодя, спокойно. Я уберу его и казнь, имущество конфискую. Пусть Раджаб узнает, как он хранит ценности».

— Ты сегодня показал, что у тебя язык длиннее, чем был раньше, — сказал Аллакули. — Но хвастаться длинными ушами — еще глупее.

Кушбег испугали не столько слова повелителя, сколько его быстрый косой взгляд. Показалось, что хан

знает больше, чем говорит. Тут же гвоздем вылезла мысль: правильно ли, что он не схватил грамотного русского, правильно ли, что дал ему уехать в курганчу? Там, в курганче, его можно убрать без шума. Здесь брать было нельзя. Это всполошило бы беднягу Хубб-Ходжу, он мог бы с перепугу повиниться перед ханом.. А «умные, честные, молодые», слава аллаху, ничего не знают о тех тайных переговорах. Это точно.

Испуг первого министра хан заметил, но не понял причину.

— За сына своего не беспокойся. — Аллакули подтвердил сказанное ранее. — Пусть уезжает на месяц куда-нибудь подальше. Этому лоботрясу Хамиду надо дать плетей пятьдесят. Не на площади, а внутри дворца, ближе к гарему. Пусть стыдно будет.

— Пятьдесят? — переспросил кушбеги.

— Чуть больше, чуть меньше, — снисходительно согласился хан. — Главное, чтобы просил пощады и громко каялся.

— Ваше величество, неужели вы не будете присутствовать при казни?

— Зачем? Есть кому доверить. И пожалуйста, сделай так, чтобы ко мне не бегали просители и ходатаи.

Шум по поводу ареста молодых чиновников, детей почтенных родителей, бесспорно, будет большой; Аллакули это понимал. У почтенного муллы Карима брали сразу двоих: сына и зятя. А мулла пользовался уважением не только среди горожан и сельских жителей, но и среди кочевников. Пусть всю ответственность берет на себя кушбеги. В будущем его же можно обвинить в несправедливости и бессердечии. В последнее время люди любят болтать о милосердии.

— Когда решили брать юнцов? — спросил хан.

— Я думаю, их взяли часа два назад, — ответил кушбеги. — Я позаботился, чтобы муллы Карима не было дома.

Работа над механизмом парораспределения затягивалась. Казалось, что цель близка, что машина вот-вот начнет работать, но каждый раз выявлялись новые недостатки и огрехи. Матвей вспоминал вдруг, как это

было в той английской машине, которую привезли в Пермь; Азим искал возможности для усовершенствования своей машины наличными средствами. Мало, оказывается, найти верное конструктивное решение, нужно еще отыскать и единственно правильное его воплощение в металле. Сколько тут возникает мелких и крупных технических трудностей! Как, например, к чугунному телу золотника без зазоров прикрепить медные паропроводы?

Об этом и рассуждали медник с кузнецом, когда в мастерскую вошли два стражника и есаул. Они остановились в дверях; когда глаза привыкли к полумраку, есаул спросил:

— Кто тут мастер Азим, сын мастера Ибрагима?

Азим сидел на корточках перед злосчастным парораспределителем. Не вставая, он сказал:

— Ну я.

— Собирайся!

— Куда это?

— Потом узнаешь.

— Кушбеги рассердится, если узнает, что меня зря отрывают от важного заказа. — Азим так и сидел на корточках.

— Сам кушбеги ждет тебя, несчастный, — сказал есаул.

Он знал, что меднику будет плохо. Арестованного приказали связать и доставить. Чаше приказывали просто привести.

Азим встал, стянул фартук, стал мыть руки.

— Матбай-ака, скажите маме, что я скоро. Это опять какая-нибудь кляуза по винокурению.

И Матвей так думал. После визита высокой комиссии они твердо решили в первый же свободный день сделать аппарат. Делов-то! Скажет кушбеги, чтоб завтра был, будет завтра.

— Вот глупость людская, прости господи, — рассердился кузнец. — Из-за дерьма пугают, а умного понять не хотят.

— Связать! — есаул указал на Азима.

Стражники кинулись на него, будто он сопротивлялся, повалили зачем-то, ударили: делали, как их учили. Есаул смотрел на медника с сожалением. Он знал, что мастер не вернется домой и мать напрасно будет

ждать его. Конечно, случилось, что арестованные возвращались домой после строгого допроса. Бывало. Только сейчас навряд ли. При есауле вызвали на пыточный двор палача Андрея в красной рубахе. Все помнят, как пытал он длинноволосого лекаря. Все отдал несчастный индус, а не спасся. Лекаря есаул не жалел: непонятный был человек, ни на кого не похож, вера чужая. Медника жалко. Молоденький, бледный, тубетейка на нем стеганая, совсем дешевая и старая.

Азима вели через базарную площадь. Есаул не торопил. Пусть парень полюбуется. В последний раз. Хороший у нас базар. Мяса много, фрукты — круглый год. Вон дыни висят: на вид — золото, внутри — мед. А рыба какая! В последнее время дорожает базар, налоги растут, красоты, однако, не убавляется.

«Эх медник, медник, — думал есаул, — жалко тебя, и мать жалко, но зря у нас не берут. Осторожнее надо быть, умнее. Меня же не взяли, а я тебе в отцы го-жусь. Болтать надо меньше, вот что!»

3

Историки утверждают, что Степан Иванович Шешковский, пытавший государственных преступников при Екатерине II, был человеком весьма религиозным. Он «усердно посещал церковь, даже пытки и истязания производил в комнате, уставленной иконами, и во время стонов и раздирающих душу криков читал акафист сладчайшему Иисусу и божьей матери».

Андрей Иванов не верил, что бог руководит людьми, следит за их поступками, направляет, вразумляет, всех расставляет по местам. Зачем ему? Иванов не верил, что и другие могут верить, — притворство. Для себя притворяются или для людей. Как поверить в воздаяние по заслугам, ежели сильные да злые торжествуют до гроба, а слабые да жалостливые всю жизнь бедствуют и плачут. И на том свете — в существование того света Андрюха охотно верил — наверняка устроено, как на этом. Коли бог человека сотворил по своему образу и подобию, тогда и тот свет с этим должен быть схож. Разница будет не больше, чем между Россией и Хивой.

Если бы Андрияха наверняка знал, что в России его возьмут в палачи, он бы попытался бежать еще раз. В России твердый оклад, достаток. Тут — вообще никакого содержания, кормись сам, чем знаешь. Лишь в тот день, когда позовут на пыточный двор, тогда и накормят.

Кушбеги пригласил Андрея Иванова по рекомендации имама Раджаба: на мусульманских палачей трудно было положиться. Им мешало бы понимание того, что пытаются они детей из хороших, уважаемых домов. Сильно у нас это вот уважение к происхождению. Андрияху ничто не смущало, он и русского любого пытал бы без оглядки на своих. Вот барина Николая, к примеру, хоть на дыбе, хоть каленым железом. За милую душу!

Давно не звали Андрияху на пыточный двор. Когда вручили кнут, клещи, клеймо, нож для вырезания ремней, у него слегка дрожали руки. Может, от войны, может, с отвычки, может, с голоду.

Начал он пообедавши, но скоро умаялся. Их как никак трое, а он один. Стражники только подсобляли привязывали, отвязывали, раздували огонь, подавали щипцы... А работал он один. У молодых терпение каменное. Имам Раджаб их спрашивает, а они молчат. Он им «признавайтесь», а они — молчат. Так провозились до раесвета. Часа два отдохнули, утром явился кушбеги.

Перед высоким начальством Андрияха старался во всю. Одного пытает, двое, связанные, смотрят. Потом всех троих кушбеги спрашивает:

— Будете говорить правду?

Долго молчали парни. Первым нарушил молчание Юсуф.

— Вы все знаете, — тихо, с упреком сказал он кушбеги. — Вы же все знаете. Мы ничего плохого не делали.

— Но хотели! — гаркнул кушбеги. — Хотели.

— Мы хотели справедливости, хотели величия нашей стране... Вы же все знаете, мы же говорили вам об этом...

— А разве Шерали не собирался ехать в Россию?

— Но ведь вы сами предложили это, — сказал

Юсуф. Он стоял на коленях. Спина его была мокрой от крови, на груди — следы ожогов.

— Я проверял вас, шенки, — сказал кушбеги. — Вы слишком легко соглашались на все плохое. Вы носили наши обычаи и нравы, вы позорили приближенных падишаха, повторяя дурацкие сплетни о взятках и лихоимстве... Имам Раджаб, запишите, пожалуйста, что виновные признались в государственной измене.

— Нет, — хрипло проговорил Шерали. — Напишите, имам, что мы ни в чем не виновны. Юсуфджан от боли потерял разум. Все было не так.

Имам Раджаб почувствовал что-то новое и важное в словах Шерали. Таких парней он всегда побаивался и уважал.

— Пишите, имам Раджаб. Кушбеги вызвал меня и Юсуфджана к себе и предложил нам стать его помощниками в заговоре против падишаха. Он ругал мусульманскую веру, обвинял падишаха Аллакули в пьянстве, жестокости и глупости...

Все замерли, слушая юношу, а он продолжал говорить. Быстро строчил имам Раджаб, отступили подальше стражники, Андрей Иванов сел на порог и вытер холодный пот. Вот это штука!

— Пишите, имам, — сказал Шерали, он облизал свои пересохшие, разбитые губы. — Пишите, что кушбеги уговаривал нас стать на путь измены...

Имам Раджаб старался не пропустить ни слова. Он только прилежный писец. Пусть не обижаются кушбеги. Имам честный человек, он доложит то, что слышал. Ничего не добавит от себя и ничего не скроет.

— Не пишите, имам Раджаб! — вдруг опять заговорил Юсуф. — Это неправда. Мы не были заодно с кушбеги. Мы хотели справедливости и перед смертью не должны лгать. Прости меня, друг мой Шерали!

Имам Раджаб продолжал писать. Мало ли что! Он только писец!

За время пыток Азим ни разу не разомкнул губ. Он ни разу не застонал, а когда сознание мутилось, перед ним сразу же вставал худой длиннорукий человек на площади перед дворцом. Азим видел лунную ночь, серебрение парчового ханского халата, драгоценную саблю. До него с трудом доходило все, что происходит

сейчас. Он видел, как заплакал Шерали после слов Юсуфа и как заплакал сам Юсуф. Азим не понимал, почему они плачут.

Первым пришел в себя кушбеги. «Уже плачут, значит, опасность миновала. У этих «умных, честных, молодых» никогда не хватает сил довести дело до конца». Промелькнула мысль об имае Раджабе и его записях. Об этом после. Сейчас необходимо завершить все так, будто ничего и не было.

— Значит, молодые люди, вы признались, что замышляли заговор против нашего падишаха, нашей святой веры. Вы хотели продать наши плодородные земли и тучные стада белому царю. Вы хотели всех нас насильно обратить в веру Христа, а сопротивляющихся убивать. Вы признались, что стали шпионами.

Все трое молчали. Говорил кушбеги.

— Даже если вы будете кричать во все горло, что это ложь, поверят мне и моим глашатаям. Каждый в Хиве согласится, что казнь ваша справедлива. Каждый, кто боится за свою шкуру. Вот ведь и вы не возражаете.

Разве можно спорить с палачом, не унижая себя? Нужно молчать.

— Я знаю, что вы не шпионы русского царя. Зачем ему такие шпионы? Но мысли, которые вы заимствовали у русского пленного, — яд для нашей державы. Для любой державы. Нам не страшны русские, нам страшны ядовитые слова и мысли. От русских мы не терпели притеснений, и русский падишах давно хотел дружить с нашим падишахом. Падишахи всегда договорятся между собой, хотя бы за счет своих подданных. Только дети не понимают, что это так. Только дети!

Кушбеги впервые высказывал подобные мысли, и они нравились ему своей простотой. Раньше он лишь догадывался об этом, теперь понял, что догадка верна. И еще одно подспудное ощущение вдруг вылилось в четкие слова.

— Неужто не ясно: мысли, которые вы заняли у русского, как войско, проникшее в осажденный город, могут захватить нашу страну изнутри. Поэтому вам никогда не будет пощады. Все люди должны думать

одинаково. Поэтому каждая вера уничтожает иноверцев. Их жгут, убивают, казнят. Так устроен мир.

4

Когда забрали Азимку, Матвей долго еще стоял в дверях медницкой мастерской, глядел вслед и по стонам. Глядел и удивлялся. Как же это они своих-то не жалеют? Нас-то ладно, чужого всякому не жалко, а своих? Азимка дитё, конечно, может, и ошибся в чем по молодости; ему, дурачку, все интересно, до всего дело, все испытать охота, все в новинку. Как щенок, веюду может нос сунуть. Понимать надо: такие люди на свет раз в сто лет рождаются. Таких беречь надо, ошибется — простить, упадет — поднять, отряхнуть, и пусть дальше шагает, времени не теряет. Это же полными надо быть дураками, чтобы таких ребят не жалеть. Не могут они его загубить.

К вечеру Матвей аккуратно собрал инструмент свой и Азима, сложил куда надо, навесил замок и побрел к себе. Жил он по-прежнему в соседстве с литейной, где обитали многие русские невольники, оставленные для государевых нужд. Жилье было неплохое — мазаные клетушки в два яруса. Подворьем назвал это место кто-то. Главное — все вместе: можно новости узнать и душу отвести.

У Андрюхи на подворье была своя конура под крышей. Матвей долго ждал его, надеясь узнать, что там у кушбеги делают и зачем потянули туда Азимку. Ждал Матвей напрасно, ночевать Андрюха так и не пришел.

Рано поутру Матвей явился в мастерскую, разложил, подготовил инструмент, как всегда, разжег горн и стал ждать. Он знал, что жизнь — копейка, но Азимкину жизнь в Хиве должны сберечь. Может, поучат, построят, высекут даже...

Вечером Матвей вернулся на подворье и опять стал ждать Андрюху. Тот пришел не поздно, пьяный, веселый, в красной рубахе, в вырезе которой на толстом гайтане висел большой деревянный крест. Пересиливая себя, Матвей поздоровался, назвал палача батюшкой. Андрюха помнил, что кузнец за попа его прежде не признавал, теперь подлизывается для какой-то цели.

— Чего лебзизишь, дядя? — ухмыльнулся Андрей Иванов. — Ты же без меня богу молиться умеешь, как беспоповец. Или причастить тебя надо, помирать собрался?

— Дело к тебе, батюшко, — смиренно поклонился Матвей. — По другому твоему ремеслу. Ты, слышать, на пыточном дворе был, не видал ли мастера моего, Азима? Забрали его вчера...

— Есть там трое, все изменники, — равнодушно ответил палач.

— Кому ж они изменили? — все так же робко спросил Матвей.

— Известно кому — властям.

Палач и кузнец сидели рядом по-узбекски, на корточках, возле дверей русского подворья.

— Андрей, — тихо проговорил кузнец. — Нельзя ль помочь Азимке моему?

Палач с любопытством глянул на кузнеца.

— Чего? Да я их завтра в полдень четвертовать буду. Из троих дюжину сделаю.

Матвей не поверил тому, что услышал.

— Завтра? Насмерть казнить? Андрюха, миленький, а бежать им нельзя? Азимку моего не спасешь? Я тебе рабом буду, век бога молить...

— Чхал я на твоего бога, — зло сказал палач. — А вот властям донесу, что ты изменникам сообщник и меня на измену подбивал.

Андрей Иванов неожиданно озлился, встал и полез к себе. Там, наверху, он закурил, и махорочный дым летел вниз, туда, где сидел Матвей. Матвей думал, донесет на него палач или не донесет. Выходило, что донесет.

Утром Матвей молился дольше обычного. Кузнецы, слесаря, оружейники, шорники, плотники ушли на работу, а он молился; клал низкие поклоны, истово крестился и все шептал, шептал. Есть бог, есть! Пусть не сильный он, пусть слабенький, усталый, немощный. Старичок он подслеповатый с трясущимися руками и реденькой сивой бороденкой. Может, и глух он уже, кто знает? Может, и рад бы он помочь людям, но слеп, не видит ничего. Не разбирает он, кто бранится, а кто плачет, кого наказать надо, кого обласкать. Стар, плох, немощен... Иного

ответа нет. А коли так, то люди должны помогать ему сами. Раз не можешь, за помощь не обижайся.

В полдень Андрияха Иванов к месту казни не явился. Нашли его за городом на свалке. Заметили со стены свору дерущихся собак, кто-то любопытный подъехал посмотреть. Мало что осталось, только клочья красной рубахи. Пришлось вершить казнь изменников без него. Без него было трудно.

Как Андрияха оказался за городом, никто понять не мог. Каждого конного или пешего, въезжающего в Хиву или выезжающего прочь, стража и таможенники осматривали дотошно. Тех, что от досмотра освобождались, можно было на пальцах пересчитать.

5

Длинный купеческий караван с товарами Индии, Китая и Персии следовал из Ташкента в Оренбург. В Хиву он прибыл после полудня. Сам кушбегн встречал караван, потому что были в числе путников святые дервишки-каландары и был в транзитном караване товар специально для Хивы: легкие, мягкие и пахучие тюки. Эти тюки кушбегн велел не вскрывать, не досматривать и не считать. Это был табак, гашиш и опиум, это касалось только падишаха и кушбегн.

Путь каравана от восточных ворот к северным пролегал через базарную площадь. Широколапые верблюды шагали мерно и важно, не глядя по сторонам. Они знали, что от них скоро, караван-сарай близко, но делали вид, будто готовы шагать и шагать.

С верблюда весь базар как на ладони. Чинными рядами сидят седобородые старцы, торгующие пряностями, сушеными фруктами, семенами цветов и другим непортящимся товаром. Дальше расположились ремесленники: гончары, медники, жестянщики, ткачи, портные, скорняки. Толкуются, громко, нараспев расхваливая свой товар, лепешечники, продавцы горячих пирожков и холодной воды. Чуть в стороне от базарной суеты — другая толпа, тихая. С верблюда видно: они собрались воз-

де лобного места, там недавно свершилась казнь. Большая казнь. Интересно, кого казнили и за что?

Подробности можно услышать, не слезая на землю и даже не замедляя шага верблюда. Жаль, конечно, что путники не видели самой казни. Если б знать, можно было бы и поспешить.

Караван прошел базарную площадь. И только один из усталых паломников — однорукий худой человек, услышав, что казнили русских шпионов, отстал от своих. Возле эшафота стояла уже небольшая, но плотная толпа любопытных. Однорукий пробился вперед и замер от ужаса.

— Кто они? — спросил однорукий.

— Шпионы. Разве не видишь, что шпионы, — со всех сторон стали объяснять ему. — Эти шпионы связались с русским пленником. Он уговорил их, чтобы все мечети переделать под православные церкви, чтобы все мусульмане, по русскому обычаю, тыкали себя пальцами в лоб и плечи.

— А русского тоже казнили? — с волнением, которое, к счастью, никем не было замечено, спросил однорукий.

— Русский убежал, говорят. Он готовит войска, чтобы отомстить за этих троих.

— А как звали русского? — забыв осторожность, спрашивал однорукий. — Никто не помнит, как звали этого русского?

— Наших-то звали просто, — объясняли ему. — Юсуф, сын почтенного муллы Карима, Шерали, молодой сотник, третий — мастер Азим. А русского трудно звали, у русских очень трудные имена.

Паломник не унимался, ему почему-то необходимо было узнать, как звали русского.

В это время на другом краю площади показались люди, которые несли на спинах какие-то сверкающие на солнце медные предметы. Они шли со стороны квартала ремесленников и направлялись прямо к ханскому дворцу. Первым шагал русский богатырь, ханский телохранитель Федька Грушин. Он нес огромный медный котел, который в вечерних лучах сиял, как само закатное солнце. За ним несколько человек из стражи хана несли медные предметы меньшего размера. Замыкал процессию главный ханский винокур.

Ни однорукий паломник не узнал в ханском винокуре своего старого приятеля Ваську Европкина, ни Васька не разглядел на площади однорукого татарина Ахметку. Из толпы крикнули:

— Эй, русские, как звали того, кто убежал?

Васька ничего не ответил, а Грушин только глянул на зевак и ругнулся.

Медные части недостроенной в Хиве паровой машины сверкнули в последний раз и скрылись за воротами. Конфискованное имущество медника отныне будет служить действительным нуждам государя и государства. Тщательно изготовленный, хорошо пропаянный котел и луженые трубки легко обратить в самогонный аппарат, а паровая машина здесь долго еще никому не потребуется.

6

Начальник канцелярии не пошел во дворец на торжественный обед в честь возвращения падишаха Аллакули с удачной охоты. Как могут эти люди на другой день после свирепого убийства ни в чем не повинных юношей, почти детей, как могут они собираться для обжорства. Великие мужи прошлого не щадили врагов и вместе с тем высоко ценили милосердие.

Хубб-Ходжа боялся, что его отсутствие на празднике будет замечено, однако еще опаснее выдать свое неудовольствие. Его, конечно же, посадят рядом с Мунисом и его племянником Мухаммед-Ризой. Они заговорят о своих трудах, о завершенном Мунисом «Фирдаус-уликбаль» — «Райский сад счастья» и о задуманном Мухаммед-Ризой «Рияз-уд-дауле» — «Сад благополучия», а начальник канцелярии будет восхищаться их творениями, их замыслами и не сможет ответить на вопрос, почему же сам все еще не начал писать свой исторический труд. Что он ответит?

Решив не идти во дворец, Хубб-Ходжа почувствовал облегчение, как после смелого поступка. Он уединился в гостиной, где недавно принимал Ельцова, приготовил себе кальян, сделал несколько затяжек, успокоился и достал широкую чистую тетрадь. Он раскрыл первую страницу, поставил дату и написал: «Вчера в Хиве на базарной площади в полдень при большом стечении народа...»

Он хотел написать о казни своего помощника и его друзей, о том, как несправедливо казнить людей, жаждущих счастья родине, он хотел написать о многом, что накипело, но мысли боялись обратиться в слова. Так и осталось в тетради две строки: «Вчера в Хиве на базарной площади в полдень при большом стечении народа...» История Хорезма, о которой мечтал Юсуф, для которой он старался запомнить все увиденное, не получила правдивого продолжения.

«У меня может быть обыск,— решил начальник канцелярии.— Кушбеги не забыл, что я — свидетель его переговоров с русским».

Хубб-Ходжа представлял себе, что может с ним случиться. Он вновь занялся кальяном, а руки сильно дрожали. После нескольких нервных затяжек мысли начальника канцелярии нашли спокойное русло. Не этот русский — причина. Не из-за него погибли ребята, а за собственные свои мысли и надежды. Не измена страшна, а крамола. Главное — не ссорься с сильными мира сего.

Вечером в караван-сарай два паломника, возвращающиеся из хаджа, шепотом разговаривали между собой о том, что судьба есть судьба, на все воля аллаха, и волос не упадет с головы правоверного без божественного на то соизволения. Обычный разговор паломников и обычные в этих краях паломники: один из казахов, другой — татарин. К счастью, не было возле них никого, кто мог бы внимательно вслушаться в разговор, понять, к чему вздохи о воле аллаха и о судьбе судеб.

Ахметка и Байбосын говорили о том, что опоздали они всего на неделю. Нет сомнения, что русский раб, о котором они слышали на площади,— Николай Федорович Ельцов, и хорошо бы встретить его в пути за пределами ханства. С таким большим караваном легко пересечь великую казахскую степь. Надежда выручить своего спасителя и спасителя сына не покидала Ахметку, да и клятва на Коране—железная клятва. Ошибался Васька Европкин, обвинив когда-то Ахметку в предательстве, зря и теперь не вспоминал безответного своего помощника. Впрочем, и Ахметка не вспоминал Европкина: насчет него он никаких обетов не давал, на Коране ни в чем не клялся.

Глава восьмая

ВДОВА

На поле опускается проворный,
Увидевший добычу ворон черный,
И где-то сиротливый соловей
Поет тоскливо о любви своей.

*Юсуф Хас-Хаджиб.
Наука быть счастливым*

I

Управляющий курганчи «Добро пожаловать» встретил Николая Федоровича весьма сурово. Он по-своему понял долгожданное, но неожиданное возвращение невольника. Не раз говорил он своим хозяевам — когда-то старому, а теперь вот молодому, что с невольниками надо обращаться поосторожнее. Чем строже, тем лучше. Нияз-Ходжа знал это по себе. И еще — не следует отпускать раба надолго в столицу. Или совсем заберёт хан, как забрал он кузнеца Матвея, или испортится невольник, потому что большой город развращает. Придется опять приучать раба к рабской жизни, а на это уходит драгоценное время и силы.

— Ну, Иван, теперь будешь копать канал.— Управляющий нарочно перепутал имя.— Теперь ты здоровый, как... — управляющий хотел сказать пообиднее и нашел такое окончание: — как русский ишак.

Ельцов пропустил обидные слова мимо ушей. Про себя отметил все, что должен был отметить.

— И помни, — продолжал управляющий, — если что замечу, надену колодки. Если попробуешь убежать, подщетию!

Видимо, хозяйка ничего не сказала управляющему, понял Николай Федорович. Он знал, что в письме, которое прислал с ним Шерали, содержалась просьба не назначать раба на тяжелые работы. «Удивительная женщина, — думал Николай Федорович. — Хоть бы вывала меня, расспросила о муже».

Рахима действительно была удивительно сдержанным человеком. Такой воспитывал ее отец, это качество она любила и в своем муже. Письмо не на шутку встре-

вожидо ее, за словами привета и указаниями насчет возвращенного русского она ощущала события еще не понятные, но пугающие. Она несколько раз перечитывала письмо и каждый раз все отчетливей понимала, что тревога ее не напрасна.

Вечером управляющий доложил о том, что сделано за день, о том, что думает предпринять завтра.

— Шесть человек посылаю рыть канал, — сказал он. — Этот невольник, которого удалось отнять у падишаха, очень откормленный, много может поработать. Только его сильно бить надо, по глазам видно — наглый стал. Наглость всегда от сытости.

Управляющий сел на своего конька и готов был рассуждать бесконечно, но хозяйка не собиралась вступать в спор с болтливым стариком. У него свои мысли, свои счеты, свои воспоминания. У нее — наказ мужа. Шерали может не сомневаться: любое его желание будет исполнено в точности.

— Хорошо, — сказала Рахима. — Очень хорошо. Все верно, только этот невольник не пойдет копать канал. Пусть он завтра починит игрушки моего сына. У него арба сломалась и пушка.

— У нас есть более опытный мастер, — возразил Нияз-Ходжа.

— Ничего. Я хочу, чтобы этот попробовал.

— Но я уже сказал, госпожа, что он пойдет на канал. Я уже сказал ему, он знает.

— А я сказала, — мягко возразила Рахима, — чтобы он починил игрушки.

Оставаясь вежливой и приветливой, хозяйка умела быть строгой. Ее матовое лицо и большие черные глаза под высокими бровями становились холодными и удивленными. Управляющий глядел на нее с восхищением, «Царица! Настоящая царица! У такой не дрогнет рука ради прихоти послать на плаху сто верных слуг». На старости лет выкупившийся из рабства, управляющий превыше всего ценил твердость и безжалостность.

— Да, госпожа! Будет так, госпожа!

В тот утренний час, когда длинный караван, следующий из Ташкента в Оренбург, покинул Хиву и направился в сторону Куня-Ургенча, одинокий всадник на усталой лошади приближался к воротам курганчи «Добро

пожаловать». Он долго стучал в калитку, а когда ему открыли, потребовал провести прямо к хозяйке.

Гонец был очень молод, красив и краток в речах. Это был юноша, почти мальчик, лет четырнадцати-пятнадцати, видимо, из тех, кто, окончив школу муллы Карима, навсегда сохранил преданность учителю и его семье. Гонец был хорошо воспитан и потому старался не смотреть на красивую женщину, которая приняла его с открытым лицом. Учитель просил передать своей дочери, матери своего единственного внука, что все самое страшное уже свершилось с ее мужем и с ее братом. Он просил передать, что на все воля аллаха и подлинное наказание еще настигнет подлинных преступников.

Рахима не плакала, хотя сразу поняла, в чем дело, хотя сразу увидела в гонце вестника великого горя. Она слушала и с каждой фразой гонца чуть-чуть поднимала голову. Она почти запрокинула ее. Она не хотела, чтобы слезы потекли по щекам и чтобы юноша увидел эти слезы.

— Еще ваш отец просил передать на словах, что нужно во всем слушаться хана и властей и немедленно вернуть в Хиву русского раба. И еще он просил передать письмо, которое нужно сразу сжечь.

Рахима взяла письмо из рук гонца. Отец писал, что вскоре придет, чтобы забрать ее вместе с внуком в Хиву. Никаких слов утешения в письме не было. Сухое деловое письмо. И такая же приписка в конце письма:

«Они хотят казнить русского. Если он еще у тебя, пришли его кушбегги. Если он уже сбежал, на то воля аллаха. Мне помнится, Юсуф и Шерали уверяли, что он сбежит».

Гонец смотрел на совсем молодую женщину, и странная зависть шевелилась в нем. «Вот бы мне такую жену. Такую сильную и твердую в горе. Вот бы мне такую вдову. Да, вдову». Юноша думал о вдове больше, чем о жене. Он происходил из вольного туркменского рода бехсельке, его отец содержался покойным ханом в Хиве в качестве заложника, и в один из дней мать юноши стала вдовой.

— Отдохните, — сказала гонцу Рахима. — Можете отдыхать в этой комнате. Я распоряжусь, чтобы вам подали еду.

— Простите меня, госпожа, — поклонился гонец. — Простите, но я обязан спешить. Никто в Хиве не должен знать, что я был у вас. Мой долг быть осторожным. Я один у своей матери.

2

Николай Федорович не удивился, когда его вызвали в хозяйский дом. Он ожидал этого. Прощаясь в Хиве, Шерали и Юсуф обещали скоро приехать, чтобы вдали от столичной сутолоки продолжить приятные беседы о государях и государствах. Ничего плохого не увидел Ельцов в своем неожиданном отъезде, ничего не заметил он в молодых людях, и сердце ничего не предсказывало.

Мелькнула, правда, мысль, что из Хивы усылают его неспроста, а по тайному указанию кушбеги, справедливо решившего, что отъезд Ельцова из дальней курганчи будет не столь заметен. Это предположение показалось Николаю Федоровичу слишком оптимистическим, и он, боясь разочарований, отбросил его. Ночью в курганче ему снились тревожные сны. Он отнес их к нахлынувшим на него воспоминаниям. Ведь стояла весна и так же, как два года назад, всю ночь пел соловей. Может быть, тот же, что и тогда. А снился Ельцову Мельников. В который уж раз! С топором в руках ротмистр гнался за ним. Николай Федорович бежал по редкому березняку, по влажной податливой земле, и сердце сжималось от страха и от стыда за этот страх. Мельников настигал его, Николай Федорович поскользнулся на блеклой прошлогодней листве и ничком плюхнулся в большую голубую от весеннего неба лужу. Мельников лужу обогнул и, в слепой ярости промчавшись мимо, скрылся среди берез. Тут сердце Ельцова сжалось еще сильнее: он понял, что ротмистр гнался не за ним.

Утром, когда Ельцова позвали к хозяйке, он не помнил никаких снов. Он знал, что на рассвете кто-то приехал из Хивы, и полагал, что должны быть вести от Шерали.

Он оглядел себя, пригладил волосы, подтянулся.

Хозяйка сидела на высоком деревянном помосте под чинарой. Ее сын Султан возился возле арыка.

— Подойдите ближе, — приказала Рахима.

Николай Федорович сделал два шага и почтительно остановился.

— Еще ближе, — тихо сказала хозяйка.

Она была удивительно красива свежестью и силой восемнадцати лет и еще какой-то сосредоточенностью, за которой Николай Федорович в первый момент не разглядел великого ее горя. Ему казалось, что никогда в своей жизни он не видел женщины красивее, ни одна не вызывала в нем такого осознанного желанья обнять, защитить от всех, увезти куда-нибудь далеко-далеко... Разве она разрешит обнять себя? От кого он может ее защитить? Зачем он ей, усталый, седой, лишенный родины русский человек?

Рахима заговорила тихо и внятно, но Ельцов не понял, что сказала ему хозяйка. Он думал о своем. Она видела это, казалось, знала, о чем он думает.

Так же тихо она повторила то, чего он не слышал.

— Возьмите коня, хорошего коня. Провизии на неделю, воды. Уходите отсюда поскорее. Вы меня поняли?

Она не стала дожидаться его ответа, в третий раз объяснила.

— Возьмите лошадь, провизии и воды. Вам нужно уехать. Скоро я получу приказ под стражей отправить вас в Хиву... Или ханские стражники сами прискачут за вами... Вас казнят, но сначала будут мучить...

Она отчетливо выговаривала страшные слова, и Ельцов вернулся с небес на землю.

— Можете взять ружье... Мой свекор завещал сыну, чтобы он никогда не стрелял в русских. Прошу вас — никогда не стреляйте в узбеков.

— Госпожа! — Ельцов едва не упал на колени. — Мне не надо ружья! Ради бога, что случилось?

— Воля моего мужа должна быть исполнена. Он хотел бы видеть вас живым и свободным. Он велел мне позаботиться об этом... Мой брат тоже хотел так.

— Ради бога! — Ельцов все же опустился на колени. — Ради бога, что случилось?

— Ветаньте, — приказала хозяйка. — Идите, позовите управляющего, никого ни о чем не спрашивайте. Я выполняю последнюю волю мужа.

Последняя воля! Яснее не скажешь. Николай Федорович встал с колен, но медлил уходить. Он надеялся услышать еще что-нибудь, что опровергло бы уже услышанное. Рахима ничего не опровергла.

— Желаю вам свободы,— высоко держа голову, она сошла с помоста, взяла на руки сына и направилась к дому.

Нияз-Ходжа любил выполнять распоряжения, смысл которых понимал. То, что он услышал от хозяйки, было лишено всякого смысла. Дать русскому хорошего аргамака, провизии и бурдюк для воды. Разве он и так не доберется до Хивы, пешком? И неужели только из-за этого русского так рано утром прискакал гонец? Что за надобность хану в таких невольниках?! Однако возражать он не стал. В конце концов, с тех пор, как хозяйством управляет молодая жена хозяина, Нияз-Ходже живется все лучше, к его рукам прилипает все больше.

— Когда русский уедет, — сказала ему Рахима, — придете ко мне. Надо все приготовить для встречи моего отца. Не теряйте времени.

Русский уехал, и Нияз-Ходжа, недовольный и надменный, вошел к хозяйке. Его пергаментное лицо выражало всю ту степень независимости, на которую старик был способен после стольких лет рабства. Он плохо понимал, о чем ему говорят, а когда понял, то сразу обмяк и согнулся. Еле добрался он до своей нарочито скромной каморки и упал на серую, грязную кошму. Потом он стал на молитву, но, не совершив ее до конца, кинулся вынимать кирпичи из-под двери, чтобы проверить тайник, где хранилось то, что он украл и сберег за долгие годы службы в доме Иш-Назара. Как же он раньше, раньше не почувствовал запаха беды в доме? Ведь были признаки год назад, месяц, три дня, сегодня утром? Стар стал! Совсем стал старым, если не знает наперед, о чем думают хозяева, что у них на душе... Завтра придет мулла Карим, но ведь и ханские стражники не задержатся, почуяв добычу. Налетят стервятники, прискачут, будут хватать и грабить.

Старик стонал от ужаса, как от боли. Что будет с ним самим, если все имене велено взять в казну? Если это случится, придется доказывать, что он вольный, что давно откупился. Есть у него на то бумага, но захотят

ли поверить ей, сочтут ли достаточной подпись покойного хозяина и его печать?

Еще хуже стало старику, когда он понял, что и свидетельство муллы Карима не поможет. Ведь и он в опале, в великой опале. Муллу Карима теперь лучше не упоминать, надо как-то иначе, одному.

Как плакальщицы на похоронах, за стенами курганчи выли шакалы. Они часто воют по ночам, но сегодня Нияз-Ходже казалось, что этот плач — по нему.

3

Управляющий обманул Ельцова, дал порченого коня. Николай Федорович заметил это вскоре по выезде из курганчи; до камышовых зарослей ехать предстояло остаток дня и всю ночь, а гладкий на вид коняга ни рысью, ни галопом, ни иноходью не шел, быстро уставал. И всадник был усталый, обмякший. Его понудили спасать себя: видит бог, он сам и пальцем не шевельнул. Зачем? Разве прошлая его жизнь сулила надежды на лучшее будущее? Почему, не восстав против царя, не составив заговора в Хиве, он должен скрываться и спасаться? Обидно, что все зря. Зря бы пошел он на каторгу, не будучи членом тайных обществ, зря и здесь может быть посажен на кол, хотя не помышлял против хана. Ну, беседовал, ну, осуждал, однако ведь не свергал и не призывал к свержению. Хватало ума. Хватало ума на бездействие, на действие не хватило ни разу. Недаром его и тут не допустили к делу, отодвинули, ото-слали от греха:

Ельцов не знал, в чем именно обвинили его учеников, и предположил, что было нечто очень серьезное, важное, значительное, что молодые люди тщательно от него скрывали. Конечно было! Как же он раньше не замечал? Ему стало еще тяжелее от мысли, что ребята не доверяли ему. Видели, наверно, его слабость, неспособность принимать решения. Они любили его страну, им близка была ее история, они хотели много знать о ней, хотели, чтобы Хорезм и Россия стали ближе. А в решительный момент ему, Ельцову, не доверились. Нет, он не винил себя в их гибели. Он был лишен самомнения и понимал, что не сам выбрал учеников, а ученики нашли его, и не

он выбирал темы для занятий, а они спрашивали его. Такие это люди! Они смолоду такие. И те, что вышли на площадь у памятника Петру,— такие же! Недавний сон про гнавшегося за ним Мельникова показался вещим. По другим ударит топор, а он погибнет, не причинив вреда своим врагам. Кто помянет его? Хорошо тем, кто погиб не зря!

Ночь была темная, по небу ползли сплошные свинцовые тучи, с Арала, а может, с Урала дул сильный и ровный ветер, огромный азиатский сквозняк.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы располагаем весьма скудными и отрывочными сведениями о том, что происходило в Хиве непосредственно вслед за описанными событиями. Известно, например, что вопреки строжайшим запретам, угрозам и казням, рос интерес местных жителей к России. Хивинцы дружили с русскими пленниками, помогали им бежать, и побегу участвовали. Иные погибли в песках, иных возвращали и жестоко наказывали, кое-кому удавалось дойти до родной земли.

Повезло астраханскому мещанину Степану Вахрамееву и пензенскому дворянну-однодворцу Федору Мерзлякову. Помог им бежать ханский любимец Федор Грушин, а вывез из Хивы добрый человек, вольный казах Садык Таубаев. Добравшись до Астрахани, счастливицы рассказали землякам о своем житье-бытье в неволе и о том, кто и как помог им бежать. Вот уж вредна счастливая похвальба! Говори не про все, о чем спрашивают, а про остальное и вовсе молчи!

Казалось, где Астрахань, а где Хива — не дойдут в Хиву беспечные слова. Однако дошли.

Аллакули вначале не хотел верить. Но имам Раджаб, ставший к тому времени верховным судьей, доказал все в точности. По его словам получалось, кроме прочего, что не без Федыкиного участия оказался на городской свалке труп Андрея Иванова, верного слуги, попа и палача. Оказалось, что за русского невольника Николая, пропавшего без вести, ханский придверник в свое время сильно хлопотал перед начальником канцелярии.

Аллакули приказал поймать в степи Садыка Таубаева, привезти в Хиву, и, коли тот покажет на Грушина, то пусть хватают любимого телохранителя и придверника, пусть пытаются его, как положено, и казнят всенародно.

Федор Федорович не зря столько лет при дворе стоял; имел он свои уши среди доверенных ханских советников, и слова повелителя донесли ему без промедления.

— Дело плохо, подумал я, надо до поры убираться,— рассказывал потом Федор Грушин дотошному чиновнику особых поручений оренбургского губернатора Владимиру Ивановичу Далю.

Владимир Иванович, по всему видно, был из немцев. Все аккуратно записывал, чего не понимал, переспрашивал, опять писал, записанное читал Грушину вслух. Многое рассказал Грушин Далю. Многое, но не все. А про что спрашивал, про то отвечал честно, если только не боялся причинить зла живым людям. Тех, кто много пишет, Грушин опасался еще больше, чем тех, кто много говорит.

— Дело плохо, подумал я. Надо до поры убираться. Сговорился я с надежными ребятами, астраханским мещанином Тихоном Рязановым, с пасынком астраханского купца Захара Поликарпова Ильею Федоровым и с уральским казаком Максимом Парфеновым, да с богом уговорились уйти 24 декабря, на самый сочельник рождественский.

У меня была своя палатка; я велел поставить ее на чистом месте, за двором ханским, а сам лег, как всегда, поперек порога ханской опочивальни. Тут рядом со мной спали и все сановники, вельможи ханские. Когда все заснули, то я вышел тихонько и велел оседлать четырех аргамаков, бывших у меня при палатке, и пошел еще во двор ханский за другими, собственными его, хана, аргамаками, потому что они были для нас понадежнее. Три чембура¹ перерезал я благополучно, за четвертый ухватился — тут проснулся сторож, также русский пленник, да окликнул меня. На дворе было о ту пору человек до тысячи. Я одного-то аргамака покинул, выскочил со двора с тремя, кинулся с Рязановым на ло-

¹ Чембур — третий, одинокий повод уздечки, за который водят верхового коня, привязывают или дают валяться. (Примечание В. Даля.)

шадей, по одному ханскому аргмаку взяли в завод, и поскакали. Товарищи наши оплошали как-то: при них остались три коня да весь запас дорожный, а с нами не было ничего. При нас были одни самопалы да копья, а хлеба ни крохи.

Гнали мы и в хвост, и в голову. Ночь была темная, и доскакали мы до рассвета в камыши озер кунгрáтских, на Аральское море, где и пролежали в кáмышах весь день рождества христова. На ночь поехали дальше и видали путем немалое число народа. Все они, спешившись, отдыхали, лежали на земле. Это была погоня, как узнали мы после. Хан послал за нами семьдесят человек. Либо они спали, либо боялись приступить ко мне; не одному из них от меня ходить — шея колом, щека волдырем. А я, признаться, не спускал им, коли который ловко подвертывался.

На третий день выбились из сил и мы, и лошади. Что у них, что у нас трое суток без малого ни крохи во рту не бывало, а морозы уж стали показываться порядочные. Делать было нечего: чем пропадать вовсе голодом, искать пришлось аулов киргизских¹, а там, что бог даст.

31 декабря наехали мы на аул по берегу Каспийского моря, верст тридцать от устья реки Эмбы. Мы подъехали сперва к табуну, верст двадцать от аула, и сказались беглыми из России в Хиву татарами, едущими ныне опять в Россию, чтобы узнать, можно ли нам с товарищами воротиться домой по всемилостивейшему манифесту, о котором будто слышно было. Табунщики накормили нас. Побыв тут еще дня с два, поехали мы в аул, взяв у пастухов одну лошадь, потому что один аргмак наш отказывался вовсе и едва дошел в поводу. В ауле старшина Тугунуз-бай принял нас хорошо, поверил во всем и обещал отправить нас вместе с сыном своим в Гурьев, за что просил с нас пару аргмаков наших, оружие да кой-что из платья. Мы на все было и согласились без торгу, да накануне отъезда нашего черт принес из Хивы киргизов, между которыми был Кулатай Круглоголовый.

Кулатай часто бывал в Хиве и узнал меня. Тугунуз-бай, однако же, либо не верил обещаниям хивинского хана, который, по словам Кулатая, сулил за меня золото,

¹ В то время многие путали казахов и киргизов.

сколько потяну веса, либо, кочуя близ линии, боялся русского начальства. Он таки по-прежнему обещался выслать нас в Гурьев. Кулатай говорил еще, что хан посылал за нами семьдесят человек погони, что товарищи наши Федоров и Парфенов также ушли. А другие киргизы сказывали тут же, что видали на Эмбе двух русских. Гнались за ними, да один из них подбил под киргизом лошадь, и погоня кончилась.

Теперь завязалась ссора. Кулатай шумел, страшал и отнял, наконец, с товарищами своими нас с Рязановым от Тугунуз-бая. Стали разбойники промеж собою спорить, что с нами делать. Они толковали долго и в конце порешили: убить нас тайком, чтобы никто об этом не ведал, и сказать, что мы ушли.

Тугунуз-бай и другие киргизы советовали везти нас в Россию, а четыре только — Кулатай с дружкойми — были непреклонными злодеями нашими. Они будто согласились, сказали, что повезут нас в Россию, и поехали по пути на Гурьев. Отъехав верст двадцать, стали и начали раздевать нас обоих донага. Долго опять спорили и кричали да опять велели одеваться и поехали далее.

Так как я более с ними шумел и ругался, да они же и знали меня, как палван-кула, так за мною более присматривали, мне трудно было отлучиться. Я и велел Рязанову бежать в ближний аул по пути и сказать все дочиста. Разбойники хватились его, когда он уже дошел до аула, а потому и поехали за ним со мною. Тут спросили они нас, где хотим умереть — на месте или в Хиве? От смерти что дальше, то и лучше. Оба мы сказали, чтобы везли, коли так, в Хиву. И повезли нас назад, в небольшой аул. Здесь продержали нас четыре дня, а услышав, что султан Иркен-Гали Каратаев узнал об нас и хочет нас выручить, решились уже лучше сами везти нас в Гурьев, чтобы не отдать даром султану и не лишиться награды от начальства нашего за доставление наше.

Они подлинно поехали и пустились с нами окольными дорогами на Гурьев. Но посланцы султанские нашли их и заворотили вместе с нами в аул султанский. Тут они оправдались тем, что везли-де нас в Россию. Султан подарил им по лошади, а нас взял и содержал дня два хорошо, а там отправил под Гурьев...

О многом рассказывал недавний хивинский пленник

чиновнику особых поручений: о здравствующих детях покойного хана Мухаммед-Рахима, о наследниках здравствующего Аллакули, о придворных чинах и обычаях, о городах Хорезме, о реке Амударье, о климате, охоте, рыбной ловле, сенокосах, а еще о строительстве и прочистке каналов, о новых деньгах, которые чеканил Аллакули, о женских нарядах и головных уборах... А про Ельцова как-то не упомянул. Спросили б, не утаил, а так — мало интересного. И сотоварищ Грушина Тихон Рязанов не говорил про это. Оба друга были жизнью ученые, лишнее болтать давно отвыкли.

Не все рассказывали бывшие пленники, иначе как понять, что тот же Тихон Рязанов, поживя на Волге годика четыре, вдруг ушел обратно в Хиву и еще сманил с собой троих русских людей. Про него дошла весть, что служит он при ханском дворе столяром. Федор Грушин, напротив, никуда более не путешествовал, тихо жил в Астрахани и при отменном здоровье до самой смерти торговал пряниками. Про кузнеца Матвея Григорьева говорили, что после казни Азима пошел он в подручные к винокуру Васье Европкину, начал помаленьку спиваться, принял мусульманство, стал главным бомбардиром хивинской артиллерии и с тоски удавился.

В Хиве Ельцова помнили, в России почти забыли. Кузина Вера ушла в монастырь и молилась там за упокой души раба божьего Николая. В греховном сомнении тайно ото всех пожертвовала она денег в одну маленькую тульскую церковку, чтобы там поминали ее кузена во здравие и служили бы молебны.

Можно предположить, что Ельцов ушел с Ахметкой в татарские и в башкирские степи, жил там на чистом воздухе, пил кумыс и учил детей грамоте. Мог он, однако, с тем караваном не встретиться, один пошел на юг и застрял где-нибудь в Бухаре, Коканде, Кабуле или в Кандагаре. Может быть, погиб он в безводной степи или убили его разбойники; может умер сам от какой-нибудь болезни или утонул, переправляясь через быструю реку...

Все может быть с человеком, и угадать не может никто.

Что касается дальнейшей судьбы Хивинского ханства, то об этом нужно сказать следующее.

Аллакули правил до 1842 года и ежегодно совершал

опустошительные набеги на Хорасан. Он все больше заболел о том, чтобы остаться в веках и, не полагаясь на восхваления придворных историков, много сил уделил строительству крупных зданий. Это караван-сарай, крытый базар, мечеть и медресе.

Тираны любят оставлять память о себе в величественных каменных сооружениях. Так мы узнаем о тех, кто велел положить камень в этом месте и на эту вот высоту. Куда реже удается нам узнать о тех, кто и с какими мыслями тесал этот камень, кто делал лазурные изразцы для его облицовки, кто поднимал все это на строительные леса и уложил законченным, кружевным узором.

Ни услаждающий слух Мунис, ни его талантливый племянник Агехи не нашли места для рассказа о гибели трех молодых хивинских заговорщиков и исчезновении их русского наставника в весенние дни 1828 года. Но напрасно терзал себя Николай Федорович, полагая, что ученики не допустили его к заговору. Как мы знаем, никакого заговора и не было. Были только слова, мысли и надежды, которые они вовсе не скрывали от учителя. Именно эти слова, мысли и надежды в конце концов определили историю Хорезма на столетия вперед.

У истории, как у айсберга, видимая часть много меньше скрытой, и внешне в Хиве долго еще все шло как прежде. После падишаха Аллакули правил падишах Мухаммед-Амин. Он царствовал десять лет, каждый год грабил своих южных соседей и каждый день — свой собственный народ. И он строил мечети и медресе. Потом был Абдулла, Кутлуг-Мурад, Сейид-Мухаммед и, наконец, Сейид-Мухаммед-Рахим, которого часто называют Мухаммед-Рахим II.

Кстати, при нем, при Мухаммед-Рахиме II, стали сбываться слова, которые кушбег хана Аллакули сказал Юсуфу, Шерали и Азиму. Он сказал тогда, что два падишаха всегда смогут договориться между собой за счет своих подданных.

Это случилось так.

В начале 1869 года английское правительство, встревоженное успехами русского оружия в Туркестане, боясь в результате потерять Индию, предложило царскому правительству оставить между владениями двух империй в Азии «пояс, который предохранил бы их от вся-

кого соприкосновения». Русское правительство приняло предложение. Сферы влияния в этом районе мира были установлены.

Потом, в начале 1873 года, царское правительство, уже захватившее Ташкент и Бухару, решило, что пора кончать с Хивинским ханством. Войска двинулись с трех сторон — из Ташкента, Оренбурга и с Каспийского моря. Во второй половине мая русские отряды, нигде не встречая серьезного сопротивления, подошли к Хиве. Попытки задержать наступавших при переправе через Амударью и под самой Хивой успеха не имели...

Царствовавший тогда в Хиве Мухаммед-Рахим II сдался на милость генерал-губернатора Кауфмана и написал покаянное письмо русскому царю Александру II. По мирному договору, заключенному 12 августа 1873 года, хивинский хан лишался права вести дипломатические сношения с другими странами (он в этом не очень нуждался), уступал России часть территории на правом берегу Амударьи, давал русским купцам в Хиве право беспошлинной торговли. Кроме того, в течение двадцати лет Хива должна была уплатить контрибуцию в размере двух миллионов двухсот тысяч рублей. (Это уж, естественно, за счет простых хивинцев.) Несколько больше хана огорчило требование России уничтожить в его государстве рабство и работорговлю. Пришлось освободить около пятнадцати тысяч невольников. Жаль, конечно, но свое право без суда и следствия обижать, обирать и убивать любого из свободных поданных хан сохранил полностью. Делать это можно было тем более безнаказанно, что для борьбы с внутренней смутой на помощь хану всегда готовы были прийти солдаты и полиция русского императора. Дарование этой привилегии покупало многое. Не зря же Петр I в наказе злосточастному князю Бековичу-Черкаескому заметил, что хивинский и бухарский монархи больше всего нуждаются в личной охране, ибо «бедотвуют от подданных». Так что все в Хиве оставалось по-прежнему и длилось долго.

Очень долго.

До самого 1920 года.